

Евгений Дубровский (Лесник)

ЛЕСНОЙ ШУМ



ImWerdenVerlag
München
2010

Евгений Дубровский (Лесник)
„ЛЕСНОЙ ШУМ“ (СП, 1935)
OCR: Михаил Бронштейн

© <http://imwerden.de> — некоммерческое электронное издание, 2010

ВЕСНА ЗОВЕТ

ВЕСЕННИЕ ГОЛОСА

Пока березы еще не оделись зеленым пухом, спешите за город, горожане!

В лес, в поле, на взморье, хоть просто на болото — все равно куда, только постарайтесь забраться туда с ночи, и везде вы услышите без всякого на то билета весьма замечательный концерт.

Весенняя ночь молчит мало. Еще в темноте в перелеске вдруг кто-то захлопает в ладоши и захохочет совсем по-человечески.

Леший? Конечно, это издавна записывалось и записывается на его счет, но совершенно напрасно. На самом деле — это самец белой куропатки выражает свои к ней чувства.

На болоте, часто в придорожной канаве, в первой попавшейся лужице слышится тонкий протяжный металлический звук. Не забрался ли туда шалун-мальчишка с жестяной дудочкой, купленной за три копейки на ярмарке? Нет, это самая крохотная уточка, уточка чирка-свистунка зовет к себе своего перстренького кавалера с коричневой головой и зеленым перышком в крыльях.

Слышится бляенье ягненка. Неужели уже выгнали стадо? Слишком еще темно. Это длинноносый кулик, бекас, забравшись в сумасшедшую вышину, под облака, кидается оттуда камнем вниз на неподвижно распущенных крыльях, и рулевые перья его хвоста, дрожа, производят странный звук, почти неотличимый от бляенья.

Зачем так делает бекас, конечно, в точности неизвестно, но, вероятно, для того, чтобы понравиться своей невесте. По крайней мере, опустившись на землю, длинноносый кавалер весело и очень смешно танцует на кочке, отчаянно припевая тонким-тонким голоском: чики-чик, чики-чик! Точь-в-точь стучит крошечным стальным молоточком по наковальне. Если поблизости окажется другой такой же весельчак, то они немедленно кидаются драться, и добродушные долгоносики так щиплются, что из них перья летят. Ничего не поделаешь: любовь... значит, драка.

Вдруг могучие звуки, рокоча и играя, принеслись откуда-то издалека, прорезали прозрачный сумрак ночи, перекликнулись с эхом и замерли.

Какой горнист какой кавалерийской части подал на медном рожке сигнал к бою, к атаке, в поход? Да ничего подобного: это журавли в глуши болота сыграли зорю.

Охотник, держись начеку: сейчас в темной глубине леса запоет глухарь. Вы его видали, горожане? Он мертвый висел вниз головой у дверей зеленных лавок — глупый, большой, черный, не то петух, не то индюк. Дурак? Нет, вы посмотрите на него в лесу на току. Это красавец, это орел куриного рода, гордый, смелый, и — какая там глупость! Попробуй к нему подобраться, он видит и слышит издали каждую козьявку, и при малейшем подозрительном шорохе — фррр! Только его и видели. Живой он кажется еще больше. И любовная песня

этой огромной птицы нежна, как шелест травы, как ласковый шопот волны или лесных вершин. Станный, ни с чем несравнимый, неподражаемый звук глухариной песни как будто слаб, но сквозь все звуки леса он несется на четыреста — пятьсот шагов даже в порядочный ветер, а в тихую погоду слышен еще дальше. Из двух колен слагается песня глухаря: сначала что-то вроде шелканья, повторяемого несколько раз, потом нечто, похожее на шипение. Странное, таинственное впечатление производит эта песня при первых проблесках зари на красных стволах сосен. Глухарь — птица каменного века. Он поет свою шепчущую песню тысячи-тысячи лет, поет теперь, как он ее пел, когда волосатый человек ходил еще чуть ли не на четвереньках. Когда глухарь поет свою песню любви, он глух и слеп совершенно, это действительно совсем глупый индюк. К нему можно подойти и в упор застрелить его так, что он этого даже не заметит. Но песня его коротка. Только два-три верных шага, скорей скачка, можно успеть сделать под песню, а затем надо превратиться в пень, в камень, не дышать, не моргать, иначе глухаря больше не увидеть: хитрец, улетаая, непременно свалится за вершину так, что в воздухе останется только громовое трепетанье его крыльев, а самого и тени не мелькнет. Фррр! И — все тут.

Кругом тока незримые сидят глухарки и, вероятно, с упоением внимают пению своих кавалеров.

Изредка эти дамы подают и свой голос. Попросту: они квохчут. Это крупные рыже-серо-пестрые птицы, очень похожие на кур; вид у них довольно глупый и не без причин: они — дуры. Все так. Но ни яростный рев лося, ни песня соловья, никакой другой голос в мире животных не выразителен так ясно, как это «квох-квох» глухарки около тока. Тому, кто не был никогда в лесу, кто совсем никакого понятия не имеет о глухарях, при первом же не то вздохе, не то стоне глухарки мгновенно становится ясно, в чем тут дело — так красноречив, так полон страстью, истомой этот звук.

А весна не ждет. Отблески утра сверкают в каждой луже. Голоса весны звучат наперебой. Трубят где-то в лазурной вышине серебряные трубы. Лебеди! Разве на далеком севере, в необитаемой глуши, в дебрях случается видеть их близко, а то все так, в почтительном отдалении пролетают недостижимые дивно-прекрасные птицы, могучие, белоснежные. Откуда, куда, зачем? Не любит лебедь человека.

Гуси не могут лететь молча, они непременно болтают тихонько, сосредоточенно — вероятно, страшную дрянь какую-нибудь вроде сплетни или разговоров о погоде. Очень знакомая болтовня. Из-за малейшего пустяка гуси орут, и зычное их гоготание дико и глупо врывается в хор любовных голосов, несущихся навстречу солнцу.

В течение всей зари тетерева-полевики кувыркаются, дерутся и бормочут на полянках, покрывая звуками своего чуфыканья все голоса просыпающегося леса. Как только взойшло солнце, все тетерева, как по команде, вдруг взлетают на деревья, посидят там минутку-две, чуфыкнут еще разок-другой и — кувырк! Все сваливаются вниз, на землю, спать. Это как бы условный знак, общий сигнал к тому, что любовные серенады кончились... до следующей зари.

Ни лебеди, ни глухарь, ни журавли, никто из множества существ, подающих свой голос весною, никто не подает его так интересно, как... утка. Э, нет, не кряква, нет, совсем не то. Эта, конечно, не пропустит случая разинуть свой плоский клюв и ляпнуть во все горло:

— Кря-кря... Смотрите, люди добрые, какая я простая, глупая баба! Кря-кря!

Нет, не о той утке речь. Среди множества утиных пород есть свиязь. У селезня этой утки дыхательное горло устроено особенно. И, пролетая весной, селезень-свиязь издает исключительно ему свойственный звук, из двух колен веселый свист, слыша который, душа прыгает от радости. Невозможно поверить, что это кричит утка. Это нечто восхитительное. Это заливи́стая ликующая флейта самой весны, роскошно свистящая откуда-то из-под облаков.

Спешите слушать эту дивную флейту, весь этот концерт, горожане! Спешите, пока еще гулкой весенней дрожью зыблется непросохшая земля и новобрачные березы одеваются нежно-зеленым пухом.

ЩУЧЬЯ СВАДЬБА

— Сидишь? — спрашивали рабочие, проходя мимо Васьки-портного. Получив утвердительный ответ, почти все давали одно и то же заключение:

— Ну, и дурак!

Васька с ружьем сидел уж третьи сутки у большой лужи, называвшейся заводским прудом. Он видел, как туда по узкому мелкому протоку из реки зашли две огромные щуки. Обратного выхода они не могли, вода в реке спала, и проток почти обсох. В прошлую весну, подсмотрев такую же историю, Васька кинулся ловить щук голыми руками, промок до нитки, иззяб до полусмерти и, наконец, получил щучьим хвостом такого леща «по морде», что повалился в воду. А щуки исчезли. Теперь, подстерегши снова чету щук, Васька поклялся добыть их во что бы то ни стало.

Когда, постепенно обозлившись, он перестал отвечать на вопрос, сидит ли он, проходящие также больше спрашивать не стали, ограничиваясь соболезнованием:

— Вот дурак-то! Все сидит. Ах, чтоб тебя.

Ревел железным басом заводской гудок, машина, шипя, выпускала пар, мерно шумели пилы, разрезавшие тела лесных великанов, со стуком, с лязгом катились по рельсам тележки, развозившие разные разности. Васька все сидел. Иногда ветер нес прямо на него густые тучи едкого дыма из печей, обжигавших уголь. Васька крючился, задыхался, кашлял, но не уходил, не спуская ни на миг глаз с проклятой лужи: ничего на ней не показывалось. Пошел дождь. Васька сидел синий, мокрый насквозь.

— Шалашик пристроил бы, что ли? — уговаривали проходящие. — Плюнь, Васька, эй, смотри — околеешь. Ну, дурак. А еще портной.

— Нипочем не расстанусь, не уйду, — хрипя, бормотал Васька, торопливо хватая еду, принесенную из дому, — ни в жисть не уйду, пымаю.

Выстрел грянул под вечер. К пруду сбежалась толпа.

— Ну, ну, Вася? — кричали взволнованные голоса. — Ну, убил ли что?

— Мимо, — мрачно отвечал Васька. — Проваливайте все к чортовой матери, без вас тошно.

— Да пошел же, дурак, домой. Неужто третью ночь тут трястись будешь? Посинел, чорт. Портной тоже.

Лужа не глубока, по пояс, но довольно широка, с одного берега до другого ружьишко еле-еле хватает.

Хуже всего то, что патронов оставалось только два. Иной раз покажется, как будто спинное перо щучье по воде идет. Вот и запалил так-то сдуру, а оно оказалось вовсе не перо, а так только муть какая-то плыла. Уж не бросить ли, в самом деле? Сил больше нет, так спать хочется. Да жалко уж очень уйти: тут ведь, тут, подлые, только как провалились, не видать ничуть.

Сидит Васька, трясется, хоть и надел принесенный матерью тулуп: свежа весенняя ночь. Дождь перестал, прояснело небо. Края лужи к утру подернулись ледком. Заблеял в сумраке над ближним болотом бекас, пронеслась, свистя крыльями, утиная стая, чужькнул из перелеска тетерев. Заря заалела красными полосами, и сквозь дымку тумана, густыми клубами повиснувшего над лужой, послышалась там возня. Что-то шлепало, брызгало, плескало в воде, как будто мальчишки купались там. Вдруг ветерок дунул, разлетелась дымка тумана, открылось зеркало воды, наполненное красно-огненными отблесками, и огромная рыба стала видна там въявь. Высунувшись черной спиной из воды, щука ходила кругом по самой мели у прибрежных кустиков, вертясь между остатками осоки, среди каких-то палок, торчавших там и сям. За огромной щукой, не отставая, крутилась и плескалась другая — поменьше.

Среди утренней тишины выстрел раздался, как удар пушки, и огромная рыба бешено забила, закувыркалась в воде.

— Уйдет! Уйдет! — закричал прибежавший на выстрел сторож. — Стреляй еще, Васька, стреляй!

Васька выстрелил, чтобы добить кувыркающуюся щуку, но впопыхах проса-дил мимо. По воде, доходившей местами до колен, он добежал до бьющейся, извивающейся рыбы, схватил ее, вытащил на берег и тут только почувствовал, как она тяжела. Вдруг щука, выскользнув из его рук, закувыркалась, затрепыхалась по земле.

— Нет, врешь, чорт, не уйдешь! — хрипел Васька, наваливаясь на нее всем телом.

Щука, не раненная нисколько, а лишь оглушенная, теперь опомнилась и ползла к воде.

— Уйдет, уйдет! — вопил сторож. — Васька, добивай, уйдет!

А добить-то было нечем. Напрасно сторож с обрезком доски суетился около щуки, стараясь ударить ее по голове: не так-то это просто. Тогда Васька в отчаянии скинул с себя тулуп, завернул в него сильно бьющуюся рыбу и, взвалив на спину, унес, дрожа, весь мокрый, сгибаясь под тяжестью, но счастливо ухмыляясь.

Огромная, толстая, широкая щука лежала через весь стол, выставленный у избушки портного. Из ярко-белого живота рыбы узкой желтой лентой текла икра.

— Ай да Вася, молодчага! — с завистью говорили проходящие. — Ну и Вася у нас: стрелок. Недаром мастер.

— Ай, Вася, смотри какую невесту подцепил. А на жениха порошу нехватило, убег, а?

Вася, поспав часика два и кое-как раздобыв еще патронов, не только имел терпение караулить у пруда еще сутки, но даже облазил вязкую лужу чуть не по пояс в ледяной воде, обыскал всю до последнего кустика: нет, щучий жених исчез бесследно.

ЛЕДОХОД

Каждая река сбрасывает лед по-своему.

Рыбак, живущий лет тридцать на берегу Клязьмы, как самое обычное простое известие сообщает, что вот через восемь дней в понедельник в три часа дня его река пойдет. Он знает это верно по многим приметам: вот этот ручей начинает бурлить за неделю до ледохода, к тому заливику должна подступить с другой стороны вода, перед подвижкой льда непременно пролетят кулики-сорочки. Иной раз, сняв шапку и попробовав, как теплым ветром тянет из-за дальнего бора, дед уверенно сбавит срок: не в понедельник река пойдет, а в воскресенье в три часа. И в минуты, назначенные с такой странной точностью, вдруг что-то крякнет, лопнет среди пожелтевшей равнины надувшегося льда, и он ползет, иногда очень медленно, несколько шагов. Дальнейшее движение его может задержаться разными причинами неизвестно на какой срок, но первая подвижка указывается запросто с большой точностью, и вслед за подвижкой начинает неудержимо прибывать вода, иногда быстро, большей частью постепенно. Она не крушит, не бунтует, а, спокойно поднимаясь, выходит из берегов и разливается по равнине. Островами стоят десятки селений, мелкие, как будто безобидные волны мирно плещутся между избами. Не зевай, человек! За пустяк тут гибнет скот, пропадает птица. Поля исчезли, их нет, есть водополье: ни поле, ни вода, смесь того и другого. И если долго гуляет полая вода, то разлив безобидной равнинной реки превращается в бедствие.

На Урале почти нигде не бывает водополья. Поля там есть и воды очень много, но они не смешиваются. Избыток влаги там уходит в лес, не имея возможности проникнуть в каменную почву, заболачивает ее, стоит тихо, мертво, вредно. В реку попадает в виде воды то, что, растаяв на снеговых вершинах в сверкании весеннего солнца, стремительно скатится в гранитную канаву — реку. Какая-нибудь Дяля, почти неведомая вообще и не существующая летом, весной несет в пене с шумом, с брызгами, свирепствует... дня три-четыре. Разлиться ей некуда, она сжата стенами скал и, переполненная вешними волнами, примчавшимися с гор, она яростно раскидывает свой лед в течение нескольких часов куда попало: на скалы берегов, в устья притоков, в болота прибрежных лесов.

С такой рекой никакие предсказания невозможны, весеннее пробуждение реки решается не тут, у ее ложа, а где-то там, в каменных громадах отдаленных гор. И человек, желающий воспользоваться силой реки, сидит на берегу и караулит. Пошла! Сплав начался... Иногда в глухую ночь сотни рабочих сталкивают в волны с зимы приготовленный лес. Никаких баржей, ни плотов, кидай так, как есть! Тут лес идет только молём, без всякой связки. И огромные бревна часто ломаются о скалы, как спички, когда их кидают с высоких берегов. В брызгах, в пене бушует и мечется бешеная река, стремглав уносит все, что в нее ни кинут, летит горой, громадой волн и вдруг истощается, сохнет, пропадает. Только жалкие струйки бегут кое-где, и трупы лесных великанов, раскиданные течением, валяются по каменистым отмелям. Какие-нибудь четыре дня прошли и — ни льдин, ни шума, ни просто воды. Если прозевать первый бурный порыв горной реки, то сплав погиб, засушен. Обсохшие бревна вытащить из опустевшего русла невозможно. Остается лишь слабая надежда: авось там, в громадах гор, летнее солнце особенно жарко пригреет снега и так же бурно но еще на более короткий срок пришлет живительные волны.

Мрачной снежной пустыней лежит огромная река, впадающая в ледяной океан. Онега... Где-то там, даже не на роскошных лугах юга, а у скромных вод Финского залива уже цветет май. Тут — в мертвой тишине, в морозной неподвижности кругом снег и лед. Но солнце сияет в ослепительной лазури, жарки, жгучи его лучи. Ручьи, впадающие в реку, полны странно прозрачной водой, по окраинам реки также видны свободно блестящие полосы. Что за дивное, тончайшее благоухание наполняет воздух? Это ива цветет среди льдов, та ива, что жалкими кустами незаметно растет везде по грязным дорогам; здесь в ледяной пустыне миллионы ее невзрачных цветов, свежих и чистых, как в первые дни земли, дышат нежнейшим ароматом. И вдруг какой-то исполинский вздох, какой-то чудовищно могучий шорох. Ничто, повидимому, не изменилось. Синют льдины, искрится даль снежных равнин, в нестерпимом блеске сияет бледная лазурь неба. Однако почему две лисицы, перебежавшие играя реку, вдруг понеслись сломя голову к берегу? Что-то шелестит огромное, длинное, шуршит, тащится, тяжело ползет, близко... и далеко... Тут... Там... Везде.

Э, да река пошла! Поплыли синие льдины, нагороженные одна на другую, тронулись груды снега, кое-где осыпается глинистый берег, падают в воду обломки: вот что шуршит и плещет. Так ведь это опасно? Сейчас поднимется вода, волны кинутся на берег и... И ничего, решительно ничего, ни малейшего происшествия. Из гранита глубокое, просторное ложе огромной реки. Гранит — основа плоских ее берегов: в них она и останется. И все эти горы ледяных глыб, просторы снежных полей, так долго лежавшие саваном над прозрачными ее водами в течение северной зимы, она, могучая красавица, теперь в роскошном сиянии весны спокойно целиком снесет и сбросит в море.

Кроме равнинных рек с их безбрежным водопольем, кроме потоков, стремительно низвергающихся с гор, среди могучих красавиц — рек севера — есть еще одна, особенная, с двойным ледоходом. Человек, насеив на нее давно, бесстыдно запачкал ее синие льды. Проснувшись весной, красавица имеет отчаянно плохой вид, обезображенная гнусными рядами черных свалок, запятнанная

грязью мусорных груд. Сбросив весь этот позор в море, она, величественная, сияющая, многоводная, течет холодно и строго: не было для нее весны. И вдруг оттуда, где дивная река берет начало, из огромных пустынь озера-моря, чудесная река достает свой весенний наряд и на торжество ледохода радостно гонит по синеве вод в блеске жарких лучей почти летнего солнца вереницы свежих белоснежных льдин. Это второй ледоход. Есть такая река.

ДЫХАНИЕ ЛИСТЬЕВ

Развертывая свои длинные зеленые почки, заметнее всех пахнет тополь. Его клейкие темнозеленые листки весной откуда-то достают смолу, вообще, казалось бы, несвойственную этому дереву, и тягуче-сладостный аромат этих блестящих листков летит далеко, особенно чувствуется, когда впервые после морозов теплые сумерки полупрозрачной мглой кутают еще не просохшую землю.

Ива благоухает дивно. Она непринужденно растет в грязи, где попало, по проезжим дорогам. Она выкидывает почки еще по снегу, жалкая, наивно-убогая пальма севера — верба. Эти крупные пушистые пупырки, так смешно напоминающие крошечный заячий хвост, не имеют запаха: пахнут появляющиеся значительно позже их мелкие, почти незаметные, желтовато-розовые цветы, пахнут крайне слабо. Там, где земля слишком долго покрыта льдом и снегом, где все молчит в тягостном сне почти полярной зимы, где убожество и нищета природы достигают крайней, уже унижительной степени, там вдруг ошеломляет прелесть тончайшего благоухания: то тянутся по окраинам леса бесконечные заросли ивы; она цветет при первом дуновении весны, и скромные, маленькие цветы ее, незаметные там, где их мало, здесь неисчислимы, сливают свои дыхания в очаровательный и нежный аромат, не сравнимый ни с какими духами. Он исчезает очень скоро.

Осина надувает толстую пухлую почку, темную, горьковатую на вкус; ее любят клевать глухарь, тетерев, рябчик — все дикие лесные куры, так жадно преследуемые человеком за странный вкус их мяса. И ясно дышат горечью только что развернувшиеся листья осины. Распустившись вполне, они тотчас начинают пахнуть... гнилью.

Невзрачна, суха, как будто безжизненна мелкая жесткая почка березы. Это — хитрость, притворство, чрезмерная недоверчивость, во всяком случае затаивание своих достоинств. Береза, помня ужас зимы, когда приходится заживо изображать мертвеца, побаивается холода, не верит мимолетным взглядам солнца. Зато, когда его лучи, прогрев от корней до вершины, разбудят ее вполне, докажут, уверят, что весна действительно пришла, — каким восторгом почти мгновенного расцвета вспыхивает береза под первым теплым дождем.

Едва успеют скатиться его алмазные капли, как на березе уже нет ни коричневых почек, ни темных ветвей: там висит нежно-зеленая дымка, вьются легким облаком тонко-зеленые кудри, колеблется прозрачно-зеленый туман, сотканный из множества еще сморщенных полусвернутых листков. И свежий березовый дух полон своеобразной прелести.

В лесу, где смешиваются тысячи запахов цветущих и глеющих существ, всегда ясно слышно спокойное, здоровое дыхание березы: оно неизменно, сильно, чисто как прозрачная вода ключа.

Свернув в красноватые трубки свои лапчатые листья, клен не распускает их долго: он упорно ждет. Ему, несомненному пришельцу с дальнего жаркого юга, нужно много света и тепла. Когда, прокатившись в небе веселым грохотом, ударит первый гром, и потрясенные волны воздуха повеют хотя бы на миг летним зноем, тогда клен живо-живо развешивает узорчатые цепи широколапчатых листьев. Увы! Они не пахнут нисколько. В скудной ли почве севера нет тех соков, что дали бы аромат, недоволен ли здесь клен чуждым ему солнцем, не умеющим греть как следует, — клен стоит зеленый, тенистый, прекрасный, но дыхание его незаметно.

Дуб дышит бурно. Какой крепкий, какой ядреный воздух не только в дубовой роще, но даже в густой тени одинокого богатыря, едва успевшего одеться темноблестящей зеленью. Он стоит голый, когда весь лес уже нарядился в весенние листья. Холода боится? Ни в малейшей степени. С силами собирается? Да ничуть, сил хоть отбавляй. Просто не спешит. Листья у него, если угодно поближе посмотреть, есть, почки, похожие на орехи, он развернул давно, но темные крепкие листки так малы, так плотно прижаты к черным ветвям, что дерево кажется голым. Куда торопиться?

Медленно, верно растут листья дуба. Могут налетать какие угодно бури, возвращаться трескучие заморозки: дубовый лист преждевременно не пожелтеет, не упадет. Все крепкие, сочные, затейливо-зубчатые листья дуба продолжают полнеть, увеличиваться, зеленеют не бледным цветом трав, а темной зеленью морской глубины. И крепкий, бодрящий запах их, сорванных с дерева или живых, колеблемых ветром, напоминает соленое дыхание океана.

Не все с почек начинают весеннюю жизнь, есть такие, что, не развернув ни единого листа, сразу одеваются цветами. Осыпанные бледнорозовым снегом, стоят яблоня и вишня, и слабым ароматом горького миндаля дышит их нежный, прелестный наряд, легко сдуваемый ветром.

А есть и такие, что не только цветов, но ни почек, ни листьев никогда на них не бывает.

Мертвецы? О, нет.

Незримо меняя иглу за иглой своей хвои, они кажутся неизменными, равнодушными к лету и зиме, безучастными к жизни, холодными весной. Все это неверно.

Чудно дышит старый бор, и полно сладостных сил его могучее дыхание. Оно в полдневный жар совершенно ясно, несомненно пахнет медом, хотя среди сосновых стволов, давно потерявших нижние сучья, на сухом ковре опавших игол, очевидно, собирать мед не с чего, и ни одной пчелы там нет. Принесенные прозрачнокрылыми работницами с цветущих трав залитых солнцем лугов, не те ли самые ароматы собираются в таинственной темноте ульев, что здесь, копаясь в песке между камнями, как-то добывают слепые корни, а солнце в золоте смолистых соков гонит вверх?

ГОЛОСА ДЕРЕВЬЕВ

У каждого дерева есть свой голос. Самый радостный у березы, когда она распускает свежие нежно-зеленые, еще сморщенные от чрезмерной молодости листки. Звук их легкого трепетания слаб, но весел и ласков. Конечно, много значит тут весна. Но и летом в густо-мелкой листве, в осеннее ненастье в безлистных ветвях березы ветер посвистывает веселей, чем в других. Березу любит солнце, и она без солнца жить не может. Изумрудами искрятся ее бесчисленные листки под жаркими лучами и, наконец прогретые насквозь, но не увянув совсем, долго-долго горят как золото в ясном свете осеннего дня: не может береза забыть жаркой ласки солнца.

Осина обычно растет на тех же местах, где и береза, но что это за унылое дерево. С тоскливым шопотом, точно боясь чего, вечно треплются тусклые листья осины и, чуть что — маленький холодок, резкий порыв ветра, холодный дождь, — они вянут, принимают грязно-бурый цвет и сваливаются. Осенний ветер в голых тонких ветвях осины взвизгивает и пронзительно скрипит.

Сосна звенит всегда ясно. В безветренный знойный полдень, когда в бору пахнет медом и смолой, когда там все сонно молчит и только какие-то жуки, дребезжа, не то перепрыгивают, не то перелетывают, даже в этот час тишины старые сосны неизменно поют свою песню. Человеку на ходу ее почти не слышать, он должен лечь и посмотреть вверх. Тогда она вполне слышна, эта чудесная, древняя как мир, песня, и тогда видно, кто ее поет. Зеленые вершины, слегка покачиваясь, звенят чуть-чуть, и тысячи слабых, шепчущих, шуршащих голосов сливаются в протяжный сладко-гудящий звук. О чем поют лесные вершины? Да о том же, о чем лепечет, набегая на берег, волна. Сказка ли, песня ли — человек их знает смутно: он когда-то слышал их въявь, отчетливо, но позабыл.

Когда бурными порывами, крутясь и хватаясь за что попало, несется вихрь, могучим хором исполинских труб звучит вслед за ним старый бор.

Скучно воет ель в сердитый ветер. Перед маленьким, ласковым ветерком она тупо молчит: ему не за что зацепиться в ее остроконечной вершине, точно пальцем показывающей в вышину. Темно, сыро, пусто под развесистыми лапами — ветвями — старых елей. Не любят их птицы, не любит зверь, не любит человек. Молча торчит или противно воет ель — подлое дерево, хорошего голоса у нее нет.

Дуб — крикун. Из-за каждого листа у него с ветром изрядная перепалка. Ветер крутит, тянет, дергает, стараясь оторвать дубовые листья — так удобно за них уцепиться, — а дуб не дает и держит их очень крепко. Зубчатые, толстые, прочные листья дуба долго шепчут ветру, чтобы он от них отстал, шепчут настойчиво, убедительно, низким, важным голосом. А он все треплет и, вдруг потеряв терпение, дергает. Тогда все листья, все черные, кривые и, конечно, крепкие, как все у дуба, ветки — все орут, ругаются, вопят резкими, крикливо-дребезжащими голосами. Большинство листьев дуба, засохнув, падает на землю, но некоторые, пожелтевшие, мертвые, даже зимой, осыпанные снегом, все-таки остаются на дереве и, шурша, шепчут, шепчут, шепчут. Упрямый, сухой, жесткий шопот, ворчанье позабытого смертью старика. Голые, черные, кривые,

узловатые ветви кричат скрипуче, грубо, зло. Даже одиноко стоящий дуб осенью гудит, точно огромный зверь рычит сквозь сон. А у дубовой рощи голос моря в бурю.

Клен мягко шепчет, задумчиво шелестит своими лапчатыми листьями, бросающими такую причудливо-узорчатую тень в ярком сиянии дня. Он странно попадает иногда одиночкой в такой глуши северного леса, где человек никак не мог его посадить. Откуда он взялся? Какая птица, как принесла ничтожное семя, почему не заглушили его соседние растения? По самой тени его видно, что он тут чужой, он выродок здесь, вся его наружность, все поведение кричат о том, что он с юга, оттуда, где цветы роскошны и велики, где деревья огромны, а листья у них узорчато-зубчатые. И голос клена среди берез и сосен звучит робко и странно. С холодом и ветром клен даже не спорит: при первом их крепком натиске он сдается и, покраснев, сразу признав себя побежденным, раздевается, живо сбрасывая свои крупные листья.

В печке, перед окончательным исчезновением, перед смертью, уравнивающей всех и все, равны и дрова из разных пород. Но после того, как дрова сторгут, опять таинственно и неопровержимо выступает сущность каждого дерева. Опять как бы слышен голос каждого, удостоверяющий, какое из них жило более яркую жизнью, ближе дружило с солнцем, больше вобрало в себя теплоты его лучей.

Буян дуб жарче всех, за ним идут любимица солнца — береза и смолистая сосна, потом уже остальные.

В длинном ряду разных дров последними стоят дрова из пихты. Когда топится печка, наполненная пихтовыми дровами, можно подумать, что туда попали пачки патронов, взрывчатые вещества: треск, выстрелы, пальба, — вся печка того и гляди лопнет. После всего этого шума не остается ничего, кроме серой золы: ни угля, ни теплоты. Это дерево-лгун, дерево-жулик или по крайней мере дерево-обманщик. По наружности пихта не то сосна, не то ель, нечто серебристое, довольно красивое, представительное, а по существу такая дрянь, что понять нельзя, зачем она на земле растет, не годясь ни на постройку, ни на поделку, ни даже на дрова.

НЕВЕДОМАЯ

В северный лес для того, чтобы он вполне проснулся от зимнего сна, должна прилететь небольшая серая птица. Откуда и куда она является, как живет, о том в точности почти ничего не известно. Но пока она не подаст своего голоса — нет, не завершен сияющий круг весны.

Серая птица, заключающая своим голосом весенний хор, — не певчая пташка. Она не поет, она похожа на ястребка, но сказать, что она кричит — неприлично, грубо, даже оскорбительно. О, нежный вздох темной лесной глубины, о, шопот милый, о, ласковый, сладостный стон! Звучит он там среди ветвей или в сердце о чем-то странно лепечет?

И самый хмурый человек почему-то улыбается, как при встрече с другом детства, и не то удивленно, не то радостно бормочет:

— Ах, она уже тут, уже кукует. Ну, значит, весна!

Чета влюбленных, услышав голос кукушки, не пропустит случая справиться у нее насчет продолжительности их любви. Кукушка обманет любовников. Она обманет и тех, кто спрашивает у нее, сколько лет осталось жить, но это ничуть не портит дела. Тысячелетия прошли, а кукушке все ставятся те же вопросы и все с тем же удовольствием. Во многих местах земли легли железные дороги, протянулись проволоки, шумят вагоны, дымят фабрики; в таких местах кукушке нечего делать, и она исчезает. Но там, где еще качаются зеленые вершины леса, там слышится голос кукушки. О чем она твердит своим ку-ку? В самом деле, о верности в любви, о долголетию? В кукушкин счет не верят даже те, кто ее спрашивает. А любят кукушку решительно все. Слышали и с неизменным удовольствием слушают кукушку также все. Видят ее очень немногие, даже из тех, кто часто бывает в лесу. А знать кукушку — нет, никто ее не знает.

Известно, какими мохнатыми червяками она питается, в точности вычислено даже, сколько таких червяков кукушка может съесть, и, конечно, не без злорадства поставлено ей в счет, что она — безнравственная птица — своего гнезда не вьет, а навязывает бедным пташкам прожорливых прихлебателей. Пусть. Но вот как объяснить кукование? Тут натуралисты уходят в дебри выдумок, путаются в противоречиях. Кукует, по словам ученых, только самец кукушки, как водится, для развлечения самки.

Возможно, что ученые правы, что кукует только самец. Но считать «ку-ку» любовной песней все-таки нельзя никак. Никто, никакая птица не поет о любви в течение двух месяцев без различия времени дня и ночи. Едва береза начнет дымиться нежно-зеленым облаком, кукушка подает свой голос, и он же звучит, неизменно нежный и таинственный, когда колеблется золотистыми волнами рожь и зарницы отходящего лета мерцают по краям земли. Кукушка кукует в туманной росистой полумгле при первых проблесках утренней зари, румяным вечером, когда солнце, исчезая, бросает последние красные лучи на вершины леса, погруженного уже в мрак; она кукует в жарком сиянии безоблачного полдня, кукует в пологе теплого июньского дождя. И это все песня любви? Чересчур уже верный супруг, невероятно упорный в своей преданности, а подруга столь ветрена, что у нее даже гнезда нет.

Быть может, слишком пылкий любовник? Нет.

Равномерное, спокойное, почти всегда медленное кукование сладко щекочет сердце человека, каждому шепчет про что-то приятное, ласкает какие-то неясные чувства. Все, что уютно, можно слышать в куковании, но любовного увлечения, звуков, дрожащих страстью любви, там нет. Неизъяснимо-сладкой печалью, нежной тоской полон ее милый голос. Ку-ку! Наперекор ученым исследованиям, это — не жалоба ли матери на странную прихоть природы, жестоко велевшей раскидать по чужим гнездам то, что всем дороже жизни? В таком случае, рассуждая строго, у кукушки не было бы основания куковать не-медленно по прилете. Дело, однако, осложняется тем, что время прилета кукушки определяют по... кукованию. А если она, прилетев, две недели молчит, об этом кто как узнает? Может быть, повинувшись роковому закону, она уже забросала своих будущих детей и потом плачет? А когда она улетает? Лес в пол-

ном расцвете своего изобилия, жаром пышут не только июльские дни, но и ночи, а кукушка молчит. Значит ли это, что она уже улетела, или она нашла своих детей? Отлетают кукушки как — сразу все или порайонно? Путешествуют стаями или в одиночку? А видал ли кто, как кукушка пьет? А гуляет она пешком по земле или всегда сидит на деревьях? И для чего она кукует иногда на лету? Нет нигде ответов на множество вопросов кукушечьего существования. В лесу много тайн, упорно не поддающихся любопытству человека, и в том числе такая, казалось бы, простая птица, как кукушка.

ЛЕТАЮЩИЕ ЦВЕТЫ

Колеблющийся, неровный полет бабочек над свежезазеленевшей поляной — одно из самых прелестных зрелищ, какие может дать угрюмый север весной. Пока бабочки называются по их наружному виду, самые имена их звенят очаровательно: весенница, многоцветница, голубянка, зорька. При первой попытке определить ее сущность поближе впечатление сразу портится значительно и поэтическое обаяние исчезает. Крапивница, брюквенница, капустница, репейница — это звучит уже плохо, звучит повседневностью. Но полное разочарование наступает, если взять это невинное, кроткое создание — бабочку — в руки и посмотреть на нее поближе. У, какая злющая рожа, какое зверское выражение свирепо выпученных, немигающих и непрозрачных глаз, какие страшные челюсти! Вот так цветочек, невинность, эфирное существо. Да в зубастой морде волка меньше жестокости, чем в личике такой сальфиды! А она, получив свободу, упорхнула, удалилась чуть-чуть, отталкивающие подробности ее исчезли, и она вновь чарует взор — все равно летит ли, колеблясь по волнам воздуха, или, едва прикоснувшись к неподвижному цветку, трепещет над ним крыльями, вырезанными из нежнейших тканей неподражаемой красоты.

Бабочки в большинстве пьют лишь цветочный сок и нисколько не вредят цветку, наоборот их нежное прикосновение дает цветку то внутреннее содрогание его лепестков, которое нужно для продолжения его жизни. Некоторые бабочки совсем никакой пищи не принимают, они не едят, не пьют, даже не имеют ничего, чем можно это делать. Точь-в-точь небесное существо, питаемое в течение немногих часов своей жизни блеском солнца, ароматом цветов, созданное только для любви. А рожа-то у небесного существа все-таки свирепая, и зверская пасть искривлена зловеще. За что же, почему такая несправедливость?

Обман вся эта красота. Каждая сальфида, восхитительно колеблясь над цветами, присматривает, куда она положит многочисленный выводок противных, ненасытно прожорливых червячков.

Голубянка, сверкая лазурными крылышками, оставит незаметную грудку крошечных яичек на крушине и вереске; пестро-коричневая крапивница, выпархивающая еще по остаткам снега, также обиды никому не причинит, ее потомство будет есть крапиву. Но как только задымятся нежной зеленью береза и черемуха, являются летучие эскадрильи белянок разных пород. Они, колеблясь и мелькая, несутся тучкой, полупрозрачным облачком, легкие, нежные, трепещут зеленоватыми крыльями с чудесными узорами. Огородник их уже не-

навидит, плодород клянёт на чём свет стоит. Самая бешеная злоба, самая яркая ненависть становятся понятными, если месяца через полтора после предельного полета посмотреть листья капусты или брюквы, обглоданные тысячами гусениц, увидеть обильный урожай яблонь, погибший, сожженный, источенный в завязи червяками. Вот полчища гнусных обжор!

В первые совсем теплые дни установившейся весны, когда уже раздаётся великолепный свист недавно прилетевшей иволги и зацветает лесная земляника, из перезимовавшей куколки вылетает красавица «зорька»: верхние края ее крылышек розовеют, точно полоска зари.

Куда, прекрасная, направит свой полет? Да все туда же, на брюкву.

Есть бабочка, получившая почему-то на четырех европейских языках согласное название «адмирал». Ни к какому флоту ни малейшего отношения этот четырехкрылый «адмирал» не имеет, несмотря на свой высокий чин, водится скромно на крапиве, но знаки отличия у него есть: на вторых крыльях снизу, на мраморно-коричневом поле ясно отпечатаны черные цифры 18 и 81.

Когда яблоня покроется розоватым снегом почти непахнущих цветов и сирень вывесит сладко-душистые лиловые кисти, в жарком сиянии полдня, пышно раскинув узорчатые желтые крылья, порхает самая яркая, самая крупная из дневных бабочек севера — махаон. По-французски — это рыцарь, кавалер, по-русски — просто «ласточкин хвост».

Меркнут яркие краски дня. Разряженные в пурпур и лазурь красавицы-бабочки, медлительно купавшиеся в лучах тепла и света, куда-то исчезают. На их место из темных убежищ являются сумеречные, одетые более скромно.

Гудя, точно жук, быстро несется лилово-розовый бражник. Он вьется около каприфоли, дышащей сильным ароматом, и, трепеща крыльями, на лету опускает свой хоботок в душистую чашечку; он пьет нектар, даже не дотрагиваясь до цветка, и улетает, качаясь. Пьяница!

На спине самой крупной из сумеречных бабочек отчетливо изображен человеческий череп. Это бабочка «мертвая голова», мечта и зависть всех охотников за бабочками. Это уже не воздушное создание, мимолетно берущее почти неуловимую капельку цветочного сока.

Нет, это обжора, грабитель, ужас пчельников. «Мертвая голова» является к улью и, подражая жужжанию встревоженной царицы пчел, похожему на отдаленный звук трубы, пугает работниц, столпившихся у входа. Пользуясь замешательством, «мертвая голова» протискивается в леток, грабит, пьет мед до тех пор, пока на нее не устремятся сотни угрожающих копий опомнившейся стражи. Тогда мрачный грабитель, спасая толстое брюхо, беззвучно летит изо всех сил, а за ним злобно жужжат рои преследователей, несущихся на прозрачных крыльях.

Золотисто-зеленые кружки павлиньих перьев в точности нарисованы на крылышках бабочки «павлиний глаз».

Перистокрыл — бабочка, у которой крылья составлены из отдельных нежнейших полосок, точно из перьев, тонких, как полупрозрачные волокна лилейных лепестков. О, сколько их, бабочек, как бесконечна в своей разнообразии их

причудливая красота! И все — от роскошного махаона, блистающего в солнечном сиянии, до ничтожной серой моли, сумрачно таящейся в дупле, пока не угаснет день, — все они подчинены странному закону: все выводят отвратительных прожорливых гусениц.

Прелестная сильфида неизбежно должна стать родоначальницей гнусного поколения. Для красоты это, казалось бы, страшнее смерти, однако в бабочке сколько-нибудь угнетенного состояния никогда не заметно. Она ничуть не подавлена позорным концом, который так жестоко предназначил ей неумолимый рок. Она не знает, что делает? Возможно, что и так. Впрочем, капусту от брюквы белянки отличают очень тонко. Кушают каждая только свое, и важный «адмирал», отлетав кампанию в море полуденных лучей, ночевать отправляется не иначе, как на крапиву.

Как бы там ни было, в бабочке все — легкость, беззаботность, грация, прелесть, красота. А подло-зверская рожа? Ну, это нечто бессознательное, нечаянное и притом очень мелкое: когда-то кто-то это заметит.

СОН И ПРОБУЖДЕНИЕ

Лес всегда темноват; даже весной в сверкающий полдень старый лес в глубине своей слегка хмурится. И в лесу всегда есть холодок; даже в то время, когда жаворонок уже спел свою песенку под шелком свежих зеленей, где-то в темных овражках, под мохнатыми лапами столетних елей лежит снег.

Тонко-тонко, нежно-нежно высвистывают незатейливую трель почти невидимки-малиновки, настойчиво перебивая всех, лепечут вертлявые синицы. Внизу то, что было просвечивающим пологом, стало плотным покрывалом: там почти темно. И вдруг в кустах, в полутьме слышится глухое звяканье бубенчика. Что такое, откуда?

Не жеребенок ли с надтреснутым колокольцом на шее забежал в лес? Да это заяц-русак вызывает отклик сочувствующего сердца! Оно недалеко, оно тут — это нежное сердце — и хорошо делает, что молчит: голос зайчихи похож на мяуканье плохой кошки. За лопухой красавицей увивается несколько лопухих же кавалеров, и все они, позвякивая, прыгают, мелькая, как тени между кустами.

Погасли лучи, освещавшие вершины; как будто гаснет и птичья болтовня. Плавно размахивая крыльями, над полянкой летит вальдшнеп: это — тяга, любовная встреча, ухаживание, быть может, объяснение в любви в воздушной синеве. Выстрел несет смерть и тут, но все-таки тяга — самая нежная охота, обвеянная каким-то особым очарованием. Шипящий свист вальдшнепа, его «цыканье» слышно лишь совсем вблизи, а издали, как будто хрипло, но отчетливо и ясно, как звук тугой раздираемой ткани, раздается странный крик: хорр, хорр. На мягких лохматых крыльях беззвучно летит сова. Это — ночь. Лес спит. Вдруг дикий жалкий крик, полный ужаса и смертельной муки, прорезывает темную тишину. Значит, лисичка, подобравшись к заснувшей на земле птице, задавила ее. Хлопнут, затрепещут упругие крылья, и опять все тихо. Спит старый лес,

привыкший к таким случаям: жизнь — одни едят, другие пищат, пустое это дело.

Спит, спит лес.

Но не долгоден весенний сон. Еще в темноте заорет петух белой куропатки. Он, сильно хлопая крыльями, взлетает над кустом, для чего-то иногда перекувыркивается в воздухе, хохочет человеческим голосом и орет, орет. Невероятно даже, что так на шуметь может очень небольшой петушок. Трубный звук, несущийся из неведомых далей, удостоверяет, что болото проснулось: то рокочущая заря журавлей.

Темный лес еще спит. Вершины, однако, стали отчетливо видны на ясном небе. В этот торжественный миг, в прозрачном сумраке редящей ночи, навстречу первым проблескам утра, поет или шепчет свою стрекошующую песню глухарь, поет, не видя, не слыша ничего, подпуская к себе близко своего убийцу. Какие струи, какие волны почти неведомых сил несутся в это время над землей, почему особенно сладок, так крепко предрассветный сон, что волнуется и заставляет содрогаться все существо спящего человека? Не то ли, что очаровывает и ослепляет в глубине леса могучую зоркую птицу? Охваченный любовной страстью, с полчаса токует глухарь и с первыми лучами солнца вновь чуткий и стойкий покидает ток.

Шумно чужакают там и сям тетерева-полевика, долбит-стучит дятел, невидимые ручьи начинают лепетать, повышая голос с каждой минутой. Вдруг яростный, голодный клекот несется над зелеными вершинами: то ястреб, паря на неподвижных крыльях, летит над лесом. А, совсем проснулся, старик!

И весеннее солнце дрожащим золотом смеется из каждой лужи.

ВЕСЕННИЙ ПОТОК

Обижен север природой. Туманные сумерки, ржавые мхи болот, однообразно окрашенные под их цвет животные, мелькающие совсем бесцветными тенями, когда лежит снег, долгое отсутствие большинства птиц... Скучный, жалкий край!

И ежегодно он, этот нищий, убогий угол земли, торжествует праздник жизни в таком бешеном великолепии, с таким блеском ошеломляющей роскоши, пляшет такую яростную пляску любви, каких никогда не видит изнеженный зноем юг.

На серую, унылую полосу земли, долго покрытую льдом и снегом, откуда-то из неизвестных пространств в течение нескольких десятков суток текут вместе со светом еще невидимые, почти неведомые лучи. Казавшаяся мертвой пустыня сбрасывает свой саван и населяется миллионами существ, в брачных нарядах явившихся с другого полушария земли.

В ветвях березы брызжут песни скворцов, перелетевших через море для того, чтобы свить гнездо в деревянном ящичке, воткнутом на шест перед избушкой. В луже онежских болот плещутся утки, быть может, вспугнутые неделю назад черным человеком на африканском побережье. Длинноносый кулик с Конго

сидит на кочке речки Пичуги. Все они явились сюда не потому, что тут потеплело, а оттого, что там чего-то чрезвычайно важного не достало.

Солнечные лучи там обильны и жарки всегда. В пустынях, почти безлюдных, теплые волны никогда не замерзающих вод дают богатый и разнообразный корм. Полуденная природа расточительно щедра. Там морская глубина таит диковинных чудовищ, птицы пестры и яркие, цветы огромны, насекомые сверкают как огни. Тем, кто прилетел туда, спасаясь от морозов и голода зимы, есть место на этом вечном пире: ешь все, сколько хочешь, грейся, отдыхай вволю! Однако вывести детей прибывшим из дальних стран тут почему-то нельзя, не полагается и — скучно им все это богатство: вся прелесть жизни, оказывается, именно в этой тяжкой, опасной заботе — в выводке.

И миллионы пернатых существ в неудержимом стремлении несутся опять на север день и ночь, почти не принимая пищи, еле успевая перевести дух, несутся сквозь холод, бурю, через волны, несмотря на смерть, угрожающую со всех сторон. Кто, что, как дает сигнал к отлету с сияющих в вечном блеске побережий теплых морей, с роскошных тропических озер в унылые мхи тундр?

Однако миллионы птиц снимаются разом и летят дружно. Что во мраке, иногда в заоблачной вышине, что направляет их путь, трудно охватываемый воображением? Ведь не может же птичий мозг знать, держать в памяти подобную, большею частью даже невиданную, дорогу. Пернатые путешественники летят вполне уверенно, они не мечутся куда попало, не сбиваются из стороны в сторону, не путаются, не блуждают — нет, они твердо знают, куда им нужно прибыть, и туда летят, повинувшись желаниям, еще смутным, но уже более дорогим, чем жизнь, более сильным, чем смерть.

Как-нибудь выразить, объяснить, что путь их лежит в болотную глушь, иногда вовсе не имеющую никакого названия, пернатые не могут, но направление держат прямо: что-то ведет их непоколебимо. Прилетев, они мгновенно понимают вполне, зачем прилетели: тут цель, вся их радость, все счастье жизни. И бушующее празднество начинается немедленно.

Для нас дело тем загадочнее, что самый путь пернатых рисуется лишь в воображении, он нигде не лежит, ничем обозначен быть не может. Он, повидимому, возникает, движется и пропадает вместе с ними, с пернатыми, этот чудесный путь: летят птицы — он существует, нет птиц — нет и пути, они несутся вместе.

Этот путь — струи потока еще неведомых, пока почти неуловимых сил.

На скучный серый угол земли поток весны кидает миллионы существ, жадно ищущих счастья жизни, и всех, кто тут в зимней полуспячке дремал или кое-как перебивался, прозябая между сугробами, этот поток повелительно будит, пьянит, кидает в праздничный вихрь, сотрясая одним могучим желанием. Солнце? Да. Жар? Нет. Одной теплоты для всего того, что происходит весной, мало, кроме тепла есть еще что-то, гораздо более могущественное.

Летом северное солнце иногда жарит так, что заяц лезет купаться, а лесная птица, раскрыв клюв и распутив крылья, дышит тяжело, в изнеможении забившись в глушь кустов.

Но летом на утренней заре, когда те самые лучи, что через несколько часов станут невыносимо жгучими, пока они только еще брызжут огненными стрелами из-за края земли, в этот сладостно-прохладный час глухарь в росистой глубине леса... мирно клюет ягоды: солнце на него не действует. А в короткие дни весеннего очарования глухарь, как и все прочие, занят только тем, о чем поет. Иногда еще суровый отголосок зимы, апрельский утренник трескучим льдом скует болото, — ничего, незримые волны несутся, они греют жарче солнца, они палящим зноем пронизывают все существо, требуют петь яростную песню любви, зарождают новую жизнь.

Что за странное урчание слышится, висит, точно многоголосый томный стон, над необозримой равниной разлива, чуть плещущего в блеске сияющего полдня? Лягушки.

Сотни, тысячи лягушек, торопливо огребаясь лапками, так странно похожими на руки, длинными вереницами со всех сторон спешат куда-то все по одному, твердо взятому направлению, не ныряют кое-как, а плывут, плывут, не квакая, а томно урча. И все стремятся к чему-то темному, живому, величиной с большой боченок, что с плеском ворочается, значительно выдаваясь из мелкой воды: там сходятся концы плывущих верениц, несомненно, это цель всех четвероруких пловцов. Их тысячи сплелись, смешались, слились в плотный ком и, перевертываясь, мечут икру.

А в блистающей лазури неба белая, как стадо курчавых облаков, трубя летит станица лебедей. Куда, зачем?

Далеко...

Туда, где нет человека, где, окруженные необозримыми тайниками болот, трепеща упругими белоснежными крыльями в сверкающих брызгах прозрачно-чистых вод в розовых отблесках утренней зари, величественные птицы строго попарно... сделают то же, что тут, плещась в луже, покорные общему закону жизни, с такою отвратительной простотой исполняют тысячи гадов, связавшихся в темный ком.

НА МАНЧУКИ

Манчук — на Урале чучело утки из деревянной болванки с натянутой на нее шкуркой утки с крыльями и головой.

На некотором расстоянии нет возможности различить манчуки от живых уток. Ставят их десятками на подманку целых стай.

Итак, мы выехали трое, везя каждый по большому мешку манчуков, ехали разными способами долго и упорно, — ну, и приехали. Говорят: Филькина пристань.

Песчаная коса выдалась далеко в безбрежное море мутной воды.

У косы, приткнувшись к песку, полулежат три челнока. Около них стоит и улыбается необыкновенной величины человек. Это Филька? Нет, это Тимофей. Пристань, в сущности, никакой тут нет, она, когда вода спадает, бывает недалеко отсюда — километров за пятнадцать. Тимофея тоже, в сущности, правильнее было бы назвать Мамонтом — такие клочья рыжебурой шерсти буйной гривой

покрывают его голову и обрамляют лицо. Почему он без шапки? Никогда не носит. Ну, ну... Впрочем, великан улыбается очень приветливо. Здесь и ставятся эти самые манчуки? Нет, в челноках надо еще проехать километров тридцать, да это ничего: Тимофей довезет. Несомненно, беспокоиться нечего: этот-то уже довезет.

И меня повезли. Ах, какое наслаждение после тряски и духоты вагона очутиться в челноке среди водной равнины! Сесть негде, я поневоле лежу в носу челнока на груди еловых лапок, остро пахнущих хвоей. На корме великан — Тимофей. Он ни сидит, ни стоит, а, подогнув под себя ноги, помещается на них и в таком коленопреклоненном, казалось бы, невыносимом положении размахивает огромным веслом, перехватывая его из руки в руку. Челнок, шипя, бежит как по струне, и пенистый след струится за кормой. Слышно, что птицы летят стадами, но их не видно: таким нестерпимым блеском сверкает бледнолазурная вышина. Куда держит Тимофей путь, как находит направление? Мне даже в бинокль ничего не видать: мелкие слегка пенистые волны плещут везде, сливаясь вдали с краями неба. Тут три реки участвуют в наводнении: Ляля, Сосьва, Тагил. А может быть, еще какие-нибудь? А мне не все равно? Вези, куда хочешь!

То плывем мы по стоячей воде, то пересекаем бурно несущиеся потоки. Иногда ветви затопленных кустов, точно когти, скребут дно лодки. Вдруг выстрел, другой, крик, опять выстрел.

Оказывается, с переднего челнока подбили утку, задержавшуюся среди верхушек кустов. После долгой погони с криком и многими выстрелами утку ловим: красноголовая чернедь, крупная полуморская утка-рыбалка, почти несъедобная, с замечательно злобным выражением ее красной «морды». Счастливый охотник, подстреливший утку, утверждает, что она называется факел. Пусть. Я не спорю, он так доволен своей добычей, а по мне хоть фонарь: опять-таки не все ли равно?

Пробираемся сквозь затопленный лес, вода с шумом несется между деревьями, челнок стучается о стволы. Совершенно дикий вид, каменный век какой-то. Быть может, тут мы и останемся, сделаем себе гнезда на деревьях, будем тут жить? Тимофей посмеивается. Нет, тут нам делать нечего, а до деревни, действительно, извините, не доедем, на берегу ночевать придется. Да где же берег? Будет. А не устал он, Тимофей? Нет, от чего же, разве это работа? Сколько ему лет? Кто ж их считал. Лет шестьдесят, надо полагать. Может быть, семьдесят? Нет, не должно, в семьдесят лет это уже старики, а он как будто бы ничего. Седины у него нет, но почему оно так выходит — понять нельзя. Вон его старшему сыну около сорока, а он весь седой. Водки Тимофей не пьет, ему не нравится, табакон он брезгует и в доме у него никому курить нельзя. Лошадь кулаком может он убить? Не пробовал, отчего же нет, надо полагать, можно. И, смеясь, он открывает огромный рот, наполненный какими-то желтыми камнями без единого черного пятнышка. З-з-за-ме-ча-тельно свежий молодой человек! Вот нетронутая, непосредственная натура, только у него, извините, большой порок есть: в карты он очень уж любит играть, в двадцать одно.

Фамилию свою он подписать может, но читать, извините, не умеет. Уж как старались его обучить, а все-таки не смогли, когда он служил в гвардии. Еще

что, в какой гвардии?! В обыкновенной, в Преображенском полку двенадцать лет отслужил. Так и признали: к наукам, говорят, не способен. А во всем прочем слова дурного ни от кого не слышал, главное в том, что характер у него смиренный. Да, все двенадцать лет в казарме просидел, только на смотры да на парады с полком выходил. Что ему запомнилось из Петербурга? А ничего. С полком идешь, так тут ни на что не смотришь, наблюдаешь, чтобы равнение правильно было, а в отпуск он не ходил: ни к чему. И как службу кончил, так напрямик домой в Поспелково и с тех пор в городе ни разу не был: ни к чему оно.

Огромное весло, размахиваясь, продолжает погружаться в воду, челнок все шипит, и пенистый след струится за кормой. Я устаю лежать, а дяденька-Мамонт, видимо, не испытывает ни малейшего утомления.

Птиц стало видно. Они летят то большими, то меньшими ватагами, и при виде наших челноков каждая ватага кричит. Смеются, ругаются, обмениваются впечатлениями?

Стрелять все-таки бесполезно: так высоко.

Наконец, когда стали меркнуть лазурные дали, наши челноки подошли к узкой полосе земли, где с одной стороны вода неслась, а с другой почти стояла. Тут на разливе мы ставим наши манчуки, а когда к ним сядут утки, будем подъезжать к ним из-за кустов. Увы! В течение всего вечера никто к манчукам не подсел. Летят станицами, кричат, а не садятся. Ночь прошла скучно при скудном свете маленького костерка: топлива почти не было. Затем крайне неприятно выяснилось, что у нас почти нечего есть: мы рассчитывали найти продовольствие в деревне, а до нее не доехали. Решили сварить птицу, называемую будто бы факел. Владелец ее попробовал первый, выплюнул и сказал, что он ошибся: это не факел, а другое, много хуже. Суп из факела, впрочем, ели; он был так плох, что мы старались поскорей его позабыть, но напрасно. Утром даже лёт уток прекратился; проклятые манчуки болтались тремя нелепыми табунами. Этакая чепуха, как можно было поддаться на подобное издевательство? Я ничего не говорил, но настроение окислилось само собою. Почти в молчании мрачно начали мы собираться домой. Вдруг совсем близко и невысоко над нами пролетел гусь. Видны были не только прижатые к животу лапы его, но даже глаза, вытаращенные в диком изумлении. Он что-то бормотал, не торопился лететь и все-таки очутился вне выстрела, когда мы схватились за ружья. Вопрос о возвращении домой отпал мгновенно, даже без разговоров: если пролетел один гусь, может пролететь и другой, мало ли что еще может быть. День спали на припеке, шатались в челноках по разливу, уток видели мало, хотелось есть, вспоминался, к сожалению, факел. Вечером в один миг, как по команде, исчезли комары, носившиеся до того большими тучами. Ночь прошла, если не слишком весело, то очень оживленно. Мы бегали, прыгали, стараясь согреться. По туземному выражению — ночь была свежее, по моему мнению — ударил мороз: по краям разлива образовался ледок. Тимофей спал, как бревно, около скудного костерка, но наконец проняло и его. Он вдруг сел; затрясся всем огромным телом и дико вытаращил глаза на огонь. Я спросил его, случалось ли ему хворать.

— Ну, как же, — отвечал он, — лет двенадцать назад живот болел, страсть, думал, живой не останусь.

— Что ж, объелся чем-нибудь, — даже злорадно расспрашивал я, — холера забрала?

— Зачем холера? Лошадь ударила.

Нет, мы решительно не могли понять друг друга.

Перед рассветом туман, окутавший все, вдруг разлетелся, и тут повалила утка.

Так сказал полудиккий Тимофей, но другие выражения тут не годятся.

Утиные стаи откуда-то принеслись, наполнили воздух и воду. Плеск, свист и хлопанье крыльев, криканье на все лады слышались всюду. Около манчуков кружились, плавали, неслись мимо, возвращались табуны уток.

В смутном свете утра я видел лишь множество уток, а какой они породы — да чорт же их разберет. Оказалось, однако, что их Тимофей разбирал отлично. Шилохвостей он называл тонкохвостыми, кряковых почему-то величал только в мужском роде: селезнями. Я проверял в бинокль и ругался: вот каменная дубина шестидесяти лет!

Я палил, не разбирая, часто мимо, и все-таки очень скоро гряда уток выросла посредине нашего челнока. Тогда я стал заказывать.

— Чернеди больше не нужно, Тимофей. Широконоски? Пожалуй. Ты мне чирков подавай!

Тимофей «подавал», и маленькие уточки, никогда не пахнувшие рыбой, завершили чудовищную добычу.

Чернедь валила тучами, но и благородных уток можно было настрелять хоть вагон. К чему? Я ограничился двумя мешками.

— Ну, как, ничего, летят у нас утchonки? — посмеивались пригласившие меня охотники. Признайтесь-ка, вы ведь усомнились в манчуках?

Я, несколько пристыженный, благодарил в восхищении. Такое зрелище не часто, не везде можно увидеть.

Но все — и утиный потоп, и ряд пережитых тогда ярких впечатлений — все заслонило в моем воспоминании исполинский образ Тимофея. Казалось бы, что таких уже не бывает, а вот он живой въявь, попрежнему смирен характером и, вероятно, продолжает не хворать.

ОНИ И ОН

Если при выходе охотника из дома хотя бы одна ворона, торопливо и озабоченно каркая, полетит в лес, то охотник на ближайший участок своих там занятый спокойно может плюнуть: никого он там не найдет.

Ворона с тетеркой или зайцем не только не в дружбе, а в очень плохих отношениях.

Стянуть яйцо, подцепить ослабевшего тетеревенка или зазевавшегося зайчонка ворона не пропустит случая. Если же случилось несчастье, например, кто-нибудь ранен, причем на землю упала капля крови, кто-нибудь ушибся и захромал, сбился с бега или полета, то этот черно-серый чорт уже тут: мгновенно,

точно из-под земли является — сидит или летает, поджидая, не свалится ли кто совсем и не удастся ли пообедать.

Заинтересованным лицам это все отлично известно, и ворону они соответственно любят, но предостерегающий сигнал от нее принимают. Дело общее!

Опытный охотник эту штуку тоже знает, ружье прикрывает тряпкой, на голову вместо городской фуражки или картуза надевает пастушью шляпу, и — для птичьих мозгов довольно. С березы, с забора посматривают на него вороны и не шевелятся: что ж, мало ли их таких тут ходит.

Однако, если при выходе ворон даже вовсе не было, все-таки, при входе человека в лес, его видят тысячи незримых ему глаз, и, несомненно, раздается понятный всем, кроме него, крик:

— Вот он идет, подлец! Спасайтесь, он идет, убийца!!

И кругом — никого, кроме мелких пташек, которые никому не нужны. Остальных — нет. Они тут, но без помощи собаки человек их найти почти не может. Тетерка — рыжая, тетерев — черный, но среди невысокой зеленой травы они сидят так крепко, что на них чуть ли не наступить нужно, чтобы они взлетели. Очевидно, знают, что есть рыжие пеньки, черные сучья или корни, торчащие из травы так, что человек не умеет отличить их от птицы, если она не шевелится. Но... птичьи мозги остры не надолго.

Если «подлец» ляжет под куст и пролежит бревном с час, то его никто уже не помнит. На темной елке, казавшейся совершенно пустой, вдруг является рябчик. Он доверчиво спускается на полянку, бегаёт между кустами, клюёт совершенно как голубь и, возвратившись на елку, свистит тонким-тонким голосом: это он зовет свою серую подружку.

Этому тонкому, чистому, нежному свисту подражать совсем просто, и «подлец», конечно, сейчас же делает «пищик» из первой попавшейся трубочки, толщиной в гушиное перо, и пищит.

Пестрые дурачки не только охотно откликаются, но и подлетают туда, где думают найти любовь или хотя бы драку из-за любви, а находят смерть.

Выстрел производит в лесу маленькое впечатление. Если «подлец» не бегаёт, не суетится, а главное, не подает голоса, что противнее и страшнее всего, то через несколько минут зловещей тишины, повидимому, никто уже не считает, что случилось что-то. Рябчик лежит в сетке, а убийца, довольный, идет дальше. Там, где у корней поваленной ветром огромной ели образовалась среди мха и травы песчаная прогалина, он останавливается и что-то путает на песке. Действительно, это «путики» — тонкие, но упругие, крепкие петли, сплетенные из конских волос. Тетерев прилетит сюда непременно. Купанье в песке ему необходимо: воды он не любит, а если не чиститься песком или пылью, то его заедят паразиты. В лесу где же взять пыли? И вот в тот миг, как краснобровый черныш, с наслаждением трепыхаясь, принимает песочную ванну, он чувствует, что за лапу его держит смерть: петля. Разве ж это не подло?

А «подлец», покуривая, идет дальше. Солнце поднялось уже порядочно. К глухарю, значит, и думать нечего подобраться. Его только на заре можно застать на ягоднике, еще осыпанном ночной росой, а затем он сидит в такой чаще,

в такой труппе, что там каждый шаг за версту слышен, а ему только шорох слышался, как он — фррр!

Большущий петух знает, как жадно ищет его человек, так и остерегается.

Он сообразителен, он осторожен, он снабжен изумительным зрением и слухом и... он глуп, глуп, как тетерев!

Он подлетает к березке, замечает, что на ней в каком-то обручике, кружке из ветвей висит ветка рябины, и в его глухариных мозгах даже мысли не возникает о том, что на березе никаких ягод не растет, а рябина старая, прошлогодняя. Нет, глупый индюк доверчиво просовывает голову в обручик, дергает за соблазнительную кисть и... виснет в петле, затянувшейся на его шее.

Кто мог бы ожидать подобной гадости?

К таким штучкам со стороны «подлеца» обитатели леса относятся так же, как это было тысячу лет назад: один ставит петли, а другие суют в них свои шеи.

Но к самому грозному оружию человека, к страшному ружью отношение их изменилось заметно даже за ничтожный промежуток времени.

Те, кто двадцать лет назад подпускал к себе на тридцать шагов, теперь снимаются и улетают шагов за семьдесят.

Державшиеся и прежде осторожно шагов за сотню от человека, теперь строго соблюдают расстояние в двести шагов.

«Подойди-ка, убей, вот тебе кукиш с маслом: нет, брат, еще у тебя таких ружей. Курли, курли!» Так французы называют кроншнепа, большого, на высоких ногах, серого кулика (по-русски — всё кулики!).

За одним таким «курли» однажды некоторый человек принялся гнаться в четвертом часу утра. Курли, курли!

Сверлят лазурную вышину серебряные трели, красавец-кулик перелетает с берега на берег, а некоторый человек в ботнике упорно пересекает реку.

Кулик расхаживает по отмелям, засовывает свой длинный кривой нос в разную дрянь, доставая оттуда червячков, кулик пьет воду, для чего совершенно необыкновенно запрокидывает голову, кулик вообще недурно проводит время. А тот, в ботнике, все едет за ним, иногда стреляет и ругается. Курли, курли! Значит, опять не задело, — кричит проклятый кулик! Так они «ехали» долго, пока последнее «курли» не донеслось насмешливо из темноты.

«Курли! Где же тебе, дураку, в меня попасть, ружьишко твое до меня не хватает. Пошел, дурак, домой. Курли, курли!»

Тут некоторый человек повалился на землю в изнеможении и вспомнил, что он из-за кулика ничего не ел почти сутки.

Мрачно, в полном молчании прошли три часа летней ночи.

При первых лучах солнца «курли!» опять зазвенело над рекой.

Длинноносый красавец вылетел из-за поворота реки и оглянулся: «Никого, отстал, значит, дурак — вот надоел».

Курли, курли! Вдруг огненный вихрь сломал его крылья, пронизал его всего, и он безжизненным комком перьев упал на воду.

А внизу грянул выстрел, и из-под выступа крутого берега весело выехал некоторый человек, направляя свой ботник к комку перьев.

Это случилось тридцать пять лет назад. Что это значит? А то, что некоторый человек теперь уже ни к кому никак не подъезжает, сидит смирно, лишь вспоминая гладь реки, освещенной восходящим солнцем, и длинноносого кулика в лазурной вышине, и... свою юность и много-много разных разностей: всего не перечесать, что было хорошего в жизни.

А «курли»? Их сменилось за это время тридцать пять поколений: на человеческий счет они пережили тысячу лет. И за это время усвоили лишь то, что человека не надо пускать к себе ближе, чем на двести шагов, вместо прежних ста. В остальном все попрежнему. И «курли» и все им подобные попрежнему не в состоянии удержать в мозгах что-нибудь надолго, в особенности же не укладываются в этих простых мозгах по... по... поступки этакие, вроде петли или неожиданного выстрела из-под берега.

И тревожный крик при появлении человека в лесу, пожалуй, имеет большой смысл: следует остерегаться человека.

БОЛТОВНЯ ЧУЧЕЛ

Весной тетерев, увидав подобного себе петуха, немедленно кидается его бить. Такое дело — любовь!

Летом тетерев живет один. Тетерка — очень нежная мать: водит свой выводок и, когда дети благополучно вырастут и знать ее больше не хотят, она в избытке глупости или любви все еще шатается с ними. Черныш же, не принимая никакого участия ни в устройстве гнезда, ни в каких-либо семейных заботах, живет один. Он кормится, линяет, купается в песке, летает туда-сюда просто так, ради перемены мест, все в одиночку.

Но, как только опадает с деревьев лист, тот же столь склонный к одиночеству тетерев вдруг чувствует неудержимую потребность в обществе.

Какую выгоду представляет тетереву стая, понять мудрено. Никуда тетерева не улетают, переселения их, иногда наблюдаемые, совершаются на такие не-далекие расстояния, что собираться для этого незачем. Сторожей тетеревиная стая не выставляет и ведет себя, надо отдать ей справедливость, глупее глупого. Приманить и поймать тетерева-одиночку довольно трудно: он очень подозрителен. Но, если стая тетеревей прилетела на приваду раза три-четыре, то затем кроют их шатром сразу всех весьма просто. Они входят под сетку, где поставлены ржаные или овсяные снопы с колосьями, входят, пожимаясь, поеживаясь, с легким коканьем, как будто стесняясь, на самом деле предовольные. Точь-в-точь толпа полузнакомых между собой чиновников, приглашенных с бору да с сосенки купцом средней руки на вечеринку в кухмистерскую.

— Ах, как здесь мило! Кок-кок. Очень, очень приятно. Холодненько, знаете. Кок. Погодка-то того. Кушайте, пожалуйста! Кок-кок.

В этот миг промышленник, который неподалеку сидит в шалаше, дергает веревку: четыре столбика, поддерживающие сетку, падают, и вся компания тетеревей прикрыта. Глупо, не правда ли? Но по тетеревам и шатер.

Отдельные тетерева, повидимому, не очень любят сидеть на деревьях у проезжей дороги, для стаи же это почему-то весьма приятное развлечение. Точ-

но места нет в лесу: рассядутся именно там, где ездят люди. Покажется одному дураку, что уж очень интересно посмотреть на проезжающих, он кокнет и сидит, вытянув шею, глядит — все сидят и глядят, ждут и дожидаются большей частью того, что в них стреляют.

И всю осень, всю зиму тетерев без стаи жить не может, — все это время он одержим стремлением в стадо. Зачем, почему?

Человек этого объяснить не может, но видит это и, конечно, пользуется этим по-своему. Если лень сшить из тряпок грубое подобие тетеревиного чучела, то выставляют на шестах среди осинника или березняка просто чурки. Тетерева издали их замечают и летят к ним поговорить о погоде: «Холодненько, знаете» и так далее.

Иногда чучела все-таки шьют. Это в сущности даже не чучело, то есть не отдаленное подобие птицы, а так нечто, издали слегка напоминающее своим очерком фигуру тетерева. Интересно было бы знать, что думает тетерев, подлетев к подобному уроду? А какие у тетерева мысли при виде искусно сделанного, то есть очень похожего на него чучела? Что оно, по мнению тетерева, должно обозначать?

Как бы там ни было, к чучелам ли, к чуркам ли шумно подлетает стая тетеревей и рассаживается кругом них.

— Кок-кок! Кок? Погодка-то того... — и тому подобное.

Чучела, очевидно, молчат. Мало того: ведь ясно же, последнему тетеревиному глупцу ясно, что на шесте торчит нечто, сшитое из тряпок. А с чурки уж совсем нечего спрашивать. Нет, дурачье сидит и недоумевающе кокает. Может ли итти глупость дальше? Может весьма свободно и легко. В шалаше под чучелами что-то стучает, и один из нижних тетеревей камнем валится вниз.

— Кок, кок? Ко-ко-кок?!

Что случилось? Что это могло бы значить? Почему он упал?

Все общество с величайшим интересом смотрит на упавшего. Если он убит наповал, то остальные... сидят и кокают! При виде бьющегося раненого тетерева даже наиболее крепколобые соображают, что тут что-то неблагополучно, и стая шумно улетает... для того, чтобы, сделав круг, вернуться опять к любезным, хотя чересчур молчаливым собеседникам.

Вот, если охотник выйдет из шалаша, то при виде человека даже самые упорные глупцы понимают, что тут дрянь дело, и в страхе летят прочь, далеко.

Только для болтовни собираются тетерева в стаи и летят к чучелам, больше ни для чего. При этом мужики болтают с мужиками, бабы — с бабами, то есть в стае чернышей разве случайно попадается тетерка и, наоборот, тетеревиные кавалеры не любят дамского общества.

Под конец зимы в каждой округе почти не найти отдельного тетерева, а держится несколько больших стай, даже известных обычно местным охотникам. Один садится в шалаш под чучелами, а другой отправляется к стае и, найдя, пугает ее: она летит непременно к чучелам. Выставленные чурки остаются на своих местах из года в год, ибо, если лень шить чучело, то, конечно, лень же и убирать чурку, тем более, что ей ничего не сделается. Вместо чурок или к ним можно, если угодно, приставить любое количество до последней степени

искусно сделанных чучел: ни весной, ни летом на них ни один тетеревиный дурак, ни самая безмозглая тетерка не обратят ни малейшего внимания. А когда опять опадет лист, то все умнейшие личности тетеревиного рода охотно прилетят о чем-то поболтать даже к чуркам.

ТЕТЕРЕВИНЫЙ СОН

Всего удобнее тетереву было бы спать на дереве. Выбрал в чаще толстую гладкую ветку, уселся поближе к стволу, да и спи себе всю ночь: сухо, удобно, безопасно. Это, однако, человеческие соображения. Тетерев же имеет свои, тетеревиные. Не нравится ли ему покачивание дерева, боится ли он сонный упасть с ветки, или что там еще в его тетеревиной голове? Он о том пока никому не рассказывал и упорно спит на земле, хотя, кроме всего прочего, тут часто его сонного ловит лисица, о чем ему, конечно, известно лучше, чем кому-либо. И, конечно, он этого не любит.

Весной черныш, краснобровый, расфуфыренный, токует два раза в сутки и очень занят такими... разными... — чтобы не сказать любовными — относящимися к току делами. До сна ли тут! Весной, прикорнув кое-где, кое-как, тетерев чуток и осторожен необыкновенно: он почти не спит. Летом для сна он выбирает огромный густой куст, по возможности наполненный сушняком, забирается в самую его середину и, очевидно, там сладко, крепко спит: еды там никакой нет и делать там больше нечего, кроме как спать. Конечно, тетерева лежащим в кусте на боку с закрытыми глазами едва ли кто видел. Человеку в такой куст совершенно незачем лезть, но он на то и ходит с собакой, чтобы она всюду пролезла и обнюхала, нет ли там где-нибудь кого-нибудь. И вдруг из куста: бу-бу-бу! С треском вырывается черныш и как оголтелый кидается куда попало, иногда прямо на охотника. Ну, ясно, что спросонья. Спал, спал краснобровый негодяй! Нечего и отпираться.

Зимой тетереву житье хуже. Снег — предатель.

От тетеревиных лап остается на мягком снегу такой след, что не только лиса или собака, а всякий дурак его, бедного тетерева легко отыщет. Как быть? Все время не пролетаешь, а сесть некуда. Вот положение! Соснуть на дер... Да ведь это опять по-человечьи. А тетерев так не желает. Снег — предатель, но он же и спаситель. Тетерев с порядочной высоты падает камнем в рыхлый снег. Хлоп — и нет ничего, никакого следа. Чистая, ровная, блестящая, без какой-либо отметки, скатерть без пятнышка, а под ней иной раз полсотни тетеревей закопано. Тут сон спокоен, глубок и долог.

Укладываются, то есть так хлопаются спать тетерева, на закате зимнего солнца, а вылетают на другой день часов в девять, в десять утра. Этак, отхватывая по шестнадцати часов в сутки, за всю весну можно отоспаться! Рыхлый снег может итти всю ночь, нападать очень толстым слоем, превышающим в два-три раза рост тетерева, — ничего, он выбьется. И если человек утром, идя на лыжах, встретит такую ночевку, то это восхитительное зрелище — табун крупных черных сильных птиц, вырывающихся из белой глади в снежной пыли, сверкающей алмазами на солнце. Но случается: ночью оттепель, а к утру ударит мороз.

На снегу образуется наст — ледяная корка, и если наст толще мизинца, то тетереву уже не сон, а смерть: он проснется, но солнца не увидит. Не выбиться.

Губит также тетерева необъяснимая с человеческой точки зрения привычка для чего-то и почему-то возвращаться на место ночлега. Мало ли чистых, незапятнанных полей? Хлопайся каждый раз на ночевку в новый сугроб, и никто тебя не найдет. Нет, опять по тетеревиным соображениям, тетерев летит к вечеру на то же место, где вылетел утром.

А выбившись после ночи из сугроба, тетерев, если ничто его не пугает, не летит, а лежит в снеговой ямке. Не каторжник, в самом деле: все летай да летай. Хочется поваляться, поглядывая на солнышко, понежиться, поболтать с соседями по ночлегу. Разговор, может быть, и не из слишком умных, а ямки-то все очень запачканы. Посмотрев на них, не только лиса или собака, а всякий дурак поймет: «Вот тут тетерева ночевали, значит, опять прилетят. Да нет ли еще их тут, мошенников?»

От таких соображений, очевидно, хорошего нечего ждать.

СОЛОВЕЙ И ЛЯГУШКИ

Они поют всегда вместе.

Певец любви и грусти томной по своим привычкам, если говорить правду, грязняк порядочный. Он водится среди сырых кустов, юрко шнырит мышью по нижним ветвям, прыгает, как воробей, ворошит сухие листья, добывая из-под них разную дрянь. Ничего удивительного нет, если тут же сидят лягушки. Плохое место для песен о любви. Розы, воспеваемой им по словам поэтов, соловей никогда и не понюхает.

Мое знакомство с соловьем началось ошибкой. Меня в жаркий весенний вечер позабыли на берегу озера. Все равно, как это вышло, но прошу представить положение девятилетнего человека, впервые в жизни очутившегося перед огромной водной пустыней. Когда исчез огненный круг солнца, наполнивший красными отблесками водную гладь, а по земле поползли тени, я от страха пытался закричать. Мне ответило дикое, низкое, точно из воды несущееся уханье: то кричала, как я потом узнал, выпь, называемая за милый голос водяным быком. Со всех сторон слышалось странное угрожающее урчанье. Я в ужасе притаился под кустом, ожидая своей гибели. Тут прилетели две крошечные зеленоватые птички, уселись на тростинки и запели. Я, забыв все на свете, не шевелясь, смотрел на них с восхищением. Конечно, это соловьи! Они чиликали, тенькали, булькали. Мне было видно, как надувались и трепетали их крошечные горлышки. И вдруг из ближней гряды каких-то цветущих кустов, уже затуманившихся волнистой дымкой, грянул залиvistый длинный свист, понесся, оборвался трелью, щелкнул, заскакал, покатился, рассыпался и серебристым эхом отозвался везде и кругом в кустах, и в лесу, стоявшем темной стеной, и на другом, едва видимом берегу заснувшего озера. Вот он, настоящий-то соловей! А это лягушки урчат, важное дело: нисколько не страшно.

Прошло лет десять. За это время я не только слышал, но и видал не раз, как поет соловей в прозрачном сумраке летней ночи. Он никогда не помещает-

ся на ветке дерева, а непременно в кусте, невысоко от земли, сидит, как бы несколько сторбившись, слегка распутив крылья. К певцу не трудно подобрать-ся и убедиться, что порхает птичка — больше ничего не видать. Днем видно, что это зеленоватый, как-то длинновытянутый воробей, с удивительно крупными черными глазами. Конечно, не всегда он поет. Он кричит тихонько и очень смешно: «так, так, так». Он прыгает по грязи. Он ест червей. Но все низменные подробности его жизни уменьшат ли сколько-нибудь очарование дивных песен? И голос гадов из грязного болота, неизменно дрожащий тягучей трелью вместе с соловьиными песнями, портит ли их? О, нет!

Бесчисленные лягушки кричали над излучиной реки, где по берегу прошла железная дорога. И этот не смолкающий не на миг квакающий хор, и гадкий воздух маленькой станции, прожженной солнцем, запачканной, задушенной к концу трудового дня, и тучи мух, и пыль, и скука бездельного ожидания — все сливалось в тягостное впечатление какой-то безнадежной тоски. Вдруг брызнули с реки соловьиные песни. Лягушечий хор продолжал греметь ожесточенно, но теперь он звучал чуть ли не лаской, он дополнял, оттенял звонкие голоса пернатых певцов. Каждый из них пел свою песню. Старые искусники уверенно сыпали жемчужные, шелкающие трели, робко подсвистывали за ними молодые, но разноголосицы не получалось. Хотелось слушать без конца, когда подошел так долго жданный поезд, жаль было покинуть ненавистную станцию.

Я помню и почти необитаемый, заброшенный старый дом, на холме, над зеркалом пруда, окруженного густыми зарослями черемухи. Там днем лягушки поквакивали вяло, скучно, но к вечеру кричали наперебой. По огромным пустым комнатам дома ночью летала сова. О, какой аромат лился в открытые настежь окна, как нежила, как ласкала прозрачная летняя ночь! Трескучий квакающий хор... очаровательно пел про любовь. Он слился вполне с потоком дивных песен, несшихся оттуда, из черемухи. Для кого? Да для тех двух, что притаились в маленькой конурке на верху полуразрушенного дома. Эти двое, пряча счастье взаимной любви, были вполне уверены, что кроме них ничего нет на свете, что не только соловьи и лягушки поют про неожиданно найденное счастье, но и сова прилетает посмотреть на редкую находку. Пожалуй, эти двое отчасти были правы.

ИЗ УТИНОЙ ЖИЗНИ

Судя по количеству безобразий и глупостей, совершаемых им в пору любви, селезень, выражаясь романтически, самый страстный любовник в мире. Во многих породах самцы большей частью совершенно равнодушны к своему потомству. Погулял с дамочкой, а там — хоть трава не расти. Селезень идет гораздо дальше. Селезню ненавистна самая мысль о гнезде, о детях, о семейных заботах, о чем-либо подобном. Найдя утиное гнездо, он его растреплет вдребезги, яйца разобьет все до последнего, а если попадается утенок, то, не имея возможности его сразу убить, он его затаскает до смерти: это тупым-то, мягким клювом. Значит же, озлобление! За уткой селезень не ухаживает никогда, ни-

сколько, даже из учтивости. Раз он показывается ей во всей красе своего весеннего оперения, утка должна его любить, чорт ее побери, без всяких разговоров.

Он таскает, треплет, щиплет утку так, что бедняжка только покрякивает, встряхивается и очень скоро начинает посматривать, нельзя ли как улизнуть от чересчур пылкого кавалера. Но он ее зорко сторожит и за попытку к бегству немедленно задает утке такую трепку, что пух летит.

И все-таки, как только утка почувствует, что она обеспечена тем количеством яиц, которое ей надо снести, она исчезает. Куда она запрячется, как ухитрится уползти — это ее дело, но селезень, увидя, что он остался один, начинает носиться, как оголтелый. Чурбанчик с воткнутой торчком в один конец палочкой, пущенный на воду, селезень принимает за утку и подсаживается к нему.

Человек, послунив большие пальцы рук, складывает их плотно и отрывисто дует между ними. Получается звук, даже на человеческий слух очень слабо похожий на криканье утки — селезню довольно: он летит на этот глупый звук. В селезня стреляют, он очень хорошо понимает, что это значит, но если не попали, то, облетев небольшой круг, «безумец», а попросту ошалелый дурак, спешит опять на то, что кажется ему сладостным призывом любви.

Наконец в сквернейший в его жизни день селезень убеждается, что нигде больше нет утки, никакой, даже деревянной. Тогда в отчаянии своих чувств он кидается в трущобу, в какую-нибудь особенную глушь, куда, кажется, совсем никому незачем лазить и куда лишь изредка заносит только охотника. Это или болото в лесу, окруженное широким поясом почти непроходимой чащи и топи, или болото же, но на острове реки или озера, словом, такое убежище, о существовании которого можно узнать только с птичьего полета (если не считать опять-таки охотника, шляющегося везде).

Тут селезень находит общество себе подобных, «открутивших» весеннюю любовь, и через несколько дней, — о, ничтожество, убожество, о, нищета! — на что они похожи, эти «безумцы», эти так недавно пестро раскрашенные, бесстрашные, неистовые кавалеры!

Маховые перья их крыльев выпадают сразу, вместе с их брачным оперением. Селезень теперь не только одет в коричневые лохмотья, как самая жалкая обтрепка-утка, но и летать не может. Он хворает, почти не ест. Можно представить, какое милое у него настроение духа. В случае нападения врага, он удирает бегом по воде, смешно и жалко хлопая облезлыми, не дающими полета крыльями. Однако далеко убежать некуда, а пощады от человека, конечно, не жди. «Линяков» избивают палками именно бесчеловечно и бессмысленно: бывает это в самое жаркое время, в отдалении от населенных мест, следовательно, убитая птица непременно испортится, не считая того, что больная, истощенная, она ни мясом, ни пером почти никуда не годится.

Но если этого убежища невольных холостяков, этого монастыря вынужденных отшельников-инвалидов, короче, этой трущобы человек не посетит в течение двух недель, — о, тогда селезень вылетает оттуда совершенно вольной птицей.

Какие там выводки, гнезда, утки, вся эта семейная дрянь! Он живет сам по себе, он не связан никак ни с кем и ни с чем. Утка, та по глупости держится за

детей: они уже летают, а она, дура, все с ними, отстать не может. Селезень летает один, а если угодно — в компании совершенно посторонних птиц: поболтать так на заре кое о чем он непрочь даже с представителями нового поколения, возможно, с собственными детьми. Впрочем, это его не касается. По виду он теперь почти неотличим от утки, но много поосторожнее. А насчет того, чтобы подлететь к чучелу, даже сделанному искусно, или на какой-нибудь там самый хитрый манок, — нет, уж это оставьте, это вам не весна.

Проходит так недели две-три, на липах и кое-где на березах начинает проглядывать желтый лист. И незаметно, на этот раз безболезненно (маховые перья теперь не выпадают) селезень опять переодевается. Голова его покрывается бархатом — темнозеленым, коричневым, красным (в зависимости от породы). Крылья делаются сизыми, грудь малиновой, некоторые франты надевают ослепительно-белый жилет, а иные только белый галстук. Брачный наряд в полном блеске, но никаких таких этаких мыслей у селезня даже и в помине нет. Пусть себе любят утки, пусть, если это им нравится, сохнут от любви — ему все равно. Так, иногда, если уж очень разогреет августовское солнце, иной красавец пошутит, пошалит, погоняется при всех в большой компании за уткой — ну, просто так, чтобы показать, что он кавалер хоть куда, но чтобы наедине серьезное что, такаякая какая-нибудь весенняя нелепость: ни, ни, ни!

Зорек теперь селезень изумительно, и если пролетная утиная стая спит, покачиваясь на открытом плесе озера, то сторожит не утка — куда ей дуре, — а непременно селезень и — уж будьте покойны! — на совесть сторожит. Собаку, подлец, увидит за полверсты на берегу и — пшшш! Весь косяк снимается, как полог, с воды, утки, конечно, орут, мечутся, а он, вожак, уже впереди. В поход! Куда? В точности сказать трудно. Во всяком случае — к солнцу, прочь от зимы. Зачем? Совсем дело темное. Перезимовать, кое-как перебиться можно было бы где-нибудь поблизости, раненые остаются же и часто переживают зиму. Нет, летят в неведомую даль. Так остаться бы там, где так тепло, где столько корма. Там, в блеске солнечных лучей, на безграничном просторе теплого моря, среди всякого изобилия утка почему-то не думает о гнезде. Селезню тут-то и щеголять бы перед ней во всем блеске брачного наряда, тут-то и полюбезничать бы с ней вволю, раз она не хитрит, свободна и никаких гадостей, вроде гнезда, не замышляет. Увы! Селезень в теплых водах плавает около утки совершенно равнодушно: ни трепки, ни даже щипка. Чурбан противный, бесчувственный! А может быть, утка виновата? Вопрос слишком деликатный. Ну как разобрать чужую семейную жизнь?

А месяцев через пять-шесть опять что-то погонит их в глушь наших унылых болот. Они полетят через море, сквозь бури, несмотря на всякие опасности, на смерть, грозящую постоянно со всех сторон. Сюда, к нам, они прилетят во что бы то ни стало, непременно. Они как-то знают, чувствуют, что тут в бешеном очаровании короткой северной весны проснется в них что-то, что дороже жизни, только тут вспыхнет в них то дивное пламя, которого почему-то не может зажечь в существах перелетных птиц роскошное солнце юга. Здесь в бледной лазури неба воздух всегда свеж, бесчисленные тонкие, хилые травы дышат нежным ароматом, спеша расцвести, дать семя и увянуть в течение ничтожного

времени. Во всем этом, в чем-то еще, нам неведомом, для них, для перелетных птиц, есть какая-то таинственная, бесконечно могучая приманка. Тут немедленно по прилете что-то отуманит, сведет с ума осторожного селезня и обогатит чрезвычайными способностями простоватую утку, толкнув одного к яростной жажде обладания, а другую к заботам о гнезде. И разодетый в яркие перья фронт-селезень опять будет драться и безобразничать, а скромная утка опять его перехитрит, уползет у него на глазах и, спрятавшись в гнезде, в тишине и тайне исполнит смутно, но твердо ей ведомый закон жизни.

В ПОЙМЕ

Найти утиное гнездо не трудно даже без собаки, — конечно, в тех местах, где уток много. В тихий жаркий вечер начинающегося лета, недели за две до сенокоса, надо послушать, притаившись неподалеку от лужи. Глупая кряква не в состоянии молчать, когда она окружена выводком темно-зеленых пуховых утят. Она не крякнет громко, настойчиво, как весной, когда она зовет селезня, не зевает во все горло, как осенью, когда она орет от нечего делать. Нет, утка с выводком лишь покрякивает тихонько, убедительно, но почти непрерывно, и голос самоотверженно любящей матери, полный заботы и предостережения, предательски выдает присутствие драгоценного ее сокровища.

Крошечная уточка чирка-свистунка охотно гнездится в первом попавшемся болотце, и едва выклюнутся ее бледнозеленые, забавно-маленькие утята, она также все время сосредоточенно не то шипит, не то свистит: настоящего покрякивания у нее не выходит. Юные поколения именно этой доверчивой уточки обычно наиболее истребляются вечно голодными деревенскими собаками. Впрочем, существует и подлый промысел: добыча утят в пуху.

Гнусные промышленники выходят. Это ничего, что охота теперь запрещена, они ведь не на охоту идут, ружей при них нет, так — с собачками прогуляться. И запускают гончих или просто дворняг туда, подслушаны или подсмотрены утиные выводки.

Они почему-то всегда пьяны, эти «охотники», и непременно трубят в рог: это-де приучает собак к охоте. Озлобленный крик, разрозненный яростный лай, визг, прерывистое завывание рога, возня по грязи, лазанье по кустам — все это долго не может заглушить писка и тревожного кряканья мечущихся в смертельном ужасе птиц. Наконец все умолкает, и победители, грязные, красные, вылезают из мертвого болота, обвешанные добычей. Собаки передушили утят, которые никуда не годятся: перьев на них еще нет, пух их не снимается, а ничтожное мясо, съезжившееся и сморщившееся при жарении, только пахнет сыростью. Несколько выводков истреблено, но цель достигнута: собачки прогулялись и приучились к «охоте». Они теперь умеют продолжать ее самостоятельно.

Да будет клеймен позором и тот, кто выстрелит по нелетным утятам. Целый их выводок просто скосить одним зарядом, но это бессмысленное убийство принесет только разочарование. Даже кряковый утенок, размерами превышающий взрослого чирка, все-таки никуда не годится: если он не умеет еще летать, то такой неоперившийся утенок — нечто жалкое, вытянутое, не сложившееся.

Зато подслушать, подсмотреть утиный выводок, как он по зарям выплывает на чистинку, дожждаться, когда молодые, вырастив крылья, еще боятся пользоваться ими, и тогда к ним, к взрослым уткам, подойти, — о, это совсем другое дело. Для начала раз-раз, — два выстрела в воздух. Старка снимается тотчас и летит прочь: взрослых детей она не защищает. Молодые сидят, притаившись.

Вполне выдержать, однако, они не могут, и когда тяжкие шаги, шлепая по воде, приближаются вплотную, молодая утка, трясаясь на неокрепших еще крыльях, поднимается столбом с криком.

Выстрел гремит, но соседка таится в нескольких шагах и ждет, чтоб подошли непременно к ней, тогда она также крича взлетает. Одно и то же, как скучно! То-то, что нет.

Убитые утки все одинаковы. Но шелест осоки, осторожно раздвигаемой уткой, иногда нечаянный всплеск воды, близкий взлет и испуганный крик крупной птицы, впервые увидевшей человека, толчок и звук выстрела — все эти подробности, многократно повторяясь, бесконечно разнообразны, полны неуывдаемой новизны.

Первый сознательный трепет охотничьей страсти, вообще необъяснимой вполне, почти всегда связан с охотой на молодых уток. На этой охоте человек обычно учится, как самостоятельно, без помощи даже собаки, выследить выводок, вытоптать таящуюся в осоке птицу и, когда она взлетит, повалить ее выстрелом. Возможно, что стрельбы будет в жизни еще много по более редкой и более крупной цели, но благородное воспоминание о первом опыте останется навсегда.

Иногда из-за отсутствия поблизости глубокой воды несколько утиных выводков, случается, еще разных пород, разбредаются тут же, живут неподалеку от гнезд и вырастают на открытом болоте, не тревожимые никем, продолжая упорно таиться в густой осоке. Тут, бродя по мелкой воде, не доходящей до колена, на просторе, не закрываемом ни деревом, ни кустом, можно настрелять столько уток, что последние две их связки приходится нести уже в руках: вешать на себя больше некуда. Попасть на такое место в ясное июльское утро — это исключительный случай, это счастье, охотничье, конечно.

На большую воду, то есть на озера, утки, однажды почувствовавшие, что крылья их несут, летают гулять: поплавать по заводям, полетать над огромным зеркалом озера. А живут утки все-таки по лужам: там они едят и ночуют. С высоты птичьего полета, конечно, хорошо видны все лужи довольно обширной поймы, и потому понятно, что утки вполне уверенно летят на избранные ими лужи.

Но почему одни им нравятся, а другие нет? Всего важнее, казалось бы, укрыться от врагов и преимущественно от человека, а затем есть. Вот Лебяжья лужа, огромный, глубокий, почти круглый водоем среди векового трудно-проходимого бора. Самое название звучит многообещающе. Ну, лебеди тут, может быть, и садились когда-то, а уток за все лето ни одной из года в год. В холодной чистой воде Лебяжьей лужи не мало ли корма? Как будто бы нет. А вот лужа Липки. Гигантской подковой изогнулся ряд узких длинных протоков, наполненных прозрачной до дна водой. Часто видно, как ключи бьют из крепких обры-

вистых цветущих берегов, открытых совершенно. Ни лягушек, ни червей, ни болотной ржавчины тут быть не может, тут уткам есть явно нечего. И со всех сторон в них стрелять просто. Но если не посчастливилось охотнику нигде, то Липки, наверное, его утешат: утки тут всегда сидят.

Длинная, узкая, мелкая, грязная, наглухо закрытая низкими кустами тальника лужа на острове реки битком набита «линяками». Понятно, зачем они сюда запрятались. Селезням во время линьки только отсидеться бы, пока не отрастут маховые перья так, чтобы до них, до убогих линяков, никто не добрался. И удирают же, хлопая по воде обрывками крыльев, бедняги-линяки при неожиданном появлении человека.

Но что гонит вполне владеющих крыльями уток на придорожные лужи? Тут стреляют каждый день, а они опять сидят.

В отрог Долгого озера, уединенный, тихий, полный света и неглубокой воды, кипевшей мелкой жизнью, один упорный охотник заглядывал почти ежедневно в течение девяти лет и только раз со знаком удивления отметил в дневнике: «дублетом две кряквы в отроге Долгого».

Почему эти две туда сели, что отгоняло остальных?

В силу таких же непостижимых для человека соображений утки, перед тем как сбиться в стаи для отлета, рассаживаются поодиночке в прибрежную осоку озер. Да, сидят одиночками довольно крепко весь день. Зачем? Хотят в одиночестве и тишине подумать о своей утиной жизни? Не так? Ну, значит, для того, чтобы доставить человеку удовольствие пострелять в них с челнока: больше предположить нечего. И человек, положив ружье перед собой, плывет вдоль берега у самой осоки, чуть-чуть за нее задевая. Ни звука, ни движения кроме этого легкого шелеста у носа челнока. Зеркало озера спит в прозрачном зное догорающего лета. Вдруг шелест, также легкий, шагов за полсотни перед челноком, и утка стремительно взвивается в вышину, вслед ей гремит выстрел. Стрелять так с лодки очень трудно: при взлете надо положить весло, схватить ружье и сидя прицелиться, не забывая, что утлая лодчонка перекувыркивается крайне просто. Иногда под вечер из шелестящей осоки вылетает нечто коричневое, большое, после выстрела падает в воду, меткий стрелок радостно подъезжает, вылавливает крупную птицу и вместо плоского носа и красных лап добродушной кряквы видит острый, хищный клюв, злобную рожу и длинные голенастые ноги. Выпь! Ее зовут также водяной бык и не без основания: голос у нее сильный, но препротивный.

Итак, к сожалению, неизвестно, о чем думают, чем занимаются утки, сидя поодиночке в осоке у края озера.

К еще большему сожалению, они сидят так очень недолго, не более как недели, десяток дней. Затем они собираются в стаи и — это уже не летние утки, это совсем другие птицы, зоркие, чуткие, сторожкие и недоверчивые.

Тогда они начинают посещать Лебяжью лужу — ту самую, которой знать не хотели летом, и весьма многочисленным оживленным обществом проводят на ней целые дни, повидимому, весьма довольные ее запасами корма. Подойти к ним нельзя: как только треснет сучок в лесу, окружающем лужу, как весь табун снимается и улетает. Но можно сделать наоборот: затаиться между кочка-

ми, под прикрытием осоки или хвороста, и подождать, пока утки прилетят. Утиная стая делает круг над лесом. Тот, кто лежит между кочками, должен не уступать им в неподвижности: сотни зорких глаз с вышины смотрят, не шевельнется ли что около лужи. Нет, все мертво, мелкий дождик сеет, между кочками, конечно, вода, грязь, но... ничего, кочки стоят смирно, и мокрая куча хвороста между ними тоже не шевелится. Стая низит, проносится над поверхностью лужи, возвращается и шумно шлепается в воду. Стрелять? Конечно, отчего и не выстрелить: иногда, случается, попадают. Но в большинстве случаев весь огромный табун уток при выстреле свертывается мгновенно и, ничего не оставив, исчезает безвозвратно. Нет, это не летние утки. Вон зеленые головы кряковых, каштановые головы свиязей — видны яркие уборы вылинявших селезней. Нет, отлетным уткам надо дать обсесться. Тогда, очевидно, полагаясь на старинную, издавна известную и проверенную рядом поколений безопасность Лебяжьей лужи, весь табун, покачиваясь на воде, начинает шелушить, чиститься, дремать, повесив носы. Вот тут рассчитанные, точно прицельные, гремят два выстрела из-под кучи хвороста. Утки взмываются столбом, делают круг над лесом и... возвращаются.

Все кочки попрежнему стоят на местах, на взбудораженной воде плавают несколько мертвых уток. Утиным мозгам этой неподвижности достаточно. Утки, успокоившись, возвращаются, садятся, и опять шелушат, спят. Но, если раненая утка станет биться на воде, тогда из-под хвороста можно выйти: все равно стая улетит совсем.

Сообразительность и осторожность уток, после того как они сбились в стаи, возрастают не по дням, а по часам. На вечерней заре, когда вершины деревьев так отчетливо вырисовываются на безоблачном небе, утки еще летают от одной большой воды к другой, но держатся уже так высоко, что не всякое ружье до них достанет. Затем такие перелеты прекращаются опять-таки без видимых причин: зори все так же ясны, и гладь озер попрежнему зеркальна. На лужи утки больше не заглядывают ни на какие, а упорно держатся на недоступном от берега расстоянии на середине озера, где, казалось бы, нечего им делать: еды там нет, спать мешает волна. Утки сидят там несколько суток и вдруг в прозрачном сиянии сентябрьского полдня, не обеспокоенные ничем, снимаются разом, шумно идут столбом кверху и длинной вереницей в вышине тянутся к югу.

Это значит — отлет до будущей весны.

ИСЧЕЗАЮЩАЯ ПТИЦА

Для того чтобы наверняка убить журавля, надо узнать, где он спит, а затем суметь к сонному подобраться: иначе нельзя.

Первое знание человек приобретает, притаившись на закате солнца весной перед болотистой труппой, над которой уже случалось заметить кружащихся журавлей.

Человек сидит серым камнем вечер, два, десять, мерзнет, мокнет, и наконец, выругавшись, уходит: он убедился, что журавли тут не садятся. Это совсем не то, что ему нужно.

На следующий год после пристальных наблюдений разиня уже смотрит поострей и останавливается над еще более глухой трущобой, опять сидит камнем, мокнет, мерзнет, так как приходится одеваться легко: в полушубке в журавлиную трущобу не пройдешь. И в один прелестный вечер — хотя, может быть, льет дождь — наблюдатель с восторгом видит, что две огромные птицы, как тени, бесшумно скользят с вышины над деревьями, испуская странный глухой и низкий крик: «керр, керр!»

Этот крик садящегося на ночевку журавля ни в малейшей степени не напоминает тех красивых трубных звуков, что несутся откуда-то с поднебесья, он не похож нисколько и на великолепную утреннюю зóрю журавлей. Это басистое «керр, керр!» протяжно скрипит, как полусломанное дерево, колеблемое ветром, и в этом хриплом крике так ясно слышно: «ну, налетался... устал... сядем тут, что ли!»

Если даже журавли сели, если даже не видать было, как они вновь поднялись, это еще не значит, что они остались тут спать. Они, случается, сядут, а потом пешком уйдут: не понравилось что-нибудь — например, какой-то там у сосны серый камень мельком показался не то что подозрительным, — тогда они не сели бы, — а слишком гнусным. Вот, если они со своим «керр, керр!» вечером опустились, а при первых утренних лучах сыграли тут зóрю, поднялись и улетели, радостно крича, тогда... тот... ну, как его там... камень, пень, куча... ну, тот, что трясся там у корней дерева всю ночь, тот может теперь пролезть на место ночевки журавлей и окончательно убедиться, что действительно они тут спали. Осока смята, вода взмучена, напачкано так, как будто две лошади тут паслись. Можно не только видеть, но ощупать несомненные следы журавлей.

Такое приближение, почти прикосновение к еще теплым следам столь далеких, чуждых существ будит странные чувства в душе человека. Охотника влечет особая могучая страсть, смутная и таинственная, как сон: ему во что бы то ни стало надо подсмотреть тайну дикой жизни, овладеть этой тайной, а зачем — он объяснить не в состоянии. Быть может, десяток тысяч лет назад его прямой предок, покрытый волосами, так полз в темноте весенней ночи с камнем в руке к спящим журавлям? А раньше? Там, в тумане тысячелетий, во тьме времен, там он сам, держащий теперь в руках гром и молнию, не спал ли он, стоя в луже на одной ноге?

Журавль спит среди широкой мелкой лужи, стоя на одной ноге и подвернув голову под крыло. Конечно, он знает свою скверную привычку спать крепко — на лесную мерку, — и потому так странно и помещается, чтобы не схватила его лисица, которая воды терпеть не может; кроме того, журавль, для того чтобы взлететь, должен хоть немного разбежаться, сделать хоть три-четыре шага, размахивая крыльями, поэтому он становится спать не иначе, как открытой площадке.

Необходимо точно, миг в миг рассчитать, когда выползти к журавлям.

Если они уже «заиграли», значит поздно: нечего и ползти, не спят, не подпустят. А приползешь слишком рано — темно, стрелять нельзя, ничего не увидишь, задышишь, а он тут — рядом: ну, и фырк! Но, если все удалось, то поводыр, который привел слепца, или наводчик, указавший путь убийце, отступа-

ет в сторону, а человеку с ружьем ничего не остается, как вклеить по заряду в каждую из двух стоящих в воде и сонно согнувшихся птиц. Тоже совсем просто.

К стае журавлей подобраться нельзя: у них всегда есть сторож, который не уходит выпить, все видит и неподкупен совершенно.

Убивают журавлей случайно. С полной достоверностью известно, что однажды на речке Пичуге... Ах, эта речка!

В том крае, где фабричными стоками отравлены давно все реки, из каких-то неведомых ключей слились прозрачные холодные воды, несутся десяток дней быстрой, узкой, глубокой струей между крепкими цветущими берегами, и вдруг пропадают, затерявшись в непроходимой заросли кустов. Нет более восхитительной речки со смешным названием, зато широко раскинулось огромное болото, вдоль которого идти можно недели две.

Гигантский рассадник болотной дичи, приют, убежище для всякой дикой птицы. Там, кроме затопленных кустов, кроме кочек и осоки, нет ничего, и незачем, и нельзя там быть человеку даже днем. Какой же леший и для чего полезет туда ночью? Конечно, так думали и журавли, спускаясь станицей в болото, уже окутанное мглой теплого августовского вечера. «Керр, керр!»

Откуда взялась станица, сколько отмахали за день огромные крылья? «Керр, ке-еррр!»

Исполинские птицы, уже свесив длинные ноги, наклонив шеи, тянулись почти над кустами.

Вдруг из темноты вырвался огненный вихрь, вылетели красные полосы пламени, грянуло два удара. Два журавля тяжело свалились в темноту. Как взметнулись остальные, как кинулись прочь от предательских кустов в вышину, как затрубили оттуда! Они мелькнули дымным облаком на погасающем небе, они уже пропали из глаз, а возмущенные, негодующие голоса их все еще кричали откуда-то с вышины: «Ну кто же, кроме человека, так делает?!»

А внизу в темноте по болоту кто-то носился по кустам, кричал, звал собаку, заставлял ее искать, сам искал, что-то вдвоем они нашли и, судя по восторженным крикам и лаю, были очень довольны.

Когда счастливый охотник пришел в деревню, то, осмотрев его при скудном свете лампочки-коптилки, мужик произнес только:

— Одначе!

И повел гостя прямо в баню.

Утром, рассматривая журавлей, тот же мужик качал головой и говорил:

— Хороши штуки. С барана. И носят же тебя черти по крепям. Пропадет, смотри, твоя голова ни за грош. Уж ежели журавль куда спать садится, так это уж ну-ну!

Но спать журавль садится и на открытое чистое место, и очень охотно по нему гуляет, соблюдая расстояние шагов в пятьсот до себя от ближайшего прикрития.

В тех же приблизительно местах, по речке Пичуге, некий молодой охотник, идя вместе со старым, вывернулся из леса на круглую пожню, но тотчас же отскочил обратно в лес и почти крикнул:

— Журавли! Дядя, журавли, трое!

Тут он получил удар по затылку, почти сваливший его с ног, и наставление бешеным шопотом:

— Если тебе, дураку, привалило счастье, так ты прежде всего должен лечь на землю и подумать, что тебе сделать. А не кудахтать. Лежи, дурак, и не шевелись!

Пролежав с полчаса, неопытный охотник с изумлением увидел, что из леса с противоположной стороны пожни выступило какое-то зеленое животное и направилось прямо к журавлям. Почтенный дядя, обмотавшись ветвями, шел к журавлям на четвереньках!

Журавли встревожились, но более удивились, стали отступать и, прежде чем взлететь, видимо, заинтересованные, более сотни шагов прошли пешком. Когда двое из них все-таки улетели, а один остался убитый, то старый дядя, самодовольно смеясь, говорил:

— Вот видишь. Дурак молодой попался, а те, которые поумнее, улетели. Учись.

Журавлей не истребляют, несчастные случаи с ними редки, от стихийных бедствий они, могучие, не гибнут. И журавли вымирают, исчезают, на глазах становятся редкостью, чудесные, могучие птицы.

Редки стали стайки журавлей в десяток.

Они полетят — лишь только лист пожелтеет на деревьях.

Куда так странно манит, о чем так сладко-смутно напоминает их трубный крик, такой величественный, значительный, бесконечно далекий от зычно-дурацкого гоготания гусей и нелепого кряканья уток?

Пройдет, быть может, еще каких-нибудь полсотни лет, жизнь одного поколения, и маленький мальчишка будет в музее рассматривать чучело журавля, удивляясь, неужели в самом деле были когда-то такие большие странные птицы. А чего там «были когда-то»: дед его, маленького мальчишки, в морозном сумраке весенней ночи лазил в трущобу смотреть, как журавль в луже на одной ноге спит. И видел.

В ЛЕСУ ЛЕТОМ

Лисица вышла из норы и рысцой побежала прямо к болоту, где у нее было дело: она заметила на кочке утиное гнездо, но, имея много других забот, не успела с ним распорядиться. В норе у нее осталось шесть недавно проглянувших лисят. Они вечно хотят есть, но нужно подумать, чем утолить этот несчастный голод: детей нельзя кормить первой попавшейся дрянью. Дети — дело нежное. Лисица уже приготовилась перепрыгнуть неширокую лужу, отделяющую знакомую кочку от берега, как вдруг прямо перед ее носом на воду шлепнулась утка и затрепыхалась. Забыв про все на свете, кроме того, что перед ней бьется живое мясо, лисица прыгнула, схватила лапами, лякнула зубами, но... утка исчезла. И вся выпачканная, мокрая лисица, фыркающая и отплеываясь, выбралась на берег в бешенстве. Вот что называется вляпаться в грязную историю. Дать себя одурачить кому же — утке! Глупая кряква, очевидно, нырнула у нее

между лапами в последний миг. Пора бы уж знать эти шутки. Теперь вот вытирайся, сушишь тут, а там дети пищат и у самой внутренности сводит от голода.

И лисица, злобно повизгивая, каталась по траве, вытиралась, вскакивала, встряхиваясь, и опять ерзала то одним ухом, то другим по траве. Такой уж у нее характер! От норы ее на полсотни шагов несет всякими гадостями, на себе же она не потерпит шерстинки грязной.

А глупая баба-кряква, облетев порядочный круг и убедившись, что лисица ушла, опустилась на свое гнездо, проверила, все ли одиннадцать бледнозеленых яиц налицо и, опустив нос, не заснула — где уж тут спать! — а полузадремала. Что ж, всякий защищает своих детенышей, как умеет. Она, глупая кряква, драться не может никак: клюв у нее плоский, мягкий, лапы тоже мягкие. Ей это отлично известно, и она добросовестно предлагает врагу съесть ее, глупую, вместо ее детенышей, но... если в последний миг можно улизнуть (хи-хи!), то отчего же не воспользоваться случаем. И дремлет, слегка покрякивая, глупая кряква: лисица к этой кочке уже не придет, не-ет, это уж кончено. Вот, если придет человек или его собака — ну, тогда крышка, от этих пощады не жди. Но, на утиное счастье, не умеют они наблюдать, как лисица. Этот рыжий бес, не евши сутки, просидит перед болотом и заметит-таки, на какую кочку опустится утка, и запомнит, анафема. А те... Ну, те так не могут. И, значит, можно еще кое-как ей, глупой крякве, жить. Вот только бы досидеть, вывести. Выключутся маленькие, круглые, темнозеленые. Ау, брат, рыжий бес, лисица — не пообедать больше тут нисколько! Побегут, как мыши по воде, запрячутся в тину так, что сам чорт их не достанет. Ну, человек с его собакой, ну, те достанут. И дремлет, дрожа, бедная, глупая кряква: только бы не пришли эти — человек с его собакой! А рыжий бес, обсохнув, идет по лесу, оглядывая все: кустик, камень, ямку под деревом. Лисица даже слегка взлаивает от бешенства: голод крутит в животе, а там, в норе, ведь пищат, пищат. Необходимо достать жрать. Во что бы то ни стало жрать!

Конечно, тетеревиных гнезд много, но к ним лучше не ходить. Тетеря глупа и разиня, лишь пока она одна. Как только завела гнездо, лучше ее и не трогай. Гнездо она выстилает пухом, который выщипывает из своей груди. Есть ей некогда. Много ли она нахватает, отойдя от гнезда минуты на две-три. А дольше она не согласна. Пьет она только росу, которую ухватит, не сходя с гнезда: что ж так выпьешь?

Худая, облезлая, с вытаращенными злюще, красными глазами, она кидается прямо в пасть врагу, но не так, как глупая баба-кряква. Нет, эта сатана лезет драться насмерть, ее куриный клюв и жалкие тупые когти рвут и царапают, она больно бьет крыльями, она норовит клюнуть в самый глаз. Ну ее! Не стоит и связываться! Погоди, тетеря, дай срок. Недолго тебе фуфыриться. Выведутся темножелтые тетеревята, недельки две походишь ты с ними, клохча и надуваясь на страх всем окружающим. Вспорхнут твои «поршки», переменят в первый раз перо и — ты опять глупая, смиренная курица, которую мальчишка может совершенно просто подманить вплотную, подражая писку тетеревенка.

Глупую тетерю еще много губит, пожалуй, больше всего губит любопытство. Если человек идет по лесной тропинке, а на дереве сидит тетерка, то она,

повидимому, не может усидеть спокойно, — нет, она непременно высунется, вытянет шею и чисто-бабьим, сплетническим голосом спросит:

— Кок-кок?! Кок?!

Ей, дуре, видите, необходимо справиться: кто, куда и зачем идет. В ответ обыкновенно гремит выстрел, и глупая пестрая валится на землю, пробитая дробью.

С тетеркой, когда у нее нет ни яиц, ни цыплят, рыжий бес расправляется запросто. Подберется на заре тихонько к спящей на земле разине — трах! Глупая курица пикнуть не успеет, как от нее только несколько перьев останется.

Но где, кого, как сожрать сейчас?

Ведь там пищат, визжат. Ага! Что-то серое шевельнулось в кусте. Трах-трах! Зайченок. Маленький хруст, чавканье, довольное ворчание лисицы, и она уже оглядывается. Ага! Еще один. Трах-трах! В течение нескольких минут от пяти лопухих дурачков не остается никаких следов, кроме двух-трех капель крови, брызнувших на траву. Чистая работа! Упрятав в живот весь заячий выводок, лисица еще осматривается. Ведь они хитрые, эти серые подлецы. Иной притаится, притворяясь мертвым, валяется, как сухой осиновый сучок, сразу его и не увидишь. Особой остротой зрения лисица не может похвалиться. Чутье у нее лучше собачьего, слух такой, что она двадцати собакам двадцать очков вперед может дать, а глазки... того-с... по лесному делу с изьянцем. И не одному лопухому хитрецу удастся отлежаться в виде мертвого. А серая мамаша-зайчиха в это время уже за две версты от происшествия. Она напугана, но не очень огорчена, ей что: ей некоторые серые лопухие кавалеры уже намекали кое о чем. Она других детей скоро выведет.

А лисица, значит, нажралась и спокойна? Нет, совсем это не значит. Она во весь мах несется к норе, перед которой ее встречают визжащие лисята, тут она выплюнет проглоченных ею зайчат, мягкими, совсем нежными частями мяса и накормит детенышей, а остальное прожует и проглотит уже окончательно, начисто, для себя. Голов и лап, проглоченных сгоряча, и сама есть не станет. Эти остатки и заражают воздух ее норы.

Затем, если лисята совсем еще малы, она покормит их молоком, а если они уже не сосут, то, поиграв с ними очень грациозно, добродетельная мамаша — она же рыжий бес — ложится спать. Не надолго: визг проснувшихся лисят гонит ее за новой добычей. Опять хотят жрать, когда же это кончится, будет ли ей покой?

ВОРОНИЙ КРИК

В течение ночи мороз и дождь сменялись несколько раз, отчего к утру на снегу образовался слой мелких ледяшек, при ходьбе по ним издававших сильный хруст. Подойти по такому пути к зайцу нечего и думать: косою слышит отлично и к себе не подпустит. И я все утро напрасно шел за отменно крупным русаком, который уже обманул меня много раз. Наконец в огороде русак, встав из-под прясла, прыгнул через полузамерзшую речушку, и я выстрелил в него,

хотя было очень далеко. Русак тряхнул ушами и понесся в поле как ни в чем не бывало.

Разорванные клочья облаков неслись, казалось, над самыми вершинами деревьев. Ветер, свистя, нес то крупные холодные капли, то колючие ледяшки. Моя зимняя шапка промокла насквозь — отвратительное ощущение. Но я не мог уйти.

Между живою целью и глазом стрелка в миг выстрела, если он удачен, устанавливается почти неуловимая, еле ощутимая связь. И это смутное, слабое, необъяснимое чувство настойчиво твердило мне, что в зайца я попал. Но он исчез вдаль. Надвигались сумерки. Пожалуй, чересчур глупо искать здорового зайца в поле, когда следа почти нет, а мелкие ледяшки хрустят и трещат под ногами.

Вороны с карканьем метались туда и сюда, а пометавшись, улетали. На их место являлись другие. Откуда они брались? Из туманной дали одна за другой, точно из мутных волн, выныривали в воздухе отвратительные птицы, несясь... ко мне. Почему, что такое? Они умны, эти собиратели всякой дряни, они чрезвычайно благоразумно уклоняются от встречи с ружьем. А тут летят прямо на него. И почему они все на полете косят, низят к тому месту, где заяц перескочил речку? Ах, вот оно что: на гладкой белой льдинке ясно виднелась капля крови. Откуда, как они ее увидели, по каким признакам определили, что заяц ранен? Что за дьявольское зрение, как убог в сравнении с ним человеческий глаз!

Я перепрыгнул речку и пошел в поле, куда убежал заяц. Да, никакого сомнения нет! Эти каркающие воры летят все по одному направлению. Прилетит, помечется там, у речки, а затем выравнивает линию и тянется сюда. Вон их тут уже с полсотни, если не больше, чуют добычу, носятся над ней. Русак мой, значит, лежит тут где-нибудь неподалеку мертвый, я его сейчас возьму и... В этот миг русак вскочил и с места дал такого ходу, что я успел только проговорить:

— Ах, чорт тебя дери!

Смеялись ли надо мной вороны, ругались ли за то, что я подбирался к добыче, которую они уже считали своей? Или, не обращая на меня никакого внимания, они заботились лишь о том, чтобы, собрав стаю побольше, накинуться в удобном месте на зайца, когда он ослабеет? Как бы там ни было, в их карканьи, несомненно, звучал настойчивый, однообразный, яростный призыв. Нет, это не беспорядочный крик, это условный клич хищников, чующих поживу, летящих на кровь. Жутко звучали хриплые, злобно и жадно каркающие голоса в туманных клочьях сумерек.

Но не отступить же. Отдать грязным помойщицам такого русака? Да ни за что! Наоборот, пусть они меня ведут, воображая, что на мой счет пообедают.

И воронья стая совершенно точно указывала мне место, где лег заяц. Игра обнажилась вполне. Хитрые воры, понимая, что они мне совсем не нужны, не обращали ни малейшего внимания на мое ружье, вновь подоспевшие пролетали надо мной совсем низко и черным облаком вились там, куда я спешил изо всех сил.

Проклятый хруст предупреждал зайца, он, далеко не допустив меня, вскакивал и убегал. Сколько раз это повторялось, я не знаю. Я изнемогал. Не ноче-

вать же под зимним дождем в поле? И притом заяц ночью наверное уйдет. Ну, еще раз. Но зайцу, очевидно, тоже надоела эта гоньба с вороньим карканьем, русак решил спрятаться поплотнее и, спрыгнув в широкую канаву, затаился.

Стая воров уже без всякого стыда металась над ним и орала, орала хриплыми голосами. Ну что ж... С ворами, так с ворами. Он мой, я шел за ним целый день, я дойду до него, хотя бы лопнуло сердце, мне он нужен во что бы то ни стало. И похитрить мы сумеем не хуже зайца. Я спрыгнул с хрустящей дороги на мягкий пар недавно вспаханного поля, и звук шагов моих замолк. Ноги вязли чуть ли не до колена в липкой земле, трудно было их вытаскивать после целого дня ходьбы, но... я дойду, дойду!

Когда я добрался до того места канавы, где над ней наиболее яростно вились и каркали вороны, я, держа ружье наизготовку, крикнул, русак выскочил и, перекувырнувшись, упал мертвым. Мой выстрел уже блеснул полосой красного пламени: настолько стемнело. Куда, когда исчезла стая крылатых моих сообщников, я не успел заметить, лишь откуда-то издали, из темноты донеслось до меня вялое сонное карканье, явно звучавшее глубоким разочарованием.

ГЛУХАРИНЫЙ НАЛЕТ

Глухарь свое название получил не от недостатка слуха, который у него чрезвычайно остр, а по месту жительства. Таясь в наиболее глухих трущобах, эта огромная птица для того, чтобы спеть весной свою песню любви, вылетает из темных лесных глубин на более или менее открытые места. В самом расположении растрепанных шапок не слишком старых сосен, отдельно стоящих по моховому болоту, есть что-то особенное, почти неуловимое, шепчущее опытному охотнику, что тут может быть глухариный ток. Но это еще не значит, что он тут есть. Очень часто как будто все условия для тока, все признаки его налицо, а глухарей нет. Очевидно, недостает чего-то неизвестного человеку, но совершенно ясного прошлогоднему глухариному птенцу, впервые почувствовавшему себя взрослым, полноправным глухарем.

Если же соглашение между пернатыми певцами состоялось и место для тока ими одобрено, то они летят к нему издали все в течение тех немногих минут, пока солнце, исчезая за краем земли, освещает красным светом стволы сосен: это и есть налет. Тут глухари молча проводят ночь, а утром токуют до самозабвения. Держатся они за свой ток невероятно упорно. Перестрелять из них большинство это ничего. На смену исчезнувшим явится новое поколение, которому кто-то скажет, что именно тут, вот в этом месте есть какое-то очарование — и весной вновь откуда-то, из неведомых лесных дебрей сюда слетятся глухари и прошепчут, прошелестят неизменную песню. Разбить ток, то есть уничтожить его, можно разве каким-нибудь особенно настойчивым человеческим безобразием, например: ночью разложить костер в току, орать, бегать по току, рубить деревья. Тогда утренняя заря, как бы восхитительно она не загорелась, встречается мертвым молчанием: глухари тут, но ни один ни звука. В случае же повторения безобразий глухари все, как по уговору, покидают ток.

Отдельные чудаки из них токуют иногда при очень странной обстановке. Один исключительный глухарь был убит, когда токовал в нескольких шагах от полотна железной дороги. Глухарь, спевший уже несколько песен, затаился, когда, дыша огнем, сверкая глазами, промчался по рельсам железно-чудовищный зверь. Очевидно, глухарь привык к таким явлениям, убедился, что проход поезда для него ничего не значит, и, когда стук колес затих, просвещенный глухарь затоковал особенно страстно, песня за песней. В другой раз также необыкновенный глухарь токовал на поленнице дров. Он, впрочем, пел довольно скупо: одну песню исполнил всю, как полагается, со щелканьем и шипением, а затем щелкнул несколько раз, замолчал, прислушался и улетел. Это было, несомненно, умно сделано, так как к нему уже шел, подскакивая, кое-кто, но чтобы на дровах петь песни любви, — нет, о таком случае даже слышать более не пришлось.

Глухари поют всегда обществом, всегда каждый на своем дереве, самый ток всегда сравнительно открыт и почти всегда помещается в трущобе. Бывает, и много лет держится точек в три-четыре глухаря, собираются токи по десятку, по полтора глухарей. Был один ток, куда с вечера налетело до семидесяти глухарей, затем летели и садились еще, но их уже не считали.

На вопрос, далеко ли тянется этот ток и сколько же на нем глухарей, ответ получился уклончивый: кто ж его знает, много их тут.

Направляясь на ток в восьмом часу утра, однажды трое в лодке переехали через Волхов и до четырех часов вечера двигались непрерывно всеми способами: то на одноколке, то на лошади верхом, то на лодке, то пешком по грязи, по болотам. Наконец пришли к широкой и очень быстрой, повидимому, реке, где ни лодки, ни лошади не было, вступили в пенистые несущиеся струи и шагали с час по колена в воде. Все? Нет, влезли на подпорки, называемые лавами, и пошли по колеблющимся, тонким бревешкам, подпираясь шестами, причем с обеих сторон угрожало купанье в снеговой жиже. Чистая, прозрачная водичка, на дне видны пригорки из льда и снега, какие-то зеленые полосы тянутся, зеленые лепестки плавают, кругом сугробы, дышащие холодом. А жарко так, что кажется вот-вот лопнешь! Танцуй тут на двух кое-как пристроенных перекладинах. Кроме шеста ведь еще ружье в руках: неприлично охотнику отдать свое ружье для переноски. В конце концов пришли. И притаились у корней растрепанной сосенки двое в бурых кафтанах, один в желтовато-зеленом.

Молчало все кругом. Журчание воды, звучавшее днем очень сильно, замедленно заметно, чуть ли не с каждой минутой. Красный свет на стволах сосен начал совсем меркнуть. Вдруг огромная черная птица, откуда-то взявшись из си-ней дали, с шумом пронеслась над поляной, опустилась на сосну и кокнула странным басистым голосом. Просидев несколько мгновений неподвижно, напряженно прислушиваясь и оглядываясь, глухарь прошелся по ветке от ее конца к стволу, вернулся, распустил, как индюк, крылья, веером поставил хвост и опять басисто кокнул. В ответ послышалось такое же коканье с другой сосны, еще и еще. Везде сидели или прогуливались по ветвям огромные черные петухи.

С треском захлопав крыльями, глухарь обрушился на вершину той сосны, где у корней лежали притаившись трое. В зареве заката он виден был во всем великолепии могучего дикого существа, сияли его малиново-огненные глаза, рдели ярко-красные брови, синевой стали блестели перья. Он кокнул, прошелся и... снялся, перелетел на соседнюю сосну.

Глухарь ничего особенного не видал, не слышал, все было тихо, неподвижно, но глухарь, несомненно, что-то как-то почувствовал. И он был прав. Глухари продолжали лететь и один за другим опускались в сосняк, тянувшийся грядой через поляну. Они охорашивались, прогуливались по ветвям, некоторые, погуляв, покожав, усаживались неподвижно, глядя на потухающий закат.

Вдруг из-под сосны желто-зеленый выстрелил. Соседний глухарь повалился со страшным хлопаньем крыльев, не то закувыркался, не то побежал. Один из бурых на четвереньках бросился за ним, догнал после продолжительной беготни, поймал, на четвереньках же вернулся к остальным и молча, злобно показал зеленому кулак. Из гряды сосен, куда садились глухари, послышалось встревоженное недоумевающее коканье многих басистых голосов. А под сосной, где прижавшись лежали трое, долго озлобленно шептались голоса, странно звучащие тут в прозрачном сумраке весенней ночи:

— Мальчишки так делают, — шептал один, — дураки, свиньи.

— Испорчена охота, ничего тут не будет, — подтверждал другой, — и что вдруг загорелось. Утром десяток бы убили, тьфу!

— Ну, вы себе достанете сколько угодно, а мне больше не надо. Скажите лучше, зачем на руках бегали?

Оказывается, что прямая фигура человека на току производит отвратительное впечатление. Вид же четвероногого да еще в буром кафтане не очень смущает собравшихся певцов.

Однако в сосновой гряде из десятков севших туда глухарей утром ни одного не нашлось, хотя ни малейшего звука отлета не послышалось: глухари пешком ушли.

Обратный путь после испорченной охоты настолько тяжкое бедствие, что его никогда никому не надо вспоминать — ни бурым, ни в особенности желто-зеленому, который и был виноват.

САМОЛОВ

Выстрел стучал на морозе слабо. Когда убитый тетерев камнем падал с ветвей, а пронизавшая его пулька со свистом уносилась в вышину, то все это казалось даже странным. Почему это сильная крупная птица вдруг валится в снег безжизненным комком иссиня-черных перьев? Что такое случилось?

Тетеревину стаю ничтожный звук выстрела не пугал нисколько, и в прозрачном воздухе было ясно видно, как, наклоня краснобровые головы, тетерева с любопытством смотрели вниз: они все видели, но не понимали.

С поддюжины тетеревей комками, замерзшими в камень, переселились с деревьев к нам в сани, как вдруг затвор американской винтовки перестал действовать.

Развинтить нельзя: в рукавицах такую мелочь не ухватишь, а голые пальцы к гладкой стали прилипают очень больно.

— Американские штучки, — смущенно говорил пригласивший меня на охоту владелец винтовки, — замерзло в ней, что ли, что? Кажись бы, нечему, а вот на... Тьфу!

Тетерева рассматривают нас во все глаза, вертя головами, кокают. Что там такое в снях? А мы, ругаясь, передаем винтовку один другому: затвор хлопает исправно, но выстрела не получается. Тетерева всё сидят и чуть ли не смеются.

— Кшш! — обозлился я. — Пошли прочь, летите ко всем чертям!

И встал в снях.

Вид человека для тетеревей, несомненно, хуже пули: вся стая взметнулась и улетела в глубь леса.

Что ж делать? Охота наша кончилась. Решили ехать домой, обогрившись в ближней лесной сторожке.

В какие меха и шкуры ни закутался бы человек, все-таки, если он долго не шевелится, мороз до него доберется и, пробив все покрывки, охватит холодной дрожью. Тогда начинает казаться, что одежда перестала греть. Она лежит тяжким комом, только давит на уставшее тело. Вот тут сбросить с себя все и в одной рубашке прямо на пол усесть у печки, пышащей жаром накаленных кирпичей, — ах, какое это могучее наслаждение!

Огромный дикого вида хозяин чудесно-теплой крошечной избушки, сидя у окна, точил напильником довольно крупные блестящие крючки, висевшие на коротких тонких бечевках, прикрепленных к одной длинной потолще.

Такая снасть здесь, на Урале, называется подледником. Я ловил почти такой же снастью рыбу в Клязьме и Оке, насаживая на крючки червяков.

Но на такую уйму крючков в такой мороз что же можно насадить? И где, как насаживать? Из дому не принести: по дороге до реки все спутается, смерзнется в ком. На морозе не насадить: никакие руки не выдержат. И, по-нашему, такая снасть называется подпуск.

Хозяин смеется. Никакой насадки совсем не требуется; ничего на крючках не должно быть. Крючок совсем чист: если он не блестит, налим на него не попадет. Это уж верно.

Что за сказки? Налима я тоже знаю. Это одна из немногих свиней подводного мира. Налим, шляясь по дну, подбирает всякую дрянь. Ему что ни дай — мертвую рыбку, кусок мяса, внутренность птицы — он все съест.

Он берет ночью. Довольно скучно при свете фонаря насаживать на крючки разные гадкие приманки и затем ждать, пока уйдет долгая осенняя ночь... А утром — ничего, недурно! Толстые, серые, пузатые, как они трепыхаются... Нет, стоит прошататься по берегу ночь.

Здесь, оказывается, налим берет в полдень да еще на пустой крючок?!

Сказки, сказки, на вранье похоже.

Он все время хитро улыбается, этот огромный черный мужик. Нам, горожанам, какую дрянь ни скажи, мы, дурачки, всему поверим.

Он один так тут и живет, в этой чуть ли не игрушечной избушке?

Нет, как можно, это только заимка, чтобы обогреться. Его участок, если прямо по лесу ехать, так суток трое надо, а коли заезжать куда, так, пожалуй, и в неделю из одного конца в другой не попадешь.

Вот тут у него и припас всякий, и посуда, и все. Самоварчик не угодно ли, сейчас скипит, вода у него чудесная, не мутит ничуть, из ключа, никогда не замерзает. Изба у него в деревне, жена, дети, все как следует быть. Иногда два-три дня он тут живет.

Замков у него нет. Воровать тут не полагается, да и некому. Года два тому назад забрел какой-то, да чайник и спер медный, вот этот самый. Так он его сгрел и чайником-то, чайником по башке: не воруй, такой-сякой, понимай, что человеку чайник тут достать неоткуда. Прощения просил проходимец, плакал, крест на себя клал, закаялся ни в жисть больше не воровать. Ну, что будешь с ним делать? Пожалел, отпустил, еще двугривенный ему дал: голь перекатная, беглый.

— А как его поймал?

— Да очень просто, по снегу дело было. На снегу мышью тропку видать. Видно, где мышь пробежала. А человек идет, как печатает.

— А ты читать-то умеешь?

Нет, зачем, читать он не умеет ни по писанному, ни по печатанному. Фамилию свою он подписывает, без того ему никак нельзя: он казенный лесник, в жалованьи должен расписываться. А только никаких букв он не понимает. И в цифрах ему надобности нет. Деньги? Тут счет пустой. Вот он налимов в кооператив там от деревни версты за четыре свезет воз, пятерку получит, вот и весь расчет. Воз налимов? Да это вовсе пустое дело. Налимов тут сколько угодно.

«Ну, — думаю, — ясно, все врет: налимов возами возит! Постой, мы тебя выведем на свежую воду».

— Значит, нам пудика два-три налимов предоставить просто?

Я под столом толкаю приятеля ногой. Он меня поддерживает:

— Стоит путаться из-за пустяков, давай десять пудов.

— Сейчас-то столько, может, не найдется. Добавим, как вынем. Пожалуйста посмотреть товар.

Делать нечего. Не отказываться же. Десять пудов налимов! Покупка не нравится ни мне, ни приятелю: что ж нам лавочку, что ли, рыбную открывать? Но деваться некуда, идем смотреть.

Хозяин открыл дверцу:

— Вот.

— Мне совсем не нужно дров, — сказал я, заглянув в сараюшку.

Рыбак меня не понял.

— Какие дрова? Дров тут нет. Оно темновато со света-то, сейчас осмотри-тесь. Налимы тут.

Огромные пузатые рыбы лежали поленницей, сложенные в клетку.

— Брысь! — вдруг крикнул рыбак.

Из рыбьей поленницы выскочила большая рыжая крыса и, не слишком то-ропясь, скрылась в углу сараюшки.

— Жрут, проклятые, — объяснил рыбак, — и ведь какая гадина: нет, чтобы всю рыбу съесть. Одной рыбины им на десятерых хватит, питайся, никто слова не скажет. Так нет, брюхо выгрызет и бросит, подлая, не доедает. Сколько портят!

— Кошку завел бы, — хмуро посоветовал мой приятель.

— Нам кошка помочь не может, на нашу крысу кошка не идет, опасается. У нас смотри, как бы саму не съели.

— Обгрызанных налимов нам не нужно, — заметил я, — такого уговора не было, чтобы крысы объедки брать.

— Не беспокойтесь, мы вам свеженьких предоставим, при вас вынем. Может, поинтересуетесь взглянуть?

Опять закутанные, в санях, теперь уже трое, ползем по узкой дорожке в лесу. Он спит тяжким сном глубокой зимы. Неподвижно, тихо, бело. Вдруг под ветвями огромной ели брызги крови, какие-то серые, рыжие клочья на взбудораженном снегу. Кто кого здесь загрыз, что тут произошло? По снегу все ясно видно.

— Куница белку съела, — читает лесник, как по книге, указывая на следы, — видите, вот куний след, вот беличий, вот два хвоста рядом? Гнездо белкино наверху, на елке. Вон там, где снег нашарабашен. Куница, значит, к ней в гнездо лезет, а та не пускает, да драться, да бежать. Куница за ней. И обе с дерева-то в снег, вот и видать — хвосты.

— А это остатки от белки? — догадываюсь я, указывая на обрывки. — Разве у нее такая шерсть? Неужели всю тут и съела?

— Нет, то подстилка из гнезда. Куница тут белку не треплет. Она ее задавила, вот тут кровь, — видишь, а есть поволокла в гнездо.

— В свое?

— Да в белкино же, зачем в свое. Она белку съест, да на ее же хвосте спать ляжет. Злющая эта куница, проклятей ее и нет. Ну, вот и приехали.

Из маленькой проруби, проворно проделанной во льду, рыбак живо вытащил какую-то палку, за ней веревку, потом бечевку, конец которой отдал мне.

— Ну, как? — весело подмигнул он на прорубь. — Есть что? Да ты скорей, живей вычаливай, тащи их сюда!

А я растерянно «слушал» рукой сильные живые толчки оттуда, из другого мира — и близкого, и чуждого, и почти недоступного. Там, подо льдом, толкалась, дергалась какая-то иная, холодная, тупая, но несомненная жизнь. Что за существа трепыхались там, чуть не вырывая из рук бечевку? Откуда они явились, зачем нацепились на крючки?

Я потащил бечевку, и у края проруби показалась широкая, плоская, усатая голова крупной рыбы. Я схватил было ее, но налим быстро вильнул и, соскользнув с крючка, исчез в воде.

— Э, не так, не так! — кричал рыбак. — Слюни тут некогда распускать. Ты ему опомниться не давай. Он на крючке чуть-чуть сидит, а ежели одумается, только ты его и видел. Вот на, смотри!

Он быстро, каким-то скользящим движением непрерывно выхватывал из проруби бечевку, складывая ее кругами, и по льду заскакали, изгибаясь, плеская хвостом, и вдруг замирали схваченные сильным морозом, застывали искривленные, скрюченные крупные рыбы.

— Ого, вот так дяденька! — кричал рыбак, выкидывая на лед усатое чудовище.

Великан-налим подпрыгнул, извиваясь, слегка пополз, точно тюлень, и застыл, прямой и толстый, как колода. После осмотра нескольких подледников три больших мешка наполнились налимами, стучавшими, как деревяшки. Великан колодой лежал отдельно.

— А еще говорят, что налимы живучи, — заметил я, идя к саням, — этакая дубина в один миг замерзает.

Рыбак тоже остановился.

— Да вы думаете, они околели? Ничего им не сделалось. Они здоровы совсем. Их положи в корыто со льдом, дай растаять, вот они и живы, коли не убились чем. Только в воду их не кладите, вода их обожжет, от воды подохнут.

— Ну, ладно. Врет точно маленьким. Ты лучше скажи, что их гонит на голые крючки нацепляться?

— Самоловом, значит, налим идет. Крючки эти самые на дороге ему висят: он об них и ну тереться. Ну и того, самолов, значит, получается.

И он все смеется, что ж он — плут, этот огромный дикий мужик? Улыбка его проста, взгляд ясен и прям. Нет, он не хитрит.

То, что говорит он про самолов, дико и смутно. Но кто объяснит лучше? Что скажут тут ученые книги? На крючках, несомненно, ничего не было, и налимы не пытались их брать: ни один не зацепился ртом, крючки цепляли за бок, за спину, даже за брюхо. Подледник помещался посередине реки, значит, в каждую сторону оставалось свободной «дороги» шагов пятьдесят. Нет, налимы, теснясь, все шли тут по самым крючкам.

Мы уложили в сани наши мешки, уселись, закутавшись сами, рыбак отвязал лошадь, обмерзшую инеем до того, что она походила на какое-то необыкновенное косматое чудовище, и прыгнул в сани.

Тут вдруг мы все трое чуть не погибли. Бодрая и смирная лошадка, очевидно, прозябнув свыше меры, вдруг понесла изо всех сил. Напрасно вожжи гнули и крутили ей голову: голова ничего не понимала, не чувствовала, не управляла чересчур охладевшим телом. Лошадь замерзла до полусмерти и бессознательно усиливалась выбить из себя холод. Она, не ломая, не вырываясь, только неслась, неслась. Сани трепались, стучались о пни и деревья, подскакивали.

Вдруг что-то ударило, меня вскинуло и швырнуло кувырком куда-то сквозь куст в сугроб. Вскочив, я увидел, что лошадь все еще скачет, а сани бьются за ней совсем пустые: из них вывалилось всё — люди, налимы, сено.

По счастью, никто из нас троих даже не ушибся, хотя смерть пролетела от нас близко: так разбить голову о пень уж очень просто.

Лошадь скоро поймали и привели обратно. Бедняга и не думала буяннить и долго еще дрожала всем телом.

Дома налимов сложили в бадью, засыпали снегом и льдом и... позабыли.

Обед у приютившего меня приятеля подавался вкусный, в комнате было тепло, светло. Играли в карты и вдруг вспомнили про налимов: прошло несколько часов. Бадья, стоявшая в нетопленной дня два бане, превратилась в садок. Большие пятнистые рыбы, весело плеская хвостами, то всплывали, то совалились одна под другую, прячась от света лампы. Налимы двигались быстро, живо, они, видимо, чувствовали себя как... как рыба в воде.

Огромный налим, весивший около полпуда, плавал кверху брюхом. Он не ожил. Был ли он слишком стар, и холодное его сердце, раз схваченное морозом, не смогло забиться вновь, остановилось уже навсегда? Не ушибся ли он, вывалившись из саней?

Рыбак-лесник, быть может, нашел бы какой-нибудь ответ, а без него тут нечего было сказать.

ПОЖАР В ЛЕСУ

В маленьком городишке северного Урала нет спасенья от дыма нигде, даже дома с закрытыми не только окнами, но и ставнями: от дыма саднит в горле, дым ночью в постели ест глаза. Житья нет!

Солнце висит во мгле темнокрасным шаром, смотреть на него просто, но противно. И мгла гнетет. Настроение прямо гнусное.

Телефон отвратительно дребезжит с утра до вечера одно и то же:

— Двадцать четвертый квартал горит. Население тушить отказывается. Требуют денег.

— В двенадцатом квартале пожар. Тушить никто не идет. Говорят: «Отдайте сначала деньги!»

Отвратительная старая песня. Я знаю, давно все это знаю. Ну и край. Население тоже. На квадратный километр шесть человек и одна десятая: благодарю вас!

Так ведь это по «расчислению философических таблиц», а в действительности — подумать надо, что это обозначает: ничтожный поселок среди непроходимых лесных дебрей. Хуже всего то, что деньги действительно не уплачены. Для тушения лесного пожара в прошлый раз кого-то ухитрились насбирать, кого-то выгнали на работу, составили какие-то ведомости по сорок копеек в день за мужика, по двадцать пять — за бабу, и где-то эти ведомости загуляли. Какая была сделана работа — осталось никому не известным, денег не дали также никому, а лес выгорел все равно так же, как если бы никто не работал. Иначе быть не может: на то он и лес, чтобы гореть. А теперь насчет работы — нет, брат, дудки: своего дела не переделать!

Все, все это я знаю. Везде, во всех поселках я уже был, уговаривал, объяснял, обещал, угрожал, везде... плюнул.

Знаю и содействие администрации. Это значит, что, если я приехал один, то в поселке все жители налицо, а если с администрацией, то, кроме трех- и восьмидесятилетних — никого.

А телефонишко все дребезжит!

Наконец сообщают, что пожар, охватив несколько смежных кварталов, движется сплошной стеной протяжением километров пятнадцать на железную дорогу, угрожая станции, складам, мосту.

Это пахнет уже к а т а с т р о ф о й. И, прекратив все работы по заготовке и обработке бревен, добыче угля и руды, я всех находящихся в моем распоряжении пленных направляю в лес.

Шестеро командированных мне в помощь представителей администрации очень скоро выражают сомнение в том, полезно ли их присутствие здесь, в лесу. Я отпускаю их, они исчезают. Тут уж у меня возникает сомнение: мое-то присутствие полезно ли? И для чего это я привел сюда две тысячи человек?

Это полк. Это длинная, длинная вереница, если люди идут попарно. Это огромная толпа. Это страшная сила, чтобы напасть, убивая, на другую толпу или смести с лица земли человеческое поселение. Но для борьбы с огнем в лесу это — ничтожество. Копать канаву. Какую? Сто метров ширины? На какую глубину? На протяжении пятнадцати километров? Так ведь сначала надо просеку прорубить. Опять: какую? А корни, точно железо, песок, как камень, а огонь будет тут через несколько часов. Нет, все это работы неподходящие.

Пленные по-трое, по-пятеро лежали под кустами, покуривали, болтали. Я для формы спросил у объездчика: все ли пленные тут? Он пожал плечами: я и без него знал, что все тут, убежать некуда. Но совсем не было заметно, что пришла такая орава. Подъезжая к пленным, я посылал их на работу и неизменно получал ответ: «болен». Отвечали по-русски, по-немецки, по-венгерски, на языках, не известных мне.

Некоторые уже спали.

Легкой ровной рысью шла моя сытая и кроткая лошадка. Вдруг она дико фыркнула, уперлась передними ногами, задрожала и, повернувшись, понеслась бешеным карьером, не обращая на меня никакого внимания.

— Подходит, — объяснил мне, задыхаясь, догнавший меня объездчик, — огонь близко!

Что-то шелестело в безветренной тишине спящего леса, странно несся какой-то длительно-шипящий звук — точно масло, кипя, щелкало и пузырилось на гигантской сковородке, как будто свертывали разом миллионы листов шуршащей бумаги.

Где же волны пламени, клубы дыма, снопы искр, страшный жар? Ничего подобного. В бледном свете наступающего утра зрелище было лишено всякой театральности. Лишь кое-где ползут бледные язычки огня, крутятся струйками дымок, что-то шипит, потрескивает. Пустячки!

В эту первую полосу пожара можно свободно войти и расхаживать там, чувствуя, как теплее, горячее становится воздух по мере углубления в погибающий лес. Треск начинает преобладать над шипением, кое-где видны уже горящие жарко костры, иногда целый куст, обвешанный сушняком, бегло вспыхивает колеблющимся пламенем. И вдруг человек чувствует: стоп, дальше хода нет! Горит все: скручиваясь и дымясь, горит зеленая сырая береза, вспыхивает ярким факелом и от корней до вершины пылает сосна, пламя охватывает кусты и дро-

жит около них волнами, огонь бежит потоком по земле, что-то воет, гудит, тянет смертельным жаром.

Пылающие угли величиной в большой арбуз летят сотню шагов все по одному направлению, точно кто их кидает с прицела — все в первую полосу пожара.

Трехсотлетние кедровые деревья стоят исполинскими колоннами, в огромных дырах, оставшихся на них от оторванных ветвей, крутится и с воем кипит огонь. Вдруг с треском, рассыпая искры, взрывается такая дыра. Казавшаяся непоколебимой вершина колонны с шумом рушится вниз, а из огненного жерла, из того места, где только что была дыра, вылетает огромный пылающий уголь и, гудя, летит по направлению пожара. Хлоп! Угольное ядро ударяется о ствол еще не тронутого огнем дерева, рассыпается пылающими осколками. Если в этом дереве есть дупло, то через несколько минут оттуда показывается дым, а затем и там с шипением и воем крутится и кипит огонь.

Это второй пояс огня.

Дальше — стена жара, для человека не доступная: оттуда только слышен густой низкий звук, не сравнимый ни с чем: голос бездны, рев ада.

Стволы сваленных ветром или засохших деревьев — мертвый лес — неисчислимо лежит гигантскими кострами. Бессильный их взять, первый огонь пожара пронесется над ними, лишь опалив их и пожрав только сухую мелочь. Но если до этих мертвецов дойдет основное пламя, то они присоединяются к нему, увеличивая его силы, и адский бас его звучит все грознее.

Даже при полной неподвижности воздуха в первой полосе пожара можно пробыть минут десять — пятнадцать: это пока пожар ползет.

При слабом ветерке он уже летит: человеку к нему входить нельзя.

Когда мало-мальски разыгрался ветер, пожар несется по лесу бурей: человечешко, дрянь несчастная, прочь!

Где же тут растаскать чудовищные груды валежника, какие тут просеки, канавы?!

Я решил не тушить пожара, а только направить его прочь от железнодорожной линии, для чего воспользовался пролежавшей через лес дорогой, окаймленной канавами.

Я поскакал вдоль спящих пленных, крича, чтобы они становились на работу. Я кричал, ругался по-русски, по-немецки, по-венгерски, даже на языках, мне не известных, я насканивал лошадью, уговаривал, обещал, угрожал. Никакого впечатления! Просыпались, зевали, курили, плевали, бормотали что-то. И опять засыпали.

Я плюнул, бросил лошадь и вместе с тремя объездчиками принялся таскать с дороги какие-то палки, колья, клочья сена, всякую дрянь, которая могла дать пищу огню. Через несколько минут около меня работало полсотни пленных, через полчаса выяснилось, что никто не болен, все выздоровели и работают. А через два часа веселый гомон и смех двух тысяч человек встретил шипенье подобрывшегося к дороге пожара. Однако взять ему тут было нечего: ни палки, ни щепки, ни кустика.

Огонь повернул и ушел в глубь дебрей, где и бушевал еще несколько дней. Затем полил дождь, и от чудовищного пожара ничего не осталось, кроме одного из ярких воспоминаний моей жизни.

СЕМЬЯ РАЗБОЙНИКОВ

Почти на вершине огромного полусохшего дуба всю осень, всю зиму лежит большой растрепанной кучей пустое гнездо. В темноте весенней ночи оно вдруг населяется: утром на нем видна пара ястребов.

И по двору бежит женщина с криком:

— Украл, ах, опять украл. Ай-ай! Разбой, прямо разбой. Среди бела дня чуть ли не из рук цыпленка утащил!

Из дома выбегает с ружьем человек, ругается, клянется, что он сейчас застрелит этого грабителя, и очень хитро прячется за сарай.

Ястреба, сидя на краю гнезда, косят глазом на всю эту беготню и, чистя носы, весьма смеются. Странное дело. Надо же им что-нибудь есть. В лесу птенцы еще не вывелись, взрослых птиц ловить неудобно по многим соображениям, а после целой ночи пути голод мучает. А этот... там, за сараем. Вот, дурак! Воображает, что спрятался этакий верзила от ястребиных глаз, отчетливо видящих за сто шагов мышонка в колеях дороги. Пусть посидит за сараем: никто туда не полетит. Теперь, чтобы промыслить еще цыпленка, будет сделано так. Ястреб, угрожающе пища, маячит в вышине над этим же самым сараем, глупая баба кидается защищать своих цыплят, угоняет клуху со всем выводком в другой конец двора, а там из-за высокого тополя вдруг как пуля — цоп! Ястребиха ловит не хуже, если не лучше ястреба. Она берет старую тетерку, на которую ястреб не смеет кинуться: он более дерзок, например, чтобы утащить цыпленка со двора, но слабосильнее и меньше, чем почтеннейшая его супруга.

На цыплятах, однако, не проживешь. Из-за каждого поднимается такой скандал, что ну их. Лучше мышей ловить. Этих сколько угодно, и обращение с ними просто. Каждый мышонок, как только мелькнет над ним страшная тень, сейчас же прикорнет к ямке, затаится и лежит, воображая, что спрятался — вроде того дурака за сараем. Ну, и бери его живьем. Но детей мышами кормить нельзя: кишки у мышей слишком малы, а ястребиным детям-малюткам нужны именно внутренности — тончайшее, нежнейшее мясо.

Значит, приходится ловить в лесу владельцев живых, теплых внутренностей.

Ах, как не хотят они там все умирать, как прячутся, как хитрят!

Тетеревенок, жалкий поршок, еле трясущийся на крошечных крыльях, это ничтожество, два-три дня назад выклюнувшееся из яйца, туда же норовит вильнуть за куст. Не угодно ли там крыло сломать из-за этакой дряни?

Утка — уж как глупа, а увидав кое-кого, не полетит над лугом, нет, негодяйка кидается в первую попавшуюся лужу, где она, в случае чего, может нырять хоть весь день. И все так, решительно все знают, что ястреб берет птицу только на совершенно открытом, безопасном для него месте. Поэтому ему приходится ждать случая часами.

На его серой спине крупные коричневые рябины. Иногда он усаживается на верхушку стога, на засохшее дерево, на изгородь в лесу, голову как-то скривит и втянет, весь старчески сторбится: тетеря-тетерей. Но берегись зазеваться, пролетая поблизости, добродушная птица: он тебе покажет тетерева!

Он кидается так, как будто под ним взорвалось что, будто его подкидывает, стремительно развернувшись, стальная пружина.

Он убивает на лету скорей, чем успевает уследить глаз, убивает, очевидно, ударом груди: нет времени пустить в дело когти или клюв. Видно лишь, как в самый миг удара запрокидывается в судороге смерти голова схваченной птицы, как вся она мгновенно обвисает тряпкой. Жертва редко успевает закричать в этот миг, убийца же не кричит при этом никогда: он мрачно, в зловещем молчании уносит свою добычу. Несколько пушинок летает в воздухе. Свидетели убийства в ужасе прячутся.

Вот в те секунды, пока ястреб бьет птицу и только что понес ее, — тут застрелить его просто: он почти не сознает окружающего. Если же ему случается промахнуться и он кидается вдогонку, то он шалает окончательно, несется, ничего не видя, налетает на препятствия, калечится, иной раз убивается наповал. Иногда, осатанев в погоне за голубем, забыв, что он прилетел в усадьбу, и не замечая, что голубь исчез под крышей, сумасшедший ястреб врывается сквозь стекла в окно жилого дома. Конечно, он при этом разбивается. Надо видеть, как он дышит в совершенном беспамятстве, как постепенно возвращается мысль в его дивные глаза. И как он злобно-жалобно кричит, как бешено, как отчаянно начинает биться, вдруг поняв вполне, что с ним произошло.

Много нужно переловить живности, чтобы выкормить двух птенцов. Ястреба, промышляя убийством, заняты с утра до вечера. Они не только обильно кормят, но и воспитывают своих детей, выводя их гулять на сухую ветку перед гнездом и заботливо поддерживая, чтобы детки не упали. Защищают они их яростно, хотя и с оглядкой. Очевидно, что никому, кроме человека, не может явиться блажь доставать ястребиных птенцов оттуда, куда не всякий, даже головорез, полезет даже за деньги. А даром находятся охотники. Федька Лапин лазил, — личность почти никому не известная, но одаренная многими, хотя несколько однообразными талантами. Федька умел сидеть на дереве, держась за него одной ногой. Перекинуться вдруг с ног на руки и так пройти значительное расстояние Федьке ничего не стоило. Все четыре лапы Федьки действовали одинаково, ногой Федька разве ножик держать не мог. Взяв поэтому ножик в руку, на шею надев веревочную петлю, а за спину мешок с коробкой, Федька отправлялся вверх по дубу почти с такой же простотой, как по лестнице.

На вершине, по словам Федьки, всегда рвал ветер. Уцепившись рукой за веревочную петлю, продев за сук, Федька вынимал птенцов, клал их в коробку, опускал ее в мешок и пускался в обратный путь. Так все произошло в двух наиболее благоприятных случаях, но бывало хуже. Откуда-то вихрем, бурей налетали черти и принимались Федьку бить. Если ястребята к этому времени не лежали уже в мешке, то взять их не удавалось. Ястреба, налетая с затылка, терзали Федьку всячески: клевали в голову, рвали в кровь спину и плечи когтями. Федька отмахивался ножом в воздух. Ястреба налетали стремительно, но осторожно, и

едва Федька достигал земли, они мгновенно уносились в вышину, бешено и жалобно пища. Они понимали, что, стоя на земле, человек ударит не так, как вися в воздухе. Почему в них не стрелял Федькин друг, очень горячившийся с ружьем у подножия дуба? Вот это, вероятно, ускользало от их соображения: он не хотел попасть в Федьку.

Нежные родители заботятся о своих птенчиках, пока они не вырастут вполне? Увы, нет. Довольно скоро настает день, когда папа и мама этих столь любимых детей вдруг посылают ко всем чертям. Вчера кормили, водили гулять на ветку, а сегодня хватают за что попало и вышвыривают вон из гнезда. Крик, писк, возня, драка! Птенцы, кувыркаясь в воздухе, летят мешками вниз, но о землю не стучаются: крылья их уже подхватывают. Они рассаживаются поблизости в полдерева и сидят смиренно, смиренно, как бы не веря тому, что случилось. Тут в течение нескольких часов опять-таки просто их перестрелять. Затем они взмываются с криком кверху. Прощай, гнездо, прощай, детство, прощайте, милые папа с мамой! Это уж не глупые, доверчивые птенцы, это ястреба — молодые, неопытные, но хитрые, пронзительно-зоркие разбойники, вступившие в собственную хищную жизнь. И улетают.

Старики-ястреба, не обижаясь на похищение у них птенцов, упорно возвращаются на гнездо много лет.

Твердая семья, удивительная супружеская верность, примерно прочный союз? Не цепь ли взаимной выгоды от общего преступления?

Что бы там ни было, но если как-нибудь перехитрить и убить одного из стариков, другой немедленно покидает гнездо навсегда.

ЛОСИ, ЛОСИ!

В зловещей тишине стоял засыпанный снегом лес.

Я знал, что в его глубине, то пробиваясь по пояс в сугробах, то скользя на лыжах, идут загонщики. Через несколько минут они по сигналу закричат, захлопают палками по деревьям, затрещат вертушками-трещотками, и от всего этого шума на нас, на линию охотников, полетят тетерева, побегут зайцы. Я напряженно ждал и, услышав за собой между деревьями шорох, обернулся туда, прицеливаясь. Там показался бегущий на лыжах человек без шапки, без полушубка, в мокрой рубашке, от него сильно шел пар. Красное лицо выражало испуг, восторг, смущение.

— Лоси, лоси! — не то вздохнул, не то простонал лыжник, пробегая мимо меня. — Шестеро, у оврага!

И, отчаянно махнув рукой, он скрылся за качающимися, сыплющими снег ветвями. Вон оно что! В краю заячьего загона неожиданно оказались лоси, и он, старейший обкладчик Богданов, просмотрев такую штуку, теперь спешил, если уж не спасти свою погибшую честь, то хоть слегка смягчить последствия своего позора: он надеялся, забежав сбоку, завернуть лосей на стрелковую линию. Но он опоздал. Пролетели, тревожно чиликая, стайки свиристелей, стукнул сигнальный выстрел, вдруг встал и понесся над спящим лесом многоголосый крик облавы. И в тот же миг, значит, заранее почуявшие опасность, показались в углу

поляны лоси. Они бежали, не очень торопясь, через край обширной вырубki вне всякого охотничьего обстрела, но среди снежной белизны выделялись совершенно отчетливо: впереди огромный рогач, за ним два теленка и три больших серобурых. Молодые, старые, рогатые, безрогие... Да мне не все ли равно? Я изо всех сил уже бежал по глубокому снегу туда, где прошли лоси. Они не обратили на меня никакого внимания, их ровный неторопливый бег не ускорился ничуть, рогач продолжал спокойно нести свою великолепную голову. Зачем я, задыхаясь, в изнеможении добрался до пробитой ими тропы, что могли мне сказать их следы? Они, однако, что-то сказали, эти совсем свежие отпечатки копыт на снегу. В глубоком смутном волнении смотрел я вслед могучим животным, которых видел впервые в жизни. Откуда же я их знал? Вот такие, точно такие следы, и какой-то вой, и крик, и лай собак, и кровь на снегу...

Во сне, что ли, все это было?

И эти огромные ветвистые рога, чуть покачивающиеся над серо-бурым горбатым загривком, эти телята, топчущиеся между большими за вожакom, и розовые отблески солнца, и снег, мягко сыплющийся с качающихся ветвей... О, я уже знаю, я видел, пережил когда-то все это!

Облава орет, свистит, там стрельба. Надо мной смеются, поздравляют меня с богатой добычей, я получаю почетное прозвище следопыта. Ну, ладно. Ничтожество, дрянь все эти тетерева и зайцы. Я догоню, настигну, я должен убить лося!

Затем все мое свободное время, все деньги направились, все желания устремились к одной цели, к лосиной охоте. Должно сознаться, что она оказалась чрезвычайно скучной.

Охота на лосей так дорога, что недоступна одному небогатому охотнику, и потому мы компанией платили за выслеживание лосей, получали — обыкновенно по телеграфу — известие, что лоси обложены, ехали иногда очень далеко и узнавали, что лоси «ушедцы», то есть ушли. Ругань, крик, угрозы, но что же можно сделать? Лоси тут, несомненно, были, вот их следы, а вот тут — не угодно ли видеть — тут они вышли из круга и ушли. Они, конечно, останются, быть может, даже не слишком далеко, и обкладчики их снова обложат, о чем опять пошлют телеграмму, но ведь это же другое дело и, понимаете, другие деньги.

Случилось попадаться даже на такую глупейшую удочку. И опять тоже: «ушедцы». И снова платили: очень уж хотелось убить лося.

— Да плевое это дело, — смеясь, сказал приятель, мужик, которому я поведал свою лосиную печаль, — коли с дураков не брать денег, так с кого же их взять? А лося, приезжай, палкой убьем.

Подозрение, что и этот опять врет и кроме того издевательски хочет взять деньги именно с дурака, мучило меня очень обидно, но что особенно я терял? Я приехал, и мы, конечно, на лыжах отправились в лес. Все пошло, как по писанному: вот лось тут был, вот его всякие следы, и он ушел.

— Ушедцы, — сказал я, подмигнув по возможности ядовито, — эгэ, брат?

— А ты думаешь, он дурак нас к себе подпускать? Он человеческий дух издали слышит. До него еще полчаса бежать надо, а он — ходу.

— Значит, опять ничего не выдав, домой?

— Зачем? Нам его сейчас видеть совсем даже ни к чему. Ну, смотри, теперь держись!

И мы покатили по следу.

Часа через три, высунув язык, я попросил передохнуть минуту.

— У тебя что же, — хладнокровно осведомился приятель, — мозгов нет вовсе? Неужели непонятно: все дело в том, чтобы без передышки.

Мы бежали еще часа два, быть может, три или четыре. Я презирал себя, ненавидел мужика, втянувшего меня в такую пытку.

Изнеможение осталось далеко, было уже бешенство, сознание мешалось. Сейчас я сяду, чорт побери все, отдохну и уйду назад, и будь я проклят, если когда-нибудь еще... В этот миг внизу, в овражке, встряхнулся молодой ельник, выскочил, рассыпая снежную пыль, рогач и вновь скрылся за качающимися ветвями. Усталость исчезла, мне показалось даже, что я мгновенно просох.

Мы неслись через овраги, по полянам, сквозь заросли. Иногда след лося как бы прерывался: это он махал через кусты на его пути. Затем лося стало видно все чаще и чаще, затем кусты он стал обегать, затем края снеговых дыр, продавленных его ногами, побурели, покраснели.

— Да он ноги в кровь ободрал! — орал я на бегу. — Это же чорт знает какая гадость. Стой!

Приятель, досадливо отмахиваясь, бежал, а я за ним.

— Ну, вот! — сказал он наконец, задыхаясь. — Ну, иди, добивай: больше не побежит.

Среди огромных коч, кое-где высывавшихся из сугроба, в самом нелепом положении стоял лось: на коленях, полулежа головой на снегу. Он дышал шумно, тяжело, прерывисто, он дрожал всем телом, с высунутого языка его сбегала пена, глаза смотрели мутно, сонно. При виде нас он дернулся, пытаясь встать, и повалился на бок. Приятель мой добил его — не палкой, впрочем, а пулей.

Признав с отвращением, что это не охота, а гнусная бойня, я все-таки упорствовал в желании убить лося благородным способом. И как только я заключил условие, что деньги уплачу не за «ушедцы», а за выстрел по лосю, на меня выставили как на вожжах рогача. Тут, вместо того чтобы, молодецки влепив ему пулю в ухо, положить его наповал, я воззрился в него. А, опять эти маленькие огненные глаза, полные ужаса и ярости, эти фыркающие паром ноздри, эта странная коричневая борода. Что за дикий крик, что за лай? Тут нет никого, ни одной собаки.

Лось, конечно, не стал ждать, пока я его рассмотрю, и побежал дальше. Я опомнился и, к сожалению, выстрелил далеко, в угон и, к еще большему сожалению, не промахнулся. Лось пробежал несколько сот шагов и повалился.

— Готов? — спросил я, подбегая.

— Готов, все в порядке, — отвечал обкладчик, вытирая окровавленный нож.

Он понял вопрос по-своему и не желал показаться неисправным: его обязанность — убитого лося немедленно выпотрошить, иначе портится вкус мяса.

Да, все было в порядке. Лось лежал на окровавленном, затоптанном снегу сам по себе, а его внутренности отдельно дымились кровавой грудой.

Я, даже не взглянув поближе на свою добычу, ушел и больше уже никогда не был на лосиной охоте. Мне казалось, что это самое позорное, постыдное для человека положение лося. Я ошибся: мне пришлось увидеть нечто, еще более унижительное.

Рогатый старый лось, окруженный железной решеткой, стоял на потеху пьяных зевак. Он стоял, слегка согнув колени, понурив голову, совершенно неподвижно. Ему кидали хлеб, но он, не обращая внимания на валявшиеся кругом куски, не отрываясь смотрел на гаснущее зарево заката. И в кровавых искорках глаз трепетала такая тоска, светилась такая мука, что ужас сжимал душу.

Нет, смерть — пустяк сравнительно с теми мучениями, которые может придумать человек!

Лосей свободных, великолепных, украшающих лес, я видал много раз, иногда очень близко. Однажды бородач и самка (чтобы не сказать корова) переплывали реку, где я ловил рыбу. Они ничего не могли сделать, когда я подъехал к ним на лодке: им надо было бороться с быстрым течением. А я мог их убить в упор, но плыл в пяти шагах от них, только жадно смотря, как они пыхтели, фыркали, сверкали красными глазами и, вытянув шеи, выбивались из сил, чтобы поскорей кончить столь ненавистно осложнившуюся переправу. Лоси вышли на берег и застучали копытами по обломкам гранита, фыркая, как мне казалось, в высшей степени презрительно.

Давно я отказался от самой мысли убить лося. Но слышал ли я его глухой, яростный рев, когда в темноте осенней ночи он, ничего не боясь и страшный всем, бежит драться насмерть с соперником, видел ли я его бурый загривок, мелькнувший в лесной чаще, или неожиданно находил тропу, свежепробитую в высокой траве, — каждый раз глубокое странное волнение овладевало мной. Но на место обрывков темного, неизвестно откуда взявшегося видения, никогда, впрочем, не забытого совсем, в моей памяти встал яркий, живой образ. Лоси, лоси!

КРЫЛАТЫЕ ВЕСТНИКИ

Наперекор всем рассказам о голубиной кротости, чистоте и чуть ли не невинности, голубь замечательно грязная птица. Нельзя даже сказать, что голубка вьет гнездо: она его делает из своего помета, выделяемого, надо отдать справедливость, в изумительном количестве. Дерутся супружеские пары голубей безобразно: из-за малейшего пустяка, с каким-то тупым ожесточением. Очень не трудно увидеть, как милый голубок, хладнокровно оттакав нежную голубку до изнеможения, спокойно долбит ей голову до лысины, до крови. Тем не менее приходится признать, что развода у голубей нет, и пара, однажды положившая в гнездо два яйца (не более!), несет иго супружества до конца жизни. Говорят, будто бы в случае несчастной гибели одного из супругов-голубей, другой кончает жизнь самоубийством. Мало ли что говорят!

Вылетев из грязного гнезда, как ухитряется голубь, иногда белоснежный, иметь такой всегда чистый и свежий вид? И бодрый трепет его крыльев ласкающе весел. Такая уж у него способность, тем более удивительная, что совсем не

заметно, когда он чистится; до купанья же голубь вообще не охотник. Вот ухаживать, хотя бы за собственной женой, ну, на это, действительно, он первый мастер! Только что дал трепку, чуть череп не продолбил и уже воркует, раскланивается, надув шею, распутив хвост, кружится мелким бесом. Чье сердце устоит против такого обворожительно-нежного обращения?

Многочисленны и разнообразны породы голубей. Черные, как уголь, и белые, как снег, сизые, почти зеленые, хохлатые, с мохнатыми лапами, с бородавками около клюва и вокруг глаз. Есть голуби карликовые, немного крупнее воробья. Витютень, обычный гость наших лесов средней полосы, вдвое больше обыкновенного голубя. Клинтух, также лесной голубь, значительно меньше домашнего. Скандарон, почтарь, разводимый в Англии, имеет вид хищной птицы — такой изогнутый у него клюв, такая широкая сильно выпнутая грудь, такие крепкие высокие мускулистые лапы. Известностью пользуются также брюссельский почтарь и нюрнбергский багдетт.

Значит, им всем остается теперь — за усовершенствованием почты и съедобных птиц — лишь украшать голубятни, служа забавой для бездельников, не знающих куда девать время и деньги?

Нет, когда раздастся ярый крик войны, военные голуби вспорхнут и полетят по известным им направлениям, неся каждый среди своих перьев еще одно чужое. Внутри его на тончайшей, свернутой в трубочку ткани кратко начертаны сведения, которых электрическим волнам, дрожащим в воздухе, доверить нельзя, которых нельзя послать с огромной стальной птицей, гудящей слишком громко.

А синий, почти черный, серебристо-бурый или красновато-бурый военный голубь, быть может, и прошмыгнет! Он не только приучен смирно сидеть в корзинке, пока его, иногда долго, везут неизвестно ему куда, но умеет находить там корм и питье, помещенные так, чтобы они не могли ни просыпаться, ни разлиться.

Когда его вынут из корзинки, тут уже не до кормежки. Что видит его светлооранжевый ясный глаз в местности, где никогда он, голубь, не бывал? Или не зрение, а другое неизвестное нам, непостижимое для нас чувство властно велит ему лететь, не останавливаясь нигде, не боясь ничего? Ястреба на таких одиноких путников, летящих по открытому пространству, охотятся особенно жадно. Человек их сторожит, смотрит не только во все глаза, но и в разные стекла и, конечно, не постеснится при малейшем подозрении спустить на землю пернатого вестника.

А он летит. Чувствует ли он свое значение, понимает ли сколько-нибудь, как важна удача его полета? Конечно, нет. Он несется к летку своей голубятни, садится на знакомую дощечку, и она, опустившись под его тяжестью, замыкает ток: электрическая трель дает знать, что вестник тут.

Весть о победе? Надежда на спасение, быть может, целой армии, изнемогающей в осаде? Вот счастье, вот радость. Чем, как отблагодарить, вознаградить, приласкать неустрашимого летуна? Да никаких восторгов ему ничуть не нужно. Кормушка с зерном, чашка с водой на месте? Грязное гнездо его в исправности?

Значит, все в порядке. И утолив жажду, поклевав зерна, герой, крутясь по полу и раскланиваясь, воркует перед своей голубкой.

А маленький клочок ткани, вынутый из трубочки пера, принесенного голубем, уже в штабе, и следствием знаков, бледно начертанных на клочке, может быть громовый залп огромных пушек, чудовищный взрыв, вылет эскадрильи аэропланов — этих стальных гигантов-птиц, ревущих страшно, но не могущих так находить в воздухе дорогу, как то умеет делать глупая птица, слепо любящая свое грязное гнездо.

СЕНОКОС

Многие даже северные цветы пахнут сильнее, чем свежее сено. Аромат сирени, розы, жасмина опьяняюще сладок, но утомляет очень скоро. Благоухание скошенного дуга не может надоесть никогда: его, этот очаровательный последний вздох срезанных в полном цвету трав, чем больше пьешь, тем больше хочется пить, поток его нежно-свежих волн так легок, что и успокаивает, и бодрит, и веселит.

Закончив сбор колосьев, обеспечивающих пропитание, и даже идя за возом золотистых снопов хлеба, измученный, запыленный человек понуро молчит, не зная, как ему скорей добраться до дома. После сенокоса, работы не менее трудной, чем жатва, человек непременно поет! Разве нет пыли от сена, не болят все кости от изнурительного, тысячи раз повторяемого движения косы или граблей, разве не жалят, не пристают рои крылатых кровопийц, разве достаточно для отдыха короткой дремоты в шалаше или прямо под кустом? И все-таки до сих пор не видано рядов скошенной травы, над которыми не летели бы песни.

Поле, засеянное клевером, жирной травой, растущей на распаханной и удобренной земле, цветет пышно. Тому, кто его обработал, оно принесет лучший доход, даст больше денег, чем тощий заливной луг, свободно понимаемый внешней водой. Но такое выгодное поле, скошенное, пахнет не так хорошо, не так чудесно-легко, как пожня в пойме, точно выстриженная под гребенку и только что заставленная копнами свежего сена. Должно быть, толстые сочные стебли, богато упитанные искусно подготовленной почвой, медлительно высыхая, вместе с избытком влаги уступают воздушным волнам слишком густой, слишком тягучий, хотя и сладостный аромат. А миллионы хилых трав с почти незримыми цветами, падая под ударами кос, полусухие, уже в последний миг своей жизни, уносимой жаркими лучами, дышат тончайшими нежнейшими благоуханиями, сливающимися в одно, которого легкая прелесть неподражаема и несравнима ни с чем.

Довольно просто, конечно, написать на склянке, что в ней заключаются духи «Свежее сено». Зеленая жидкость из такой склянки, пожалуй, на миг даже слегка напоминает своим запахом то, что написано на ярлычке склянки, но в следующий же миг от нее непременно отдает какой-то гнилью, хотя, казалось бы, нечему гнить в сверкающих стеклах лабораторий.

А стог, сметанный без каких-либо предосторожностей, утопанный грязными лаптями, благоухает очаровательно еще год. Мертвые травы долго не глеют, если в миг смерти они, пронизанные жаркими лучами, обвеянные горячим дыханием ветра, высохли вполне: тогда они упорно хранят те различные вещества, которые они таинственной работой чудесно собрали в то время, когда они жили двойною жизнью, когда их корни проникали в темную глубину земли, а цветущие стебли пили влагу рос в сияюще-розовых отблесках утренних зорь или в золотисто-пурпурных лучах догорающего заката.

К стогу непременно придет заяц-русак. Когда огрубеют юные побеги древесных ветвей и схваченная морозом отава, отросшая трава, опустит пожелтевшие верхушки, пушистый лопухий плут, раздвинув лапами толстый пояс ивовых прутьев, окружающих стог, пробирается к нему, вытаскивает и ест наиболее лакомые стебли трав и часто выкапывает среди них себе душистую нору. Иногда, если стог не слишком уже далек от леса, к нему являются более смелые и требовательные гости. Лоси ломают даже плетень вокруг стога, толкают этот плетеный забор до тех пор, пока он не упадет, и если человек не успеет тут же как-нибудь путнуть рогатых посетителей, от стога очень скоро ничего не останется.

В необозримом просторе множества рек, извилисто текущих в Волгу, на той огромной равнине, которую весной покрывает мутная вода, а затем бледно-зеленый бархат диких трав, там можно еще в хороший год увидеть линию стогов сена, неисчислимой вереницей уходящих от взора вдаль до края земли. На плоских берегах Оки или Клязьмы можно еще услышать особенный, как будто влажный звук сотни кос, вжикающих сразу, миг-в-миг среди туманной свежести росистого луга. Там сотни женщин, едва одетых в разноцветные тряпки, мелькают точно стаи ярких птиц в зеленых волнах, шевелят их, эти благоухающие копны почти уже сухой травы, наперебой орут непонятные слова, и звук их голосов вблизи режет слух, а смягченный далью ласкает его, как пение странных действительно птичьих стай.

В ПЕРЕЛЕСКАХ

Где-то в лесах Гималайских гор еще водятся настоящие дикие куры, прямые предки домашних кур. Тетерев нашим домашним курам, несомненно, лишь дальний родственник.

Тетерева разгребают землю лапами и копошатся в песке действительно совсем как куры; тетерка, водя тетеревят, клохчет, а черныш, когда он чем-либо изумлен чрезвычайно, кудахчет очень похоже на курицу, но на том сходство и кончается. Про токующего тетерева иногда говорят, что он поет, но это неверно. Он воркует, бормочет. И это бормотание, полное страстной тоски, какой-то нежной печали, одна из самых звучных песен весны.

У тетерева нет знаменитого «кукареку». А петух не может чуфыкнуть, с чего черныш начинает свой ток. Километра на три несется по росистой заре этот яростно веселый крик краснобрового, расфуфыренного, готового и на бой и на ухаживание косача. Тетерка громко не кудахчет никогда. Впрочем, вся тя-

гость семейной жизни ложится на скромную тетерку: быть может, потому и не слышать ее громкого голоса. Отыграв ток, великолепный кавалер-косач, он же черныш, не обращает ни малейшего внимания на свою серенькую подругу. Он не бьет ее, не разрушает ее гнезда, не убивает птенцов, нет, в подобных безобразиях тетерев не замечен, но к потомству своему он совершенно равнодушен, а с дамами, если не груб, то неучтив.

Петух скликает кур приторно-ласковым голосом, торопливо разгребая лапами, и очень часто вкусную находку съедает сам. Этот домашний подлец делает еще хуже: он зовет кур иногда на заведомо пустое место. Глупые бабы-куры стремглав бегут к нему со всех сторон, а затем отходят с самым разочарованным видом. Но зато, когда курица, снеся яйцо, желает оповестить о том весь мир радостным кудахтаньем, петух ей добросовестно помогает и орет басом: «кудох-то-тох». Он не прочь при этом случае, который ему решительно ничего не стоит, лишний разок спеть, самодовольно похлопав крыльями: «Вот, мол, как у нас».

Дикий тетерев подобных приятностей в обращении не имеет и, как уже сказано, отыграв любовь, он, не лицемеря нисколько, удаляется в уединение. Надо ли ему перелинять, откормиться в полном спокойствии или он любит в одиночестве думать о своей тетеревиной жизни, — как бы там ни было, с самой весны и до тех пор, пока не начнет падать с деревьев зазолотившийся лист, косач-черныш живет один.

Тетерка, не избалованная хотя бы показным участием супруга, бодро и неусыпно несет все заботы о будущем поколении. Она в лесу на земле вьет гнездо из сухой травы, устраивает в нем мягкую постель из мха и опавших сосновых иголок, верхушку постели выстилает пухом из собственной груди. На это нежное ложе она выкладывает удивительное для ее роста число яиц: в расцвете сил, то есть на третьем году своей жизни, тетерка может высидеть до шестнадцати яиц.

Пьет она те капли росы или дождя, которые успеет похватать, не сходя с гнезда. Чем она питается, почти не сходя с него? Никакой пищи около гнезда никем не приготовлено. Когда тетерка на гнезде спит? Днем и ночью шныряют кругом нее ненавистные, коварные, хитрые враги: белки, ласки, хорьки, бурундуки, даже просто крысы. Всех их ждет отчаянный бой насмерть: не даст тетерка врагу подобраться врасплох. Хищная мелочь, впрочем, осмеливается покушаться на кражу тетеревиного яйца лишь во время отлучки тетерки с гнезда: даже лисица отступает перед бешеными ударами крыльев и клюва самоотверженной матери, царапающейся так, как будто на ее куриных лапах выросли когти орлицы. Единственный враг, от которого тетерка испуганно улетает с гнезда, это человек или его бродячая собака: эта сожрет и яйца и тетерку, как бы она не дралась. А от человека пощады также напрасно ждать.

Но если судьба уберегла гнездо тетерки от подобных посетителей, то обычно в жаркий июльский день вокруг гнезда пискливо суетится множество пуховых темножелтых цыплят, а счастливая мать, озабоченно клохча, слегка их поклевывает. Нужно ли ей, тронув каждого клювом, убедиться, сосчитать, что число птенцов соответствует числу бывших яиц, выражает ли этот клевок материнскую ласку, побуждение к жизни?

Цыплят, пока они не обсохли, тетерка в течение нескольких часов их существования ничем не кормит. Как только они обсохнут, они уже бегают довольно бойко, и мать, угрожающе клопча, ведет их на муравейник, где показывает им, что есть и как есть: разгребая лапами, она достает муравьиные яйца, расклеывает их на мелкие части и стучит клювом по этой нежнейшей пище, сама не ест ни кусочка. Когда же все клювики, подражая большому клюву, настучатся, наглотаются питательного корма, тетерка, надуваясь и клопча на страх всем врагам, ведет свой выводок к кусту, быть может, присмотренному и одобренному заранее, и там, собрав всех птенцов под крылья, чутко дремлет.

Перья в ничтожных крылышках тетересят уже есть, и они могут перелетывать: это «поршки», юные птички с колеблющимся неровным полетом бабочек. Они умеют есть, летают, бойко бегают на желтых лапках толщиной в спичку, но они еще долго будут совершенно беспомощны. И человек только с подлой, бессердечно-скаредной душой способен убить «старку» от выводка поршков. Ничего нет проще, как это сделать. Достаточно раз подслушать писк тетеревенка, чтобы затем, дунув на травинку, вложенную между большими пальцами рук, запищать почти так же. Тетерка, в избытке любви не сообразив пересчитать своих птенцов, кидается на этот жалкий звук без всякой осторожности, летит совсем открыто и низом, или, вытянув шею, подбегает к человеку, сидящему на траве. Ее можно убить камнем, палкой, эту бедную, без ума любящую мать. Тогда убийца получает облезлую кожу и сухие кости никуда негодной птицы, так как перья тетерки, истомленной долгой высидкой, взъерошены, тусклы, дрянны. Весь выводок бесполезно гибнет: отыскивать себе пищу он не умеет, а если бы случайно нашел, то все равно первый дождь губит всех тетересят наповал. Негде обсушиться, нет теплых крыльев, которые так верно, так надежно укрывали и от дождя и от холодной сырости росистой ночи. Грудка птенцов, погибших от дождя, одно из самых жалких зрелищ.

Когда тетеревята подрастут настолько, что вместо пуха на них появятся перья, то не только тетерка, но и все тетеревята, отозвавшись, спешат на звук все того же немудреного манка из травинки. Выросши немного побольше, чем в полматери, тетеревята вторично линяют, и рыже-серые перья юных тетеревей начинают пестреть черными пятнами: это тетеревята «букетами пошли». Это выводок в полной красе, во всей силе и... чего ж тут ждать?

В тот час, когда росистый ягодник дышит свежестью едва засиявшего утра, пусть умная и вежливая собака встанет перед многочисленным выводком. Быть может, собака даже растеряется. Что ж ей делать? Они все тут, их так много, они, притаившись, сидят чуть ли не рядом. Как быть?

Один неопытный охотник долго бежал однажды за собакой, которая по всем признакам вела по куропаткам — со жнивья в кусты, в мелколесье, на вырубку. Когда все прибежали в заросли черники и брусники, собака вдруг как будто захромала, заметалась, встала, как бы мучительно скрючившись. Собака растерянно озиралась по сторонам, и юный охотник стоял в полном недоумении. Что поразило собаку, не укусила ли ее змея? Вдруг с оглушительным треском взорвались десятка три темных клубков, замелькали между кустами и, хлопая крыльями, исчезли без выстрела. Затем необыкновенный выводок был

найден снова и опять разлетелся, провожаемый на этот раз двумя выстрелами: юнец впопыхах пропуделял начисто.

Собака не обманула: выводок бегущих куропаток привел ее в середину выводка тетеревей и оба, взорвавшись сразу, оглушили как охотника, так и собаку. Как же узнал, что тетеревей было около трех десятков, этот птенец, простофиля, ротозей, упустивший такую добычу? Юнец прозевал, конечно, по неопытности. Но громовой трепет мгновенного взлета тетеревей в благоухании ясного утра над зеленым перелеском, это сверкающее воспоминание живет в памяти бывшего юнца все так же свежо и ясно, хотя с тех пор прошло столько лет, сколько было там этих темных клубков перьев. И... и... он ничего, он поправился тут же, этот неудачный охотник, он вторично пошел за ними, улетевшими, и с помощью умного вежливого друга, узнавшего чутьем, где они теперь поодиночке расселись, подобрал их, кажется, всех: четырнадцать тетеревей в букетах и двенадцать куропаток.

Через несколько лет после этого происшествия некто уже с усами прочитал в книжке, что по кучно-взлетевшему выводку нарочно стреляют в воздух «пчелкой», то есть крупной дробью, просверленной насквозь: от свиста таких дробинок тетерева и куропатки, рассевшись поодиночке, затаиваются и крепче держат стойку.

— А мы своим умом до этого давно дошли! — усмехаясь, сказал усатый мальчик. — Помнишь, Дик?

Из угла комнаты, где кто-то лежал на соломенном матраце, послышалось легкое похлопывание, как будто палкой по матрацу: то умная и вежливая собака отвечала. Дик, крупный и пестрый кобель, книжек не читал, нет, но он помнил и знал, если не все, то очень многое.

Черныш? Летний одинокий черныш? Да это мошенник первой степени. Он, прилетев чорт знает откуда, падает камнем в огромный дубовый куст, одиноко стоящий среди чистой пожни, и затаивается там в сушняке, как мертвый. Он воображает, что охотник, идущий на бекасиное болото, пройдет мимо куста, чем все дело и кончится. Извините, тут есть очень умная и вежливая собака, которая на всякий случай считает долгом к кусту забежать просто так понюхать от нечего делать. И вдруг там пахнет тетеревом.

Влезть в куст? Глупо и грубо. Пернатый жулик-черныш проворно убежит под густыми ветвями в противоположный край куста и оттуда вырвется пулей неожиданно для одураченного охотника. Нет, так нельзя. Кругом куста широким поиском по гладкой дорожке.

— Да ты что же, братец! — сказал с недоумением уже довольно опытный охотник, взяв, однако, ружье наизготовку. — Ты что ж по пустому месту идешь, Дик, а?

Но Дик уже чуял ясно, где затаился косач и, став мертво, устремил туда пылающие глаза.

Прогремел взлет, ударил выстрел.

— Ах, мошенник! — радостно говорил охотник, подбирая еще трепетавшего черныша. — Смотри-ка, Дик, куда он забрался, чуть ли не в болото уселся.

Дик ничего не ответил, но именно тут узнал, хотя, может быть, не вполне правильно, кого и за какие штуки называют мошенником.

Когда зазолотятся и опадут листья лип и берез, когда в перелесках запахнет яблоками без видимых к тому причин, так как яблоков там нет, в это время тетерева выравниваются, то есть юное поколение становится похожим на стариков, так что различить одних от других можно, только взяв в руки. Разница между тетерками и косачами обозначается, наоборот, вполне резко и видна издали; в скромные рыже-серые перья одеты одни, сине-черными перьями, косицами, ярко-красными бровями нарядно украшены другие. Если родственные выводки разбиты, то посторонние друг другу тетерева начинают собираться в общества, причем дамы держатся дамской компанией, мужчины своей. Иногда среди стайки молодых косачей путается одна тетерка. Чем угодно можно поручиться, что это старка, которой удалось увидеть своих птенцов взрослыми, и она наперекор всем тетеревиным приличиям летает за детьми, хотя им до нее нет никакого дела. Доказать, что она им мать, конечно, невозможно, но из такой стаи убитая тетерка всегда старая, а косачи все нынешнего года, что непоколебимо устанавливается по перу.

Сбившись в стаи, тетерева становятся очень зорки, сторожки и... чрезвычайно глупо летят к выставленным чучелам: охота, продолжающаяся всю осень и зиму. Это уже другое дело.

БАБЬЕ ЛЕТО

Орнитологи в толстых книгах утверждают, что вальдшнепы, прилетая весной и отлетая осенью, летят в одиночку. Возражать против тяжеловесных сочинений нечего: ученым все известно. Можно их только пожалеть: никому из них не улыбнулось счастье попасть на высыпку вальдшнепов.

Лесной кулик всю жизнь проводит под пологом ветвей, но в течение того времени, когда он перелетает с севера на юг, он населяет на очень короткий срок ровные, почти открытые болота. У вальдшнепа нет ни одного признака лесных птиц, наоборот, вся наружность его, все привычки чисто куличьи. Длинноносый, отличный бегун, он свой корм достает только из влажной земли, не трогает ни одной ягоды, не может сесть на дерево и — живет в лесу, там выводит детей, гнездо, свитое по-куличьи на земле, устраивает под хворостом. Когда, зачем, почему он, кулик, попал из болота в лес? Осенний его вылет на гладь болота, что такое — случайная прогулка или темное воспоминание о бесконечно-далекой прежней жизни?

Отрицать такой вылет напрасно. Он происходит ежегодно в почти неуловимые сроки, не придумать, с какой целью, иногда на три-четыре часа, и нельзя сказать, чтобы на одних и тех же местах. В одиночку? Пусть. Против орнитологии не поспоришь. Но невозможно опять-таки отрицать, что длинноносых одиночек иной раз собирается на небольшом болоте довольно много. Что ж, летят над лесами по одному и, завидев подходящий лужок, слетаются, сговариваются провести там некоторое время и опускаются уже сообща. Так, чтобы один, сидя в болоте, подзывал отдельных пролетающих, — нет, так не бывает. Высыпка, как

всякое счастье, сваливается человеку на голову вдруг, вмиг... И охотник с неожиданным восхищением убеждается, что крупная носатая птица, степенно стрекнув крыльями, без крика поднимается «свечкой», летит прямо, даже в случае двух пуделей летит недалеко и спокойно усаживается на отлично видную кочку, где, конечно, исчезает. Однако там, около кочки, при самом тщательном осмотре никого не оказывается: длинноносый хитрец уже крепко сидит в ближайшем кусте, вероятно, проклиная открытую гладь.

Это не значит, что по дороге к кусту также никого нет: тут легко поднять с таким же степенным стреканьем несколько одиночек. И, наперекор орнитологии, охотник начинает палить, как палят только на высыпках в те ясные дни, когда длинные нити белоснежной паутины медлительно тянутся в воздухе, свежем, чистом, холодноватом, но еще полном благоуханий от срезанных и отцветших трав.

В такой день некто с ружьем и сумкой шел через почти сухое болото из одной деревни в другую для того, чтобы, наняв там довольно скверную собаку, итти с ней к трем известным выводкам тетеревей. Когда тот вальдшнеп, что после двух пуделей сел на кочку, а с нее убежал в куст, свесил носатую голову с кожаного пояса охотника в обществе двух таких же длинноносых красавцев, как и он, охотник, повидимому, очень хладнокровно вынул из сумки довольно длинную веревку, которой предполагалось сдерживать нелепые скачки невежи-собаки, привязал эту веревку к своей правой ноге и принялся не спеша шагать по болоту из края в край. Он уже видал разные виды в своей жизни, этот охотник! И ближайшие последствия доказали, что он был в значительной степени прав. На его поясе скоро оказалось четырнадцать вальдшнепов. Редкая, великолепная добыча. Но патронов не осталось ни одного из тридцати, какая горестная ошибка! А за веревкой, волочившейся между кочками, то-и-дело слышалось еще стреканье поодиночке взлетающих вальдшнепов. Тогда охотник, сняв веревку с сапога, побежал в деревню, вернулся с патронами и с довольно скверной собакой; все это заняло не очень много времени, часа три, не больше, но... В пустом болоте, обыскав каждую кочку, каждый куст, собачонка нашла лишь трех подранков. А неповрежденные вальдшнепы исчезли. Все улетели. Поодиночке?! Пусть, пусть. Время-то у них на то было.

Куда улетели они, это осталось неизвестным, а весь случай произошел близ деревни Которово, Петриловской волости, Лужского округа в начале XX столетия.

На Урале же в канцелярию Верхотурского лесничества в том же веке однажды вбежал мальчишка и закричал:

— Дяденька, кулики прилетели! Доктор уже ходит.

Точнейшими исследованиями установлено, что в этот день по болоту, тянувшемуся на окраине городишка, шагали четыре человека, из коих два очень больших, а два совсем маленьких. Большие стреляли из ружей, а маленькие носили мешки. Стрельба кончилась вследствие наступления темноты. Сколько было сделано выстрелов, сколько вальдшнепов убито — известно, но оглашению не подлежит, чтобы не встать уже в непримиримое противоречие с орнитологией: столько не может быть одиночек. Впрочем, там, на Урале, в неизме-

римом рассаднике вальдшнепов, им, может быть, разрешается хотя бы короткое время собираться в неисчислимы стаи.

Какой он толстый, плотный, чистый этот осенний вальдшнеп. Как славно он шлепается после удачного выстрела на землю с глухим и тяжким стуком. Он весит вдвое больше, чем поэтический, но тощий герой тяги, срезанный дробью над вершинами деревьев в весенний вечер. И роскошной этой птицы еще много будет высыпать на наши болота из своих богатых запасов Урал. Он же подсыплет и турухтанов, коротконосых куликов, замечательных тем, что весной они бесконечно разнообразны пестрыми нагрудниками — двух не найти одинаковых, а осенью одеты все как один, разница только в величине. И чудак же этот турухтан: любит не только стоять на одной ноге — это еще куда ни шло, со многими случается, — нет, он на ней, на одной, довольно долго прыгает, пока не полетит. Однообразные чудачки эти осенью настолько же вкусны, насколько весной, расфранченные в яркие перья, почти никуда не годятся. На Урале увидеть стаю турухтанов штук в пятьсот очень просто на любом поле, подобраться же к ней, — нет-с, это совсем другое дело. По плоским пескам Клязьмы или Оки пролетные турухтаны, наоборот, разбегаются небольшими станицами, иногда доверчивыми до крайности.

Настоящие кулики на пролете также бегают по пескам, но... но эти длинноносые негодяи до исступления могут довести человека: так они зорки, чутки, осторожны, предусмотрительны. Отмель они выбирают голую, такую, что даже собака по ней незаметно подползти не в состоянии. От высокого крутого берега, от кустов эта отмель так далека, что никакое ружье до нее нехватит. Плывущую по реке лодку шагов за двести приветствует звонкий серебристый крик, после чего лодка плывет уже к пустому месту.

За куликами редко даже кто охотится: слишком мала добыча за собачье ползание по грязи, за долгое выжидание, закончившееся ничем, за тысячи неудач с хитрыми птицами. Известна, однако, отчаянная голова, посвятившая несколько лет жизни исключительно куликам. Так этот куличатник, этот спец по куликам с горестным недоумением свидетельствует, что исчезает весь род длинноносых, длинноногих хитрых птиц, мало преследуемых человеком. Почти пустыньны стали берега равнинных рек, песчаная гладь отмелей лишь кое-где испещрена крестиками куличьих следов. Серебряные трели кроншнепов сверлят воздух где-то в вышине, но эти кривоносые хитрецы, право, имеют такой вид, будто они уже никогда не садятся на землю, а выстрелить по ним — это нечего и думать. Долгоносики, по преимуществу бекас и дупель, так называемая благородная красная дичь, те начали исчезать уже с полстолетия. Корзина дупелей... Это звучит преданием старины глубокой, а между тем такие корзины существовали не очень уж так давно: широкие, плоские, глубиной на одну птицу. Затем полсотни долгоносиков на одно ружье в день, в том числе десяток дупелей, стало считаться роскошной добычей. Теперь десятка полтора — редчайший случай. Сколько же болотных трущоб надо было излазать, сколько выстрелов сделать, чтобы добыть полсотни дупелей? Куличатник — отчаянная голова — таскал на себе суму с порохом, со всем инструментом для переснаряжения патронов. Выпалил все, выбрался на сухой берег, на широком пне насыпал,

набил градом смерти блестящие медные гильзы, зарядился, значит, снова и — опять в болото. А есть, сушиться, отдохнуть? Это после, ночью. Они слишком коротки, слишком драгоценны, стремительные ярко-изумрудные дни начала осени, пахнущие яблоками, дни красных гроздьев рябины, рдеющих в зелени, дни первой позолоты лип, дни пролета птиц и крика невидимых стай в вышине, прозрачные дни ласкающей теплоты солнца и неожиданных откуда-то ледяных дуновений.

Эти дни бабьего лета для охотника едва ли не чересчур сразу богаты. Если охотник не желает в самый интересный миг остаться безоружным, то должен иметь большой и разнообразный запас снарядов. Что шумно плещет, фыркает, брызжет на реке? Не лось ли туда забрался? Охотник, не поднимая головы, ползет по берегу, пробирается, чуть дыша, сквозь кусты, потерявшие уже часть листвы, осторожно вглядывается и... ругается: гагары. Десятка два черных, несуразно крупных птиц, кувыркаясь, так шумят. Увидев человека, они не летят и не ныряют совсем, а погружаются в воду так, что видна лишь узкая верхушка головы, и стремительно плывут прочь, как будто двадцать черных червяков, извиваясь, несутся по воде. Стрелять дробью тут совсем не стоит, маленькую надежду на успех может дать лишь картечь; авось, свинцовый шарик тяжело наповал стукнет как раз в быстро убегющую точку головы. Гагара питается рыбой, но пахнет не рыбой, а чем-то невыносимо противным и есть ее ни с какого голода нельзя. А чучело? Иному покажется лестно приобрести такую черную вытянутую орясину с злобным выражением приплюснутой узкой рожи.

При охоте вдвоем ранней осенью может случиться, что удастся перехитрить табун уток и даже гусей: один охотник затаится, а другой покажется сторожевому стаи. Если расчет верен и место затаившимся выбрано правильно, то он вскакивает в диком крике птиц над головой, среди сумасшедшего хлопанья крыльев, и — горе ему, если мелка дробь в его зарядах. Крепка, сильна пролетная птица. То, что слабо, не летит, то все осталось на добычу сухопутному хищнику. А то, что в отлетающей стае, то все цепко держится за жизнь, и даже тяжело подбитая птица осенью уходит далеко и прячется упорно.

Осенний тетерев-косач, как бомба вырвавшийся из куста, теряет иногда от удара мелкой дробью целый пук перьев и летит как ни в чем не бывало. Нет, это не летний цыпленок, кувыркавшийся от одной дробинки. А без мелкой дробли тоже нельзя. В туманное утро, когда красное солнце без лучей выглядывает из-за края земли на седое от росы болото, должна быть наготове мельчайшая дробь, ибо может встретиться гаршнеп, длинноносое на куличьих ножках существо размерами с воробья. Самый маленький кулик, одетый совсем как большие, наибогородные, он носит на голове такие тонкие перышки, что немцы зовут его волосяным куликом. Перед такой птицей, пернатой жемчужиной болот, предстать с зарядами крупной дробли прямо непростительно. Очаровательный куличок никогда не кричит при взлете. Его маленькие крылья не производят никакого звука. Он взвивается круто вверх, как большая коричневая бабочка, и виден весь крошечный красавчик с длинным носиком и крупными черными глазками. Если его не накрыть широким кругом мельчайшей дробли, он улетит высоко и прямо без зигзагов и вывертов: он мастер летать, этот ма-

лыш. Он почему-то упорно сидит в наших болотах до заморозков и иногда после них. Ледяная борода повиснет на пожелтевшей осоке, собака визжит, вступая в ледяшки болота, а гаршнеп все тут. И он хитрый, этот крошечный куличиска, он знает, что среди рыжих выгоревших кочек его, темнорыжего, никак не разглядеть, он таится до последней крайности, вытоптать его почти нельзя, волочащейся веревки плутишка не боится. А высыпку может сделать такую, что остается только ахнуть: откуда их, малышей, столько набралось. Без собаки охота на гаршнепа невозможна, и далеко не всякая собака для этой охоты годится. Для того чтобы бескорыстно лазать целый день голыми лапами по полузамерзшему болоту, нужен умный друг, способный на самоотвержение. А что человека гонит в грязь, под холодный дождь, на пронизывающий ветер, чем так часто заканчивается осенняя охота? Понять это можно, а объяснить нельзя.

ЗА ГРИБАМИ

Земля, прогретая солнцем, вздрагивает при первых холодных каплях дождя и спешит отдать избытки накопленной в ее темноте пищи, но, утратив уже силы весеннего плодородия, она в последних вздохах отходящего лета может судорожно выкинуть только плесень.

Медведь и тетерев, белка и заяц при первых признаках осени все идут искать и есть грибы. Коровы, козы, овцы едят их жадно, и там, где по лесу пасся скот, не только в этом году не выглянут из травы или мха разноцветные шляпки, но их там не будет долго, быть может, никогда: скот начисто уничтожает вместе с настоящим и будущие поколения грибов.

Собаку и свинью за грибами в лес ведет человек. Когда свинья, унюхав трюфель за сорок — пятьдесят метров, обкопает его так, что он виден, человек бьет свинью палкой по морде и, отрезав драгоценный гриб ножом, свинье, чтобы ее не обескуражить, дает горстку бобов. Собака, бескорыстный друг, та ищет трюфель чутьем, как дичь, и в награду за находку получает корку хлеба.

Выгодный гриб трюфель. Можно найти его и без свиньи и без собаки: мушки мелкие желтоватые роями толкуются там, где под землей вырос трюфель. По другим признакам его можно найти и, наконец, способы разведения его достаточно известны, а цена на него очень высока. Но... не русский гриб трюфель, и даже имени ему на русском языке нет.

Есть гриб, который растет во всех округах наших и только один везде называется одинаково: это — рыжик. Синяк, конечно, есть тверской синяк, «темный» гриб — второй сорт. Иной раз совсем на болоте вырастет с чайное блюдечко гриб и по шляпке темные пятнышки у него или — еще хуже — зеленые пупырки: третий сорт. Однако при изломе шляпки синяка и пятнисто-зеленого гриба неизменно выступает ярко-оранжевый сок, какого ни у одного гриба больше нет, значит, это все рыжики. Он, рыжик, растет везде, просто, но только там, где растут ели, не под ними, не совсем в тени их лапчатых ветвей, а так, приблизительно около них. Находились искусники, пробовавшие разводить рыжики. Он, рыжик, ничего, он согласен развестись, но... вместе с елями. Без них — ни за что.

И чтобы ели были старые, несколько лет сыпали свою хвою в почву: тогда рыжик тут. Не всякий охотник до рыжиков на такие капризы пойдет.

Белый гриб-боровик много проще. Он растет везде: и под елкой, и под сосной, и по придорожным канавам. Он сохраняет везде свое плотное, белое мясо, не чернеющее при разрезе, а шляпку, в особенности цвет ее, он меняет очень разнообразно: то она бледная, то красная, то коричневая, а случается, и буро-зеленая. Наперекор своему названию боровик самый вкусный, самый свежий, самый плотный растет под березой. Тут среди редкой травы он стоит коротенький, толстенький, в светлобурой шляпке, точно сахарный. При варке шляпка боровика-березовика делается ярко-красной, а сам он дает крепкий навар отменного вкуса — лучший гриб для заготовки впрок. Так это березовик? Совсем нет. Березу, кроме рыжика, любят все грибы и боровик в том числе, но у березы есть свой гриб — подберезовик. Если насадить вновь березовый лесок, то когда юные березки начнут давать порядочную тень, у их корней появляются грибы на тонких ножках с белыми шляпками, быстро темнеющими и чрезвычайно быстро растущими. Должно быть, они очень сладки, эти толстые, дряблые, скользкие ляпухи-шляпки. Слизни, улитки выгрызают на их мякоти такие следы, какие мог бы, кажется, сделать зубами заяц: две глубокие бороздки. Какие-то противные мошки вечно толкутся около березовика, желтые, белые червяки въедаются в сырую мякоть дряхлого гриба. Он отвратителен, жалкий старик, выросший величиною в шляпу. Но юный подберезовик, зажаренный свежим, лучше всех грибов: он нежнее, слаще, ароматнее даже белого гриба, прославленного чересчур.

Подберезовик, ласкаемый солнцем сквозь полупрозрачные ветви берез, слишком скороспел; не успеет окрепнуть его ножка, как шляпка пухнет, делается дряблой и — он постарел. Его видят большею частью перезревшим, это вместе с подосиновиком, носящим ярко-красную шляпку, дешевые «черные» грибы. И правда: если их разрезать, они быстро чернеют на воздухе. Сушить — они сморщиваются, лопаются, крошатся, солить — они «склизнут»: неприятно скользят, легко слипаются в ком.

Для солки, для основного способа русской деревни заготавливать запасы на зиму наравне с рыжиком главный гриб — груздь. По латыни он называется молочко-перечный (*Lactarius pereritus*): если его разломить, выступает белый жгучий сок. Есть, значит, нельзя? Сырым отнюдь никто не ест груздя, ни червяк, ни улитка, ни заяц — самый чистый гриб груздь. В шляпу величиной может он вырасти в ядреном холодке почти осенних ночей и — бел, чист, крепок, свеж, хоть на куски его разрежай. В продажу предпочтительно идет, впрочем, мелкий груздь — носок. Крупные грузди под оскорбительными кличками (попова шляпа, шелепель) остаются солеными дома.

Опенки — убийцы-грибы. Ядовиты? Нет. Молодые маринованные опенки замечательно вкусны, и не о ядовитых грибах тут речь, не в том дело. Опенки — разрушитель дерева, он растет у пня, остатка дерева, там, где смерть дерева пронеслась. Многолетняя грибница опенки имеет вид чернобурых шнуров, проникающих в корни дерева: это убийственная гниль древесины, земляной рак корней, это безнадежная гибель дерева.

Вот опенки развести просто: насыпать между корнями дерева разломанных шляпок опенков и заровнять землей — милые грибки расправятся и с пнями и с деревьями, со всеми соседями, уничтожат всех.

Груздей разводить еще не пробовали. Рыжики, как уже сказано, от разведения непрочь, но на условиях трудных: кто ж для них ели сажать будет? Белые и красные грибы разводятся ли? Темное дело.

Лет сорок пять назад конторщик кладбища на Охте Павлович напечатал сумбурную брошюрку о разведении им лесных грибов, причем доказывал, что гриб... животное, если не совсем, то какое-то сочетание животного с растением, и главную роль в этом сочетании играет слизень. К брошюрке Павловича современники отнеслись, как к бреду сумасшедшего. Однако на выставке огородничества Павлович выставил великолепные белые и красные грибы, выведенные у него на огороде, что подтвердилось осмотром. Чудак просил и за брошюру, и за грибы, и за секрет, за все десять тысяч рублей. Никто их ему не дал — тем дело почти кончилось. Но...

Итальянский миколог Вольно рядом опытов доказал, что споры гриба приобретают жизнеспособность не иначе, как пройдя через пищеварительный канал слизня. Профессор микологии получил грибной мицелий, жизнеспособную плесень гриба, но грибов не вырастил. А у кладбищенского конторщика, случайно поймавшего, повидимому, ту же мысль, грибы в огороде росли. Кто из них прав, кто более ошибался?

В наших лесах пока еще грибное море. Оно, однако, иссякнет быстро, если его не побережь. Не нужно ни ограничений при сборе, ни запретных сроков для грибов. Ножик нужно брать с собой каждому, кто идет по грибы, и срезать гриб с ножки, а не вырывать с корнем — вот и все. Жизненное начало, зародыш, споры гриба останутся в почве, какое-то неизвестное нам соотношение корней гриба с почвой не будет нарушено и — довольно. Проглотит ли действительно слизень споры гриба и, сам исчезнув, оставит их одаренными новой силой произрастания? Какая еще странная работа таинственно свершится в темноте земли? Это неизвестно. Установлено твердо, что где грибы срезаны, там скоро вновь мелькают в траве, во мху разноцветные шляпки, на будущий год урожай грибов тут обеспечен. А земля, у которой грубо вырван самый корень грибного плодородия, та земля гриба более не даст.

ДЕТСКАЯ КНИЖКА

ОКУНЬ И МАЛЬЧИК

Там, где у корней вывалившейся ольхи образовалась огромная яма, в омуте жил окунь — толстый, белый, с темными полосами, с красными плавниками, с колючим гребнем на спине.

Человека он видел много раз и всегда торопливо уплывал в глубину при его появлении, не вполне понимая, отчего это так выходит. А мальчика, приходившего к речке часто, окунь знал даже очень хорошо. Однажды, соблазнившись большой мухой, кинутый мальчиком в воду, окунь эту муху схватил, не придав никакого значения тому, что муха была явно привязана к нитке. В мухе, однако, оказался маленький крючок, и, когда мальчик потянул нитку, окунь, вытасканный за верхнюю губу, вдруг всплыл на поверхность, от ужаса и удивления вытаращив глаза и распустив колючий гребень. Он шутя оборвал нитку и опустился на дно омута.

Так состоялось их знакомство, — короткое, но неприятное.

С течением времени оно крепло, но не улучшалось. Мальчик, только и мечтая, как бы выудить окуня, стал подбрасывать ему самые соблазнительные приманки, а окунь, издали подмечая появление своего врага, поспешно опускался на дно. Иногда, если ясно было видно, что приманку легко сорвать, он ее хватал, мальчик дергал удочку, но окунь почему-то не попадался. Мальчик нацеплял на крючки рыбок совсем таких, каких окунь ловил на отмели, и оставлял их на ночь в омуте. Окунь, не торопясь, стаскивал их с крючков и ел, находя, что это даже очень удобно, когда так доставляют пищу, вместо того чтобы гоняться там за этими вертушками. Найдя утром пустой крючок, мальчик грозил в омут кулаками и говорил:

— Ах, ты, полосатая свинья, пучеглазый обжора. Погоди, мошенник, я тебя поймаю!

Окунь недоумевал. Ну, да, он полосат, но при чем же тут свинья? Большие выпуклые глаза, как всем известно, красивы. Не есть рыбок, нарочно для него, для окуня, закинутых в омут, было бы даже неучтиво. Но брать в рот крючок: нет, извините, он не так глуп. А насчет мошенничества лучше уж молчать тому, кто, предлагая в угощение муху, засовывает в нее крючок.

Окунь стал неотвязной мечтой мальчика. Засыпая в каменной громаде городского дома, мальчик часто видел во сне, как он вытаскивает из глубины омута толстую, белую рыбу с красными плавниками.

Весной в речку откуда-то набегали страшные мутные волны. Они неслись с шумом, плескали, захлестывали, убивали, но окунь отсиживался в тишине омута, благополучно толстая. И вместе с первыми листьями на деревьях являлся к омуту мальчик.

— Ты все тут, старый вор? — говорил он, подсмотрев уплывающего окуня. — Ну, погоди, чортова кукла, доберусь я до тебя.

И он кидал в воду разные разности. Окунь ничего не брал. Он, конечно, стар, но это — хи, хи! — не так плохо, это дает опыт, осторожность. Что же он украл, почему он вор? Несомненно, он ест чужую икру, он вытаскивает из норок раков, когда они, линия, сидят там без скорлупы, мягкие, беспомощные, он ловит рыбок. Иногда случается, что рыбка оказывается слишком крупной, и, как он ни старается ее проглотить, хвост ее торчит у него изо рта, что выходит очень смешно. И окунь, плавая у дна, обиженно плескал хвостом; что такое чортова кукла, он не понимал совсем.

Вода светлела, становилась холодной, речка покрывалась льдом. Окунь, обросший, как шубой, толстым слоем слизи, неподвижно стоял на дне, чуть шевеля плавниками. Он ничего не ел, почти не дышал, оставаясь в спячке всю зиму. Видел ли он сны? Не представлялся ли ему в тягостном видении мальчик, выживающий его на какую-либо особенно хитрую приманку?

С годами он становился все подозрительнее и почти не поднимался на поверхность.

В росистое свежее утро, когда с деревьев падали в воду такие вкусные мягкие червяки, окунь, убедившись, что на берегу никого нет, не удержался и всплыл за особенно толстым червяком. Вдруг страшный удар потряс всю речку, вода взметнулась столбом брызг, убитые или оглушенные рыбки вереницей поплыли по течению. Это мальчик, выросший в длинного верзила, отчаявшись поймать окуня, выстрелил в него из ружья. Но зоркий старик, заметив вспышку выстрела, успел кинуться в глубину невредимым.

— Хитер, хитер, старая каналья, — говорил, уходя, верзила, — а все-таки я до тебя доберусь.

Каналья? Это еще что: лучше или хуже чортовой куклы? Окунь слышал, но не понимал.

Над ним в вечном движении всегда висел прозрачный толстый слой воды, кругом, точно кривые пальцы спасительного чудовища, торчали черные запутанные коряги. Не мог верзила поймать его никак. Но за что же браниться? И в непонятных словах нет ли какого-нибудь угрожающего значения? Окунь, чуть пошевеливая хвостом, стоял на дне. После выстрела он ни в каком случае никогда не всплывал на поверхность. К чему? Он и так промыслит свою добычу. Вон там, где у отмели вода крутится между камнями, там часто можно видеть, как захлестнутая быстрой струей рыбка вдруг лишается сил, переворачивается вниз спиной и уносится течением, точно мертвая. В этот миг, пока она не опомнится, схватить ее — пустое дело. А затем сквозь пену и шум водопада ка шмыг с добычей к себе домой, в спасительную темноту, глубину, тишину омута!

Речка замерзала, затем шумящими волнами сбрасывала лед, в жару на воду падали червяки. Это повторялось много раз. Старый толстый окунь, у которого изо рта продолжал, точно странный ус, висеть обрывок нитки, сквозь прозрачную воду посматривал, не поднимаясь со дна, на берег: никого. Верзила больше не показывался у речки.

Сверкающий зной полдня, обогревая неглубокую речку, гнал всю рыбу в траву, под тень кустов. На открытой воде не виднелось никакой мелочи. И охота

этого утра была неудачна. Старый окунь голодный плавал у дна своего омута: нигде ничего, даже в самом верном месте у водопада. Вдруг там, над самым скатом воды, заблестела рыбка. Она то выбивалась кверху, то, видимо, изнемогая, уступала течению, серебряная, блестящая, очаровательная. Старик-окунь не выдержал, кинулся к ней и, схватив, направился было в омут. Но его что-то зацепило, поволокло. Он упирался изо всех сил, бил хвостом, кувыркался, — нет, его тащило. Он пытался выплюнуть проклятую рыбку, он вытаращил глаза, поднял костистый гребень на горбатой спине. Нет, это не муха, не шутка полузабытой молодости, это ужас, гибель, смерть!

— Ну, вот, наконец-то! — смеясь, сказал верзила, подтягивая окуня. — Я вас, мой милый, двенадцать лет ловил. Пожалуйте!

И, подхватив окуня сачком, он переложил его в корзинку. Оказывается, с незримого из омута расстояния на леске, тонкой, как волос, прозрачной, как вода, и прочной, как струна, на такой адской леске подпущена была шелковая рыбка, имевшая свойство сжиматься, когда ее схватят, в шлепок, ошетилившийся четырьмя острейшими крючками.

Нет, при всей его хитрости и подозрительности старый окунь подобного изобретения предусмотреть не мог.

Он затрепетал, сделал бессмысленное отчаянное движение, пытаясь для чего-то выскочить из корзинки. Горячий воздух, суша его жабры, душил, жег его. Он пошевелел растерзанным незакрывающимся ртом, вздохнул — старый мошенник, обжора и вор — и уснул.

А верзила принес корзинку в кухню, где кипел суп, шипела, пузырясь в масле, курица, что-то вкусно пахло сладким пряным запахом печенья, и, выложив окуня на стол, сказал:

— Вот вам и рыба. Жарьте его скорей: сейчас был живой!

КОТ

Во время завтрака на террасу вошел неизвестный, серый, очень крупный, но поджарый и взъерошенный кот. Ему налили в блюдечко молока; он стал его есть, пожимаясь, вздрагивая, недоверчиво оглядываясь и, не доев, ушел. На следующее утро повторилось то же, затем кот несколько дней не показывался, задержанный, очевидно, какими-то делами. При следующем посещении кот, кроме молока, получил жареную рыбку, съел то и другое дочиста и, повалившись на бок, тут же на террасе уснул. Проснувшись, он, потягиваясь и нюхая, пошел внутрь дачи. Подозревая, что он намеревается устроить обычную кошачью гадость, я шел за ним с арапником, готовясь наказать за попранное гостеприимство и выгнать навсегда вон. Желал ли он, прежде чем принять важное решение, проверить и окончательно выяснить, как живут в этом доме или любопытствовал бессмысленно? Как бы там ни было, кот, обойдя все комнаты, ушел через кухню, а часов в девять вечера впрыгнул в форточку, как к себе домой.

За подобное нахальство следовало, конечно, наказать немедленно, но шел дождь, было темно, и я пожалел выкинуть кота, утешаясь соображением, что в случае чего я выгоню его завтра.

Утром моя совершенно еще мелкая детвора решительно мне заявила, что Вася — милый и остался у нас жить. Как так, кто позволил, почему это выяснилось? Вася?! Да откуда он взялся, зачем он мне, этот беглый кот, конечно, пачкунишка и наверное вор? Терпеть не могу вообще всю эту породу лаптящихся подхалимов, все они — жулье и — кто же будет спорить — именно от кошек самый гнусный запах в мире. Но что делать? Проклятый кот действительно ведь остался у нас жить и до конца своей жизни больше не ушел.

Поселившись целиком на моем иждивении, серый проходимец на меня не обращал никакого внимания, занявшись этими — как их там? — маленькими своими единомышленниками. С ними-то он очень скоро вошел в соглашение. На следующее же утро мальчишка, язык которого еще заплетался, привез ко мне кота в корзинке, пытаясь объяснить, что поехали в Пепедух. Кто, куда? Ваня с Васей в Пепедух. Ну что ж, добрый путь. Кошачья повозка отправилась обратно. Серый плут болтается в корзинке, но сидит смирно-смирно. С двумя девчонками, он, наоборот, прыгал, как бешеный, носясь за бумажкой, нацепленной на нитку — игра не глубокая по замыслу, но без осечки, возбуждающая веселый визг и хохот.

Кот не пытался ничего украсть и нигде не пачкал. За что его гнать? Откуда он взялся, осталось неизвестным. Несомненно, что к нам он явился не на заре своего существования. Нет, кроме поджарого и потрепанного вида, свидетельствовавшего о пережитых бурях жизни, самое его поведение доказывало, что это — опытный кот. Через два-три дня после того, как он решил жить у нас, он задал страшную трепку соседнему коту, осмелившемуся просунуть нос на террасу. Ах, бродяги! Он им покажет, как шляться в дом, где есть свой кот. Собаке мясника, загнавшей его на дерево, он также не спустил: на дерево-то он вспрыгнул, но, обернувшись, таких надавал плюх по оскаленной морде, что пес убежал с визгом. Котенок так вести себя не мог. Вася? Почему? Впрочем, если назвать его Навуходоносором, будет ли лучше? Пусть, Вася. Он выцвел, вылинял, и блестящая серая шерсть его раскрасилась поперечными темными полосами: тигр, тигр!

— Откормился, чистяк, — говорила кухарка, лаская его и угощая разными разностями.

Везло же проходимцу счастье! Квартиру, стол и ласковое обращение приобрел совершенно ни за что.

По утрам меня будить вместо троих стали являться четверо. Однажды трое завизжали:

— Васька прыгнул к папке!

Звучало немножко обидно: выходило как будто и кота, и меня считали в одном чине. Но зная наверное, что злого умысла тут нет, я не обиделся и — человек слаб — погладил пушистого плута, для чего-то сказав:

— Вася?

В ответ совершенно твердо и отчетливо послышалось:

— Мяу!

Тут восторг шайки достиг своего предела в крике:

— Вася с папкой разговаривает!

Да это что же такое, ведь это действительно разбой. Уже, значит, мне кот делает некоторое одолжение, едва ли не честь?

Я за такие штуки на всякий случай выгнал их всех четверых из комнаты, чтобы все-таки знали, с кем дело имеют.

Обмен приветствий между мною и котом, однако, установился ежедневно и так твердо, что на него вскоре перестали обращать внимание. А он заслуживал высшей степени удивления. На зов по имени или на обычное «ксс, ксс!» кот бежал охотно, мяукая слегка и мелко несколько раз подряд или же только делая вид, что мяукает, то есть молча раскрывая рот. Если же я обращался к нему со своим «Вася», кот отчетливо один раз отвечал: «Мяу!» Тут своего ответа он не повторял никогда, сколько раз я его не спрашивал. Отлучившись из дому на несколько часов, я считал долгом учтивости вновь приветствовать кота, и плут безукоризненно вежливо без отказа отвечал:

— Мяу!

Любимым удовольствием кота было забраться в корзинку со стружками из-под аптекарских товаров. Едва дождавшись, чтобы из нее вынули пузырьки и пакеты, кот вскакивал в корзину и, закрыв глаза от наслаждения, громко мурлыкал.

Совсем спать он, впрочем, тут не оставался, а уходил в свою корзинку в платяном шкафу — место, им выбранное, одобренное, отвоеванное и удержанное до конца жизни. Захлопнутую дверцу шкафа он очень мило открывал лапой, а если шкаф случайно запирали — Вася усаживался около и мяукал плачущим голосом: нельзя было не понять, чего он хочет.

По дому Василий расхаживал теперь важно — тигр, тигр! — шагом, подняв хвост трубой. Лежа на боку на полочке посередине комнаты, он только поглядывал на проходящих. Ну-ка, кто, злодей, наступит на такого хорошего кота? Одним из замечательных номеров было завертывание кота в этот самый полочник. Получалось нечто вроде пирога с начинкой из живого кота, позволившего вертеть его как угодно. Но в тот миг, когда две кухарки-девочки собирались окончательно закрыть пирог, — в последнюю узенькую щелочку неумовимым движением выскальзывала вся начинка.

И тигр, ужасно шипя, удирает при восторженном хохоте своих сообщников.

Мыши в доме случались редко. Кот ловил их со страстью неукоснительно и, в виду недостатка, приносил их еще откуда-то для игры. В это время с горящими глазами, в особом возбуждении, красавец-кот имел великолепный вид. Конечно, мышей он не ел: очень ему нужна этакая дрянь. Больше всего он любил кушать жареную салаку и избытки ее, которых съесть не мог, уносил и закапывал в саду. Бедные кошачьи мозги!

Умный кот начисто забывал все свои запасы: никто не видел, чтобы когда-нибудь что-либо он достал из своих кладовых.

В доме между тем появилось новое существо. Я предлагал назвать его в честь любимого кота Васей. Почему-то предпочли дать ему имя Володи, что на мой слух звучало хуже, а оснований имело еще меньше. Когда Володя (пусть, пусть!) стал ползать, разбойничья шайка избрала его предметом для издевательства. Девчонки на пути ползуна ставили коробом газету, под которую тотчас забирался Васька. Едва маленькое существо подползло к газете, оттуда вдруг с хищным шипением, ужасно изогнув спину, выскакивал тигр и скакал этак боком, боком, боком. Крошечный мальчишка, запрокинувшись, ревел неистово, а окружающие хохотали: невозможно было не смеяться. Однако человек, хотя бы еще только ползающий, долго ничего не боится: Володька очень скоро принялся таскать тигра за хвост, причем не было случая, чтобы страшный зверь его оцарапал, хотя плюхи мягкой лапой задавал ему часто.

Подросшая детвора стала заниматься более сложными играми, чем бумажки на нитке.

Вася ходил за всеми, но видя, что им не интересуются, принимался играть один. Он гонял и ловил бумажку, носился по комнатам, пытался сам завернуться в половик, выбегал в сад и взбирался на дерево, как будто в ужасе спасаясь от невидимых врагов. Меня он не только провожал до калитки, но неизменно встречал, хотя иногда я приезжал домой в четвертом часу утра. И, не говоря о лете, осенью под дождем, зимой в мороз из-под навеса над колодцем при моем появлении немедленно бесшумно спрыгивала и мелькала мне навстречу серая тень, и около моих ног мурлыкало пушистое существо с блестящими глазами и хвостом трубой.

— Вася?

— Мяу!

— Вася! Ну, скажи хоть разок еще. Ну, Вася!

Ни за что, никогда. Мурлычет, прижимается головой, но — сказал и конечно, больше не слова. Этаким кремень! Он долго жил, добродетельный, благовоспитанный умница-кот, окруженный любовью и, можно сказать, всеобщим уважением и вдруг... украл телячью ногу?

Да, среди бела дня, почти на глазах у обожавшей его кухарки украл, почти ограбил. Ужас, позор, загадка! Преступление стояло во всей отвратительной наготе: Васька, рыча как лютей зверь, сидел в чуланчике под лестницей за своей добычей, значительно превышающей его величину и вес. Как он ее уволок, зачем? Он даже не откусил ни кусочка, он всегда был сыт свыше меры. Уж не взбесился ли он? Неслыханно, однако, чтобы бешеные кошки воровали телячьи ноги. Я спокойно взял у рычащего тигра его добычу, отнес злосчастную телятину в кухню, а тигра изругал всячески, что не произвело на него ни малейшего впечатления. Я принес, показал и дал ему понюхать арапник, он равнодушно отвернулся: инструмент, ничего не говорящий ни его уму, ни шкурке, незнакомый предмет. Очевидно, этот преступный порыв был почти болезненный припадок, отзвук бесконечно далеких, быть может, в самом деле тигровых лет, бессознательное движение воровской породы.

Годы шли. Кота возил в корзинке уже другой мальчишка. Наш Вася, не смотря на кошачью старость, которой, несомненно, он достиг, попрежнему был

весел, учтив, играл с бумажкой и вспрыгивал с притворным ужасом на деревья. Весьма вероятно, что при его хорошем здоровье и крепком сложении он прославился бы как исключительная знаменитость выходящего из ряда кошачьего долголетия, но случилось событие, потрясшее, подкосившее жизнь Васи: вся наша семья уехала из дому на два месяца. Ни в пище, ни в ласке недостатка Вася не имел, оставшись на попечении именно обожавшей его кухарки, но скудный мозг его не осилил исчезновения привычных ему условий жизни. Для начала кот немедленно после нашего отъезда пропал на несколько дней. Искали ли он нас где-то, скитался ли в тоске по лесу? Он пришел домой исхудавший, скучный, вялый, есть стал, но не очень жадно, все спал, предложенную мышь взял, погонял немного и бросил. Жизнь его сломалась, он не поправился.

Когда мы вернулись, он встретил даже ближайших приятелей своих без особого оживления.

— Вася?

— Мяу.

Это было сделано как следует, повторялось ежедневно. Играть, однако, он перестал и, когда надоедали ему слишком, он не дрался, не давал мягких плюхов, а вздыхал — бедный, старый кот — и уходил.

Вася наш стал скучным, грязным стариком. Спать он полюбил на плите и дожидаться не мог, когда перестанут на ней готовить. Торопясь на нее вскочить, он часто подпаливал свою шубку, самые разводы которой как-то потускнели. Тигр исчез, остался порыжевший облезлый старый кот. Он два раза даже напачкал на плите, прямо тут, где спал. Ему не сказали ни слова за такое безобразие. Как же не скрыть, не замолчать старческого позора кота, честно прожившего в доме двенадцать лет. Кое-как проскрипел бедняга зиму. Весной мы опять уехали и этого удара старый кот уже не перенес: он ушел из дому и не возвратился.

ШАЙКА

Тимка — коричневая собачонка без всякой породы. Фишка — лохматый, черный, как уголь, пес происхождения, несомненно, от таков: он на коротких кривых лапах, сам длинный-длинный, да еще хвост длинный-длинный. Урод необыкновенный! Морда у него щучья. Бом — большой серый кот.

Однажды они украли у меня со стола тарелку жареной салаки, то есть тарелку оставили, а рыбу съели. Неприятно, но неудивительно. Затем я свой завтрак поставил на комод. Опять осталась одна тарелка. Тогда баранью косточку я поместил на шкаф, а сам притворился спящим. В дверь просовывается хитрая рожа Фишки, за ним является Тимка. Вертятся, шныряют, ищут: ничего! Фишка поднимает нос и останавливается у шкафа: есть, тут! Топчутся, подсакивают — нет, несмотря на всю длину Фишки, становящегося на дыбы, ничего сделать нельзя. Исчезают.

Слышно, как в кухне они визжат и царапают дверь. Их ругают за шлянье, — ведь только что, черти, со двора! — но они дружно визжат, как зарезанные; им необходимо выйти, их нельзя не выпустить. Через минуту являются все

трое. Как рассказали они этому пушистому плуту о предприятии? Бом, мало того, что, несомненно, вызван со двора, он осведомлен вполне. Он, не тратя времени ни на какие розыски, уверенно прыгает на комод, оттуда на шкаф, баранья косточка шлепается на пол.

— Вы что тут, негодяи, делаете?

Вся шайка кидается наутек. Замечательнее всего, что кот большею частью работает бескорыстно; добычу почти всегда едят собаки. Живут они дружно, спят вместе, причем кот помещается на животе собаки — повидимому, все равно какой.

Иногда устраивается примерная травля. Собаки гоняют кота так, как будто цель их жизни его разорвать, а кот, делая вид, что ужасно боится, кидается куда попало и, сидя на шкафу, то есть, очевидно, в полнейшей безопасности, рычит глухо, угрожающе. Случается, что во время самой бешеной скачки по коридору кот вдруг осаживает, разбежавшиеся собаки на него налетают и... и... не знают, что же с ним делать, а он лупит их мягкими лапами по мордам так, что те воют. Тут кот, выгнув спину и подняв хвост, уходит, что ясно выражает: «Убирайтесь к чорту, дураки. Надоели!»

Сколько одной салаки сожрала у меня за три года воровская шайка! Преступление тем более отвратительное, что вызывалось оно отнюдь не крайними обстоятельствами жизни. О голоде не могло быть речи, воришки питались прекрасно и сговаривались воровать исключительно из озорства: в этом я убежден совершенно.

ПТЕНЦЫ

Что думает птица, усаживаясь на гнездо, все равно какая птица — журавль, курица, малиновка, страус?

У всех одна мысль: в гнезде — яйца, будущие дети, их надо сохранить, спасти от всякой беды, защитить хотя бы ценой собственной жизни. Мысли такой ни одна птица, конечно, никому не высказывала, но все птицы доказывают эту мысль по-разному. Одни бесстрашно кидаются драться, как бы ни казался велик и силен враг, приблизившийся к гнезду, другие хитрят, стараясь отвлечь врага от гнезда, иные просто закрывают яйца собою, готовые погибнуть, защищая свое будущее поколение.

У гнезда, где имеются яйца, всегда стража: то два защитника, то один.

Иногда самец устраивает гнездо и принимает на себя все заботы о нем, самка же только несет яйца. Часто не отличить самца от самки: оба одинаково хлопчут над гнездом, оба высиживают поочередно. У других семейная работа разделена: самка сидит в гнезде, а самец носит ей есть и, чтобы не было скучно, поет ей песни. Кое у кого случается так, что ни гнездо, ни яйца не должны попадаться на глаза самцу: он яйца разобьет, а гнездо растреплет. У многих птиц отец равнодушен к гнезду, не замечает, покидает его, а мать это гнездо устраивает, хранит и самоотверженно защищает. Только у некоторых, преимущественно страусовых, все наоборот: самец и строит гнездо, и охраняет его, и высиживает яйца, равнодушно брошенные где попало самкой.

ЦЫПЛЯТА

Когда курица клохчет, вытаращив покрасневшие глаза, и, угрожающе надувая шею, сердито топорщит крылья — это значит, что она заблаговременно пугает будущих врагов, желает вывести цыплят. Тогда ей подсовывают корзину с яйцами, и глупая курица не в состоянии разобрать, чьи они. Пошевелив клювом каждое яйцо, уложив так, как, по ее мнению, им должно лежать, наседка клохча усаживается на них. Просидев час-два, она уже любит их и готова защищать как собственные.

А яйца-то иной раз присланы по почте за тысячи верст, они или от заморских породистых кур или утиные.

Плохая наседка, случается, вскакивает с гнезда через несколько дней и, хотя ее усаживают на него насильно, все-таки бросает полунасиженные яйца. Хорошая клуша сидит упорно, сходя с гнезда на минуту, на две лишь попить, поклевать; она ежедневно переворачивает клювом каждое яйцо, не давая ему долго лежать на одном боку, от чего желток пересыхает в скорлупе, начинает гнить и получается усохшее яйцо с погибшим в нем зародышем. Откуда, как знает это глупая курица? Если такое яйцо все-таки образовалось, опытная наседка высиживать его не станет и попытается выкинуть из гнезда: мертвецу не место тут, где выклеивается новая жизнь.

Яйцо хрустит и трескается, в трещину просовывается изнутри клюв, и скорлупа разваливается на куски. Чуть-чуть пища, явилось новое существо, беспомощное, жалкое, мокрое. Если в этот миг холодный сырой ветер резко дунет на цыпленка, он его погубит. Но мать, внимательно смотря, озабоченно, тихонько клохчет и забирает всех проклюнувшихся пискунов под крылья: там тепло и сухо. Часа через два-три, обсохнув, цыплята уже бегают, бойко семеня лапками, толщиною в спичку, их писк весел, они покрыты плотным нежным пухом. Черные, серые, пестрые... А сама курица белая. У четверых какие-то странные плоские носы, перепончатые красные лапки — это утята. Не может быть, чтобы курица не различала их от цыплят, но она всех одинаково бережет и защищает, всех, кто вывелся под ее грудью, в ее гнезде: чужих она не принимает, бьет и гонит прочь. Своих на вторые сутки их жизни она научит есть, стуча клювом по корму. Пить их приучит... человек. Он возьмет двух-трех цыплят и обмокнет их клювы в воду. Когда они поймут, что надо делать, он их отпустит; от них научатся пить остальные. Если не учить питью, то большинство цыплят погибнет: вода для них важнее еды.

Индюшата, едва выклюнувшиеся на свет, одеты редким пухом, они почти голы, зябнут сильно, греться должны долго. Нескладные, длинноногие, они дрожат и ежятся всегда, кожа у них синяя в пупырьках, писк хриплый, жалобный. У индюшки-матери обычно вся грудь оципана, чтобы цыплятам было теплее от ее кожи. Индюшка заботливо упрягивает под себя свой выводок, но, если он выклюнулся в ненастную погоду, индюшата, не успев покрыться перьями, гибнут один за другим. Индюшка стонет, клохчет, трогает клювом, переворачивает мертвого птенца и продолжает водить, греть, защищать остальных, пока они не вырастут. Она самая заботливая мать, она не виновата, что у нее из десятка иногда остается три-четыре индюшонка. Хлипкая это птица.

На хилых безобразных индюшат очень похожи... павлинята, почти голые, бесхвостые, нескладные. Они только через год начинают походить на тех роскошных птиц, в которых превратятся впоследствии.

А где петух, когда выводятся цыплята? Как он смотрит на пуховый табун, пискливо толкущийся вокруг клухи? Индюк не помогает ли индюшке в заботах о хилом ее потомстве?

Пышнохвостые петухи, потрясая яркими перьями, расхаживают важно и равнодушно: им никакого дела нет до всей этой возни с гнездами и птенцами.

РЯБЧИК, КУРОПАТКА, ПЕРЕПЕЛ

Маленькие лесные куры, рябчики, живут только в больших лесах, даже на полянки, не только в поле, никогда не вылетают. Гнездо рябчик устраивает под кустом: на земле ямка, устланная листьями, травой, мелкими веточками. Самка, положив до пятнадцати пятнисто-бурых яиц, сидит на них, кажется, одна, хотя самец всегда вертится зачем-то около гнезда и потом около выводка.

Рябчата покрыты густым желтым пухом — сверху пестрым, с буро-серыми пятнами, снизу одноцветными, посветлее. Они бегают бойко, едва выклюнувшись из яиц, и старка, рябуха с белым пятном на горле, ведет пискливую, суетливую стайку на берег речки, ручья, проточной канавы. Зачем? Воды рябчики, кажется, не пьют, но... любят слушать ее журчанье. Мать учит цыплят клевать ягоды, побеги и семена трав, нежные иглы молодой хвои. Шумно, с треском вспархивает выводок рябков; они не поднимаются к вершинам деревьев, не летят далеко, а врассыпную бросаются прятаться по средним сучьям, прижимаясь к ним плотно-плотно.

Серая куропатка устраивает свое гнездо в поле среди густой травы, иногда в озими — ямка, опушенная перышками из собственной грудки. Яиц в этой ямке бывает по восемнадцати, так что удивительно, как небольшая птица может их покрыть. Они светло-оливкового цвета, почти без пятен и при выходе птенца на свет не лопаются на куски, а распадаются вдоль на две половинки: цыпленок куропатки не проклеывается, а выскакивает из развалившегося, точно разрезанного пополам, яйца. Он в красновато-буrom пуху, крошечный, с круглым задком и уже с перышками в крыльях.

Что делает самец куропатки около гнезда? Никто не видал, чтобы он высиживал или кормил своих детей, но он их скликает на заре особым тонким свистом, когда бойкие цыплята разбредутся среди стеблей. Весь выводок шумной стайкой летит на место дневной кормежки. Там они трепыхаются в пыли, бегают, копаются, разгребая лапками, совсем как домашние. Если поймать весь выводок, то заодно с молодыми легко приручаются и старики.

У перепелки, самой маленькой курочки, серопуховые птенцы, величиной с орех, не грецкий, а с обыкновенный каленый орех. Они бойки, скоро начинают порхать, но долго не клюют сами, а мать кормит их из клюва насекомыми, зернами, молодой травой.хлопот ей много, маленькой курочке: надо же насытить до пятнадцати голодных цыплят. Умеющие уже летать молодые перепелки любят бегать, перекликаясь, по полю, но в случае опасности отлеживаются упорно. На них охотятся без ружья, с собакой и... бумажным ястребом. Запустив та-

кого ястреба как обыкновенный змей, охотник идет по жнивью, собака отыскивает перепелку, останавливается над ней, но та не летит. Охотник, сматывая бечевку, подтягивает страшного ястреба ближе-ближе, перепелка все крепче прижимается к земле. Остается накрыть перепелку сеткой. Успеху ловли помогает то, что выводок перепелов, поднявшись, не летит дружно, а рассыпается по полю, кто куда. И каждый перепелиный дурачок в одиночку таится в чистой глади, воображая, что спрятался от страшной тени.

ФАЗАН

Длиннохвостые пестрые фазанки на воле, надо полагать, высиживают усердно, но полудомашние — они, нанеся двенадцать-четырнадцать яиц, бросают гнездо, а то и вовсе его не устраивают, раскидав яйца где попало. Пузатые, крупные фазаньи яйца замечательно разнообразны по окраске. Фазан, одетый в серебристые перья, выводится не из белоснежного яйца, как, казалось бы, следовало, а из темно-палевого. Синие, красные, желтые перья кавказского фазана скрыты в яйце оливкового цвета. Алмазный фазан, сверкающий пестротой, выключается из мутно-желтоватого яйца. Разукрасятся так, конечно, взрослые петухи, а фазанята выклевываются все одинаковые: рыжевато-серые, пуховые, кругленькие, бесхвостые.

Случается, что фазанка не только высидит своих, но подберет еще чужих цыплят — за одной бегают два десятка. Брошенные же фазаньи яйца подкладывают под индеек, покрывающих много яиц и известных тем, что они высиживают очень усердно.

Каждая индейка сидит на гнезде в ящике-клетке за решеткой. Фазанята, выклюнувшись, пролезают через решетку и бегают около клетки, тут их кормят муравьиными яйцами. Это слишком дорогой корм, к нему индюшки не допускаются, они могут только просовывать головы сквозь решетку к своим питомцам. Они им что-то заботливо клохчут. Учат ли, как клевать корм, бранят ли за шалости. Мелькает тень широких крыльев: то ястреб несется — индюшки орут, и сотни фазанят, толпившихся у клеток, бегут стремглав и исчезают за решетками.

Летать фазанята принимаются скоро, к осени у них показываются хохлы, следующей весной вырастают хвосты, но полный блеск, всю роскошь фазаньего оперения великолепные петухи получают лишь на третьем году жизни.

ГОЛУБИ

Голубиные пары живут дружно. Голубь с голубкой, случается, дерутся, но часто целуются, чего не делают другие птицы, и детей высиживают вместе: как только голубка слетает с гнезда, голубь усаживается на ее место. Яиц всегда два, чисто-белых, без какой-либо крапинки. Красивее голубиных яиц разве только крошечные яички попугаев. Голубята, выклюнувшиеся из таких прелестных яиц, безобразны на редкость. Это еще ничего, что они слепыми и голыми являются на свет: у многих птиц птенцы такие. Нет, у голубенка длинный кривой нос, нескладные большие лапы, совсем непохожие на коротенькие малиновые лапки взрослых голубей.

Прожорливые голубята постоянно просят есть, и голуби то-и-дело опускают свои клювы в широко разинутые клювы своих детей. Они кормят их какой-то жидкой кашицей, похожей на молоко и образующейся в зобах у голубей. Когда голубята подрастут, старики носят им сначала насекомых, потом хлебные зерна. Голубята, полуголые, крупные, всё сидят и едят с утра до ночи. Они становятся жирными, толстыми, а голубь и голубка постоянно носят им корм и так устают, что иногда ложатся на пол, распутив крылья.

Дикие голуби не так нежны. Целоваться они также любят. Витютень, крупный дымчато-сизый лесной голубь, воркует, сидя на сучке неподалеку от гнезда, и голос его, как будто бы глуховатый, слышен очень далеко. Заметив врага, голуби не пытаются драться, не хитрят, притворяясь подбитыми, а беспокойно перелетают с ветки на ветку, воркуя особенно, отрывисто. Если выстрелить около гнезда, то голубка улетает, покидая не только яйца, но и голубят: она не возвратится.

Голубята, подросшие, сменившие клочья пуха на плотное серовато-синее перо, долго держатся на родимом дереве, перепрыгивая с сучка на сучок. Гнездо голубей всегда очень запачкано. Даже странно, как над такой грязной кучей сучьев свежо и бодро трепещут сильные крылья таких чистых птиц.

К осени у голубей в том же грязном гнезде опять два прелестных яйца.

ДЛИННОНОСЫЕ

Куличьих яиц в гнезде всегда четыре, у всех острый конец очень длинный, а тупой слишком короткий: этим резко отличаются куличьи яйца от всех остальных. В гнезде яйца лежат всегда крест-накрест острыми концами друг к другу. Яйца куликов разного цвета — зеленоватые, голубые, желтые — все в пятнах, разница только в том, что пятна то покрупней, то помельче, то потемней, то побледней. Кажется, только на яйцах пигалицы пятна темнозеленые, на остальных — рыжие.

Все кулики живут и выводятся в болотах, а один — вальдшнеп — в открытых местах появляется лишь не надолго, иногда на несколько часов, живет же в лесу.

Гнездо вальдшнеп устраивает в лесной глуши, но по-куличьи: оно на земле, но всегда прикрыто сухими веточками, оно в ямке, устланной сухой травой и мелкими перьями; яйца по величине птицы крупны, они побольше голубиных, а вальдшнеп меньше голубя.

Потревоженная на гнезде самка вальдшнепа берет яйцо в лапы и улетает с ним. Так же уносит она и птенцов, пока они совсем маленькие. Перетаскивание это имеет очень трогательный вид. Свесив длинный нос, озабоченно размахивает крыльями коричневая птица, а в вытянутых лапах, также свесив длинный нос, смиренно сидит комок бурого пуха — птенец.

Впрочем, вальдшнепята скоро начинают бегать бойко, и подросших мать уводит из крупного леса, где темновато, в мелколесье. Там, таясь в густой траве под кустами, никогда не подавая громкого голоса, она их кормит мелкими насекомыми, потом нежнейшими корешками трав до полного оперения.

Попытка выкормить вальдшнепят в клетке повторялась несколько раз, но не удавалась. Четырех длинноносых птенцов сажали в просторную загородку с влажным земляным полом, с травой, с мягкой ямкой в углу. Птенцы бегали, копались носами в грязи; им щипчиками вкладывали в клювы мелких мух, коreshки трав, они глотали. Казалось, все идет хорошо, но через два-три дня в углу клетки оказывался мертвый пуховый комочек. Более недели не выживал ни один.

У бекаса, дупеля, у многих крупных куликов, отличающихся длинными, иногда изогнутыми носами, в болотах выводятся птенцы.

Они, точно мыши, бойко шныряют между кочками. Носы у них короткие, прямые, лапы непомерно велики; если птенец не бежит, а идет тихонько или стоит, то шея у него всегда скрючена, весь он сжимается комочком, как будто ему холодно в самый жаркий июльский полдень.

Когда появляются перья в крыльях, носы у птенцов вытягиваются, лапы становятся как будто меньше, вырастает хвост. Такие птенцы копаются в грязи, глубоко засовывая в мягкие кучки носы, они уже умеют доставать пищу. А что они едят? Ни одного длинноносика в неволе выкормить никому не удалось.

Из всех куличат самые бойкие чибисята, черные, как уголь. Совсем еще пуховый чибисенок живо-живо удирает по дугу от собаки, и когда она его настигает, он, опрокинувшись на спину, перебирает оливковыми лапами (у взрослых чибисов они красные). Его можно взять на ладонь, он притворяется мертвым: взглянет и опять закроет глаза. Если его выпустить, он как ни в чем не бывало убежит в кочки своего болота. Там, размахивая короткими странно свистящими крыльями, невысоко кувыркаются в воздухе старые чибисы-пигалицы с жалобным криком, похожим на слова:

— Чьи вы, чьи вы.

Если чибисов гнездится тут много, то все они слетаются к врагу и выются над ним все с тем же жалобно-пискливый криком, пока враг не уйдет. Тогда пигалица соберет свой чернопуховый выводок и... никуда его не уведет.

Смирные птицы останутся тут жить до осени, пока молодежь не вырастет. Весной пигалицы прилетят и вновь положат тут оливково-пестрые яйца. А если чибисят, хотя бы полувзрослых, забрать в клетку, дать им землю, воду, траву и кочки из этого самого болота, все-таки они все переколеют. Неизвестно, чего им нехватает.

СТРАУСЫ

Нанду, американский страус, в кустах, в траве высиживает палевые яйца, нанесенные самками; он уже сидит на десятке, а самки все несут и подкладывают под него, и он принимает, пока может покрывать яйца своим телом. Когда места под ним больше нет, он начинает драться. Тогда самки несут яйца к другому.

Самка эму, австралийского страуса, кидает где попало темнозеленые яйца и, случается, разбивает их. Самец подбирает их замечательно усердно; он дней за десять до высиживания не пьет, не ест, только стаскивает вместе яйца; пока сидит на них и с неделю после вывода страусят он не принимает никакой пищи.

Такой пост продолжается суток семьдесят-семьдесят пять, и бедняга эму теряет в весе до восьми килограммов.

Огромные, совершенно белые яйца африканский страус складывает в яму, выкопанную в песке. Днем высидивает самка, ночью самец.

Страусята все, едва выклюнувшись, бегают очень бойко: нанду и эму полосатые, африканские одноцветные, темные. Все страусы дерутся из-за птенцов; победитель в драке шагает гордо, и за ним иногда бегут десятки цыплят, отбитых у других выводков. Победенный уныло бродит с двумя-тремя птенцами, а то и вовсе один.

Самки страусов к юному поколению равнодушны.

В неволе самец эму, прежде чем усесться на гнездо из соломы, несколько раз таскает его по клетке из угла в угол. Скорлупа яиц очень прочна. Птенцы, проклевав в ней дырку, ломают лапами, и осколки разваливаются с треском. Дня за три до того слышно, как птенец дышит в яйце, ворочается там и пищит. Если заметно, что он слаб и сам разломить скорлупу не может, ее разрезают ножом. Птенец африканского страуса выходит из яйца с курицу величиной, нанду и эму — с голубя. Темносерые по желтому пуху полосы держатся на них недели три, потом, начиная с головы, прорываются черные тонкие перья.

Самец долго водит страусят и заботливо их охраняет, на ночь, в ненастье, в сильный жар собирает их под себя. Они неприхотливы на корм, хорошо переносят холод и снег, но вырастают из них немногие: они пугливы, бестолковы и часто, кинувшись в пустом страхе куда попало, ломают себе ноги.

Одетые перьями, высокие молодые страусы долго сохраняют цыплячий свой голос: на втором году жизни они еще только свистят.

АИСТ

Совсем немая птица аист. Он, не имея никакого голоса, только щелкает клювом, приплясывая на краю гнезда или неподалеку от него. Когда же он летит к гнезду, то в длинном красном клюве он несет лягушку, ящерицу, змею, мышь — кормить самку, сидящую на яйцах, или трех-четырех птенцов. Эти птенцы — комки белого пуха с желто-черными короткими носами и черными короткими же лапами. То и другое, и носы и лапы, растут удивительно быстро. И пальцы на лапах становятся оранжевыми, потом краснеют.

Взрослые аисты, прилетая с добычей, не кидают ее детям, а засовывают пищу им в клювы, сначала отрывая ее из желудка, потом подросшим птенцам дают сырую, лишь раздробленную на куски. Одетый вместо пуха перьями, отрастив длинные красные ноги и клюв, молодой аист все еще сидит в гнезде и просит корма у родителей. С крыши, где обычно устраивается гнездо, молодежь пробует перелететь на ближайшее дерево. И когда окажется, что крылья вполне окрепли, молодые аисты улетают в дальний путь иногда в начале лета. Старики остаются до осени.

Птенцы аиста впервые открыли человеку, по каким путям летят птицы весной и осенью. Этим птенцам проще, чем каким-либо другим, надеть на лапы алюминиевые кольца.

Аисты привыкли к тому, что их везде любят, берегут. Они спокойно допускают человека в свое огромное из года в год починяемое гнездо и не обижаются на то, что трогают их птенцов. Кольца устроены так, что раздвигаются вырастающей лапой. Во время перелета так или иначе попавшийся в руки человека аист знаком своего кольца показывает, откуда он прилетел и где выключился на свет. Так узнали, что аисты на зимовку летают из Украины и Польши в Южную Африку.

Аисты, живущие вообще на юге, гнездятся почему-то в Лужском районе Ленинградского округа. Тут они, как и везде, подпускают к себе близко, когда сидят на гнезде, и очень недоверчивы и осторожны в поле или на болоте: увидев издали охотника, они улетают.

ЦАПЛЯ

Трудно подобраться к цапле. Она как будто спит, стоя в воде на одной ноге и втянув всю шею в плечи. Но смотрит зорко ее сердитый желтый глаз. Весной мрачные серые птицы гоняются друг за другом, крича громкими хриплыми голосами.

Гнездо цапли почти всегда на высоком дереве, редко на большом кусте; это непрочная груда кое-как набросанных ветвей и травы. Яиц бывает до шести, они бледнозеленые. Птенцов цапли легко принять за лисят — такие у них острохищные мордочки, клювы, похожие на рты, длинный пух, напоминающий волосы; только лисята светложелтые, а птенцы цапли темнобуры. В таком виде они остаются две-три недели, обрастают перьями и начинают лазить по ветвям родного дерева. Носы у них вытягиваются и заостряются скоро. Старые цапли, принося мелкую рыбу, лягушек, червей, бросают их сверху в гнездо, иногда кладут на его край — молодые расправляются с добычей сами.

До осени, до отлета молодежь выучивается ловить рыбу и стоять, втянув шею, на одной ноге, но косица из длинных рыжих перьев на голове вырастает только у трехлетней цапли.

ДРОФА

Огромная пестро-рыжая степная индейка, дрофа, вытаптывает в траве площадку с порядочную комнату (два-три метра в квадрате), в середине ее, разгребая лапами, выкапывает ямку, устилает ее сухой травой, своими перьями и кладет в нее два-три крупных пепельно-серых яйца с темнозелеными пятнами.

Дрофа сидит на гнезде, вытянув шею кверху палкой так, что сизая ее голова видна издали. На собаку, подбежавшую к гнезду, кидается «дрофич». У него около клюва растут пучками мелкие перья, получается что-то вроде странной бороды. Он больше самки, весит иногда пуд с лишним и собаку может побить очень сильно; клюв его толст и крепок, но он дерется больше лапами и крыльями. От человека дрофы, разбежавшись по всей площадке, улетают. Если тронуть яйца, дрофа покидает гнездо.

Высиживает она одна, птенцов защищает яростно, бросается на человека. Дрофята покрыты густым желтым с черными пятнами пухом, крылья у них не вырастают долго, но бегают и прячутся в траве дрофята тотчас же, как вылупят-

ся. Спрятавшись, сидят, прижавшись так плотно, что косцы, случается, ловят их прямо руками. Взятые в пуху дрофята неволи не переносят, ничего не едят. Им предлагают жуков, мух, червей, каких они могут находить у гнезда, хлебные зерна, семена, те травы, где они живут, — нет, не принимают. Должно быть, дрофа умеет как-нибудь иначе кормить своих птенцов.

Пойманные в перьях подросшие молодые дрофы не скучают и даже приручаются.

ЖУРАВЛИ

У журавлей, дружно живущих парами, редко бывает три яйца, почти всегда два — очень крупных, узко-длинных, глинисто-коричневых с пятнами, тяжелых: каждое весит до пятисот грамм. Гнезда журавли не устраивают, яйца лежат прямо на грудке сухой травы, полусгнившей осоки, кое-как положенной на кочку.

Но эта кочка окружена такой лесной трущобой, глухим болотом, что добраться до нее не легко, а найти ее очень трудно. Журавль сторожит зорко, слышит удивительно чутко и на всякого врага кидается драться; самка в бой не вступает и старается птенцов увести. Журавлята желтопуховые, затылки у них не лысые, как у взрослых журавлей. Темно-красная лысина выступает, когда серая птица уже летает на огромных крыльях и кричит, точно в медный рожок трубит.

Пухового журавленка можно принести домой. Он ест червяков, мух, жуков, лягушек, разрезанных на куски, свежую траву, потом хлеб, кухонные остатки, все, что дают курам и уткам. Почему журавлю не есть корма домашней птицы, он кто такой? Он — «журка», он ходит по двору, бегают за детьми, выпрашивает подачки и только посматривает под облака, когда оттуда с вышины несется медно-трубный клич пролетающих диких огромных птиц. Домашний журавль не летит за ними, хотя бы его сильные крылья и не были подрезаны ножницами.

КОРОСТЕЛЬ

В летние дни, когда цветут травы болотистых лугов, оттуда, с лугов, вместе с благоухающим ветерком доносится странный резкий звук: как будто кто-то, дергая, разрывает тугую ткань. Это кричит коростель, маленькая светлорыжая птица куриного склада. Его зовут также дергачом, и странный крик его повторяется тем настойчивее, чем жарче день. Когда он спит, этот дергач? Он молчит разве утром, час-два после зари, а то все кричит; особенно коростель старается, орет в душные темные ночи.

У него, у рыжего, крошечные дети черны, как уголь. Их всегда много, десятков, а то и больше. Выводятся они из рыжеватых яиц, испещренных рыжими пятнами, и черные пуховички убегают, кажется, в тот миг, как выключутся. Коростелиха или дергачиха, не отличимая от ее рыжего супруга, не обижается на то, что смотрят ее гнездо, не плохо свитое из сухой травы. Она, отбежав от гнезда, ждет, когда враг уйдет. Тогда она возвращается и усаживается на гнездо, маленькая рыженькая болотная курочка, не умеющая считать: два-три яичка мож-

но унести, она не замечает. Но застать ее на гнезде с цыплятами, кажется, нельзя, — разве попасть к ним в тот самый миг, когда они выклеваются. И найти их необыкновенно трудно. Он плут, этот рыжий дергач, он первый мастер затаиваться в густой траве болота, бегать между кочками. Летать он не любит, поднимается неохотно, когда на него чуть ли не наступят. А про дергачат и говорить нечего: черные плутишки так шныряют по-мышинному, так прячутся, что не всякая собака их отыщет.

УТЯТА

Обычно утят, как только выклюнутся, сажают в таз с водой. Маленькие плосконосые птенцы плавают, точно пробки, зашитые в разноцветный пух: желтые, серые, черные. Мамаша-утка, белая или серо-пестрая, переваливаясь, топчется около таза и озабоченно побрякивает. К ее выводку можно подпустить утят, высиденных курицей, утка примет. Она принимает осиротевший выводок другого возраста, чем ее дети. Утиное сердце преисполнено материнских чувств: утка не отгонит, не прибьет никакого утенка. Но она только водит утят, она их не кормит, не учит плавать — они выучиваются очень скоро сами — и почти не заступает за них: побрякивает, побрякивает, потопчется, да и бежать.

КРЯКВА И ЧИРОК

Дикие утки гнездо и детей защищают самоотверженно. Крупная кряква кидается на собаку, на лисицу, дерется крыльями, клюет. Лапы у нее мягкие, клюв плоский, тупой. Сильно ударить нечем. Если бой неудачен и враг не отступает, то утка пускается на хитрость, притворяется подбитой, еле ползет по воде под самым носом у врага, лишь бы уманить его за собой, отвести от гнезда.

Чирок в драку не вступает: слишком мал, что уж тут драться. Но оба чирка, и утка, и селезень, неустрашимо встречают врага, чуть ли не в самую пасть его зубастую лезут: на, ешь меня, маленькую утку, оставь в покое мое гнездо. И хитрят не хуже кряквы.

Утка на воде ест, спит, живет больше, чем на земле, а гнездо устраивает не иначе, как на сухом месте; в болоте, но так, чтобы вода не подступала в гнезду.

Кряква стаскивает в грудку сухую осоку, мелкие ветви, кое-как сплетает их между собой во что-то вроде плоской корзинки и выстилает ее дно сухой травой, пухом осины, перьями, случайно подобранными. Бледнозеленые яйца утка, сходя с гнезда, прикрывает пухом, надерганным из собственной груди. Заботится о гнезде кряква одна, потихоньку от селезня: если он увидит, то яйца разобьет, гнездо растреплет и ее, утку, оттаскает. Селезень-чирок помогает своей утке приносить веточки и осоку для гнезда. Оно свито поискуснее, чем у кряквы, стенки его высоки и до краев выложены зеленоватыми яйцами. Как маленькая утка ухитрится покрыть и согреть своим узким телом иногда двенадцать яиц? Уточка сидит усердно, изредка на минуту, на две сходит поесть и — опять на яйца, прикрытые пухом. Чирок-утенок очень смешное существо: светлосерый пуховый орех, а по плоскому носу, по лапкам сразу видно, что это утка, не какая-нибудь иная птица. Утята кряквы темнозеленые, как болотная тина. Они в ней, в тине, и прячутся, пока совсем маленькие. Когда они подрас-

тают, то делаются полосатыми: по желтому пуху темнозеленые полосы. Такая окраска не заметна среди осоки и камыша, где бегают полувзрослые утята-хлопуны: они долго не могут летать и, спасаясь от врага, прежде чем нырнуть, бегут по воде, хлопая голыми крыльями.

За одной кряквой иногда плавают два десятка разных утят: один в темном пуху, а другие уже хлопунцы полосатые. Такого выводка кряква вывести не может, у нее бывает не больше двенадцати утят, значит, остальных она подбирает где случится.

Если крякву с выводком чем-нибудь сильно напугать, то она поспешит увести утят в более спокойное место. Они бегут за ней переваливаясь. По дороге, случается, лежит толстый сук или образовалась сухая, без воды, яма. Маленькому утенку ни перелезть, ни перепрыгнуть, ни переплыть. Темнозеленые пуховички толпятся перед препятствием, беспомощно пища. Тогда утка берет каждого из них за шею клювом и, перенеся, возвращается за следующим.

Диких уток подпускают к домашним, они растут, выкармливаются, но, если им крыльев не подрезать, то осенью они, молодые утки, улетают.

Есть утка-чернедь. Она лучше ныряет, чем летает. Питается она рыбой. Должно быть, чем-нибудь особенным кормит она своих детей: утенок чернеди в неволе с домашним выводком ходит, плавает, но ничего не ест и, прожив кое-как день-два, гибнет.

ЛЫСУХА, ГАГАРА, КАЙРА, ЧАЙКА

Охотник, осторожно пробравшийся в глушь лесного болота, может иногда увидеть, как черная курица плавает на воде. Это — лысуха. У нее на лбу белая костяшка, как будто лысина. Лапы у нее куриные, без перепонки, но плавать и нырять она не хуже утки. Бледнозеленые с крапинками яйца лысуха укладывает в... плавающее гнездо. Да, кусок болотного хлама, не то пучок полусгнивших палок, перепутанных корнями, не то выветрившаяся, покрытая мхом кочка, и на ней гнездо, а в нем лысуха дремлет, повесив нос. Ветерок легонько гонит все это по тихой воде. Лысуха очень осторожна и чутка. Треснул сломанный сучок на берегу и — зеленый островок с гнездом плывет пустой: лысуха беззвучно, как тень, нырнула. И черные не то цыплята, не то утята при тревоге исчезают молча, мгновенно.

Утка-чомга, так же в плавающем гнезде высидев утят, возит их на спине. У чомги голова кажется очень большой от воротника из перьев вокруг шеи, и, прямо держа такую странную голову, чомга плывет, а на спине у нее сидят пять пуховых утят.

В плавающее гнездо гагара кладет зачем-то три яйца: насиживает только два. Темнозеленые яйца гагары иногда не гладки, шероховаты, на тупом конце яйца не только пятна, но и черточки. В солнечный день яйца, прикрытые слоем мха, плавают одни, гагара на них не сидит. Двух птенцов своих она в случае опасности забирает под крылья и так ныряет с ними. Она может так плыть далеко, едва выставив из воды голову и концы клювов из-под крыльев. Гагара пешком не ходит, она только летает и плавает; это большая птица величиною с

крупную утку, только длинная, узкая, с вытянутой головой и почти острым клювом.

Кайра вдвое меньше гагары, но у нее самое крупное из всех европейских птиц яйцо. Она кладет его одно — голубоватое, зеленоватое, то одноцветное, то пятнистое — на выступе утеса над морем. Обрывистые, почти недоступные берега Новой Земли, Шпицбергена и некоторых других северных островов весной заселяются миллионами кайр. Из яйца выклеывается в густом темном пуху птенец. Он лежит на камне, не умеет ни ходить, ни плавать, он только пищит. Мать кормит его мелкой рыбой, которую ловит в море; кайра и летает и плавает отлично. Как узнает она своего птенца среди тысячи одинаковых? Она несет рыбку в клюве, и по дороге множество темных пуховых, беспомощно пища, просят есть, — нет, она, сердито крича, пробирается между чужими и кормит только своего. Промышленники убивают много кайр. Птенцы их гибнут. Соседка не принесет корма сироте, хотя сидит с ним рядом.

Подростшего птенца кайра, усадив на спину, сносит вниз, на море и учит плавать. Иногда птенцы прыгают сами и, даже если не попадут на воду, то редко ушибаются о землю, а пробираются к морю. У поплывших птенцов скоро вырастают и крылья.

Обыкновенно речная чайка кладет точно голубинные яйца. По два, по три, иногда четыре лежат они везде: на песке, по берегу реки, в грязи болота, на камне прибрежной скалы. Никакого гнезда, ни ямки, ни подстилки. Птенцы в серо-желтом пуху; они очень скоро становятся полосатыми все, но те, которые вывелись на песке, сейчас же бегают, на другой же день начинают отыскивать корм, а выклюнувшиеся на камне сидят, ждут, чтобы их кормили. И старые чайки носят им рыбу; они ловят ее, подбирают дохлую. Не брезгают чайки и падалью. Чаек множество пород. По берегам Средиземного моря водятся чайки с аршинными крыльями; у таких яйца, как у журавлей. А птенцы у всех полосатые сначала, потом светло-серые.

ЛЕБЕДЬ

У белоснежного лебедя птенцы серые. Они покрыты густым пухом, точно ватой. Шеи у них прямые, короткие, клювы плоские, около клюва какие-то толстые щеки. У черных лебедей лебедята белые.

Яиц в гнезде пять-семь, не всегда белых, иногда яйца рыжеватые с зеленым оттенком.

Тот, кто хочет овладеть птенцами дикого лебедя, должен его убить, иначе лебедь к гнезду не пустит. Он строго охраняет и кормит лебедку и выводок. Около своего лебедь не терпит никакого крупного гнезда: он бьет и гонит прочь гуся, в клочья треплет его гнездо; если зазевается гусенок и не успеет нырнуть, лебедь его убивает одним ударом клюва.

Лебедята белеют, когда начинают летать, но до третьего года жизни своим цветом отличаются от стариков: желтоватые какие-то.

В неволе лебеди уживаются хорошо, устраивают свое огромное прочное гнездо в камышах: у края воды груды сухой осоки. Полудомашние лебеди выводят птенцов, защищают их от всякой опасности, приплывают с ними к кормуш-

кам и не боятся человека. Но у всех пленных лебедей, даже у выклюнувшихся на пруде зоопарка, шеи весной обращены на север, а осенью на юг. И если лебедю не подрезать крыльев, то, услышав серебристый крик лебединой стаи, он улетит: его не удержать ничем.

ГУСЬ

Домашняя гусыня несет чисто-белые крупные яйца. У дикой они мельче и светлосерые. Иногда бывает их много, до четырнадцати. Серо-желтые гусята, пока они в пуху, очень неуклюжи на суше, и мать часто перетаскивает их за шеи при переходе через трудные места. Плавают гусята превосходно; в ветер переплывая волнистую воду, они все-таки держатся за хвостом гусыни. А гусак, угрожающе погогатывая, посматривает по сторонам — он сторожит, пlying в конце за цепочкой гусят.

Из яиц, взятых в глуши болота из гнезда дикой гусыни, домашняя вполне благополучно высиживает птенцов, водит и кормит их как собственных, и они не пытаются вернуться к дикой вольной жизни.

ПЕЛИКАН

Голые слепые птенцы пеликана долго остаются замечательно безобразными. Их трое-четверо в гнезде, в огромной груде кое-как сваленных вместе сухих стеблей тростника и осоки. Серый пух начинает пробиваться у птенцов недели через две после появления их на свет, потом пучками кое-где прорастают желто-бурые перья. Короткие клювы, раскрываясь широко, хлопают, прося есть.

А старики серебристо-белы, иногда с розовым оттенком. Красотой они, впрочем, тоже не отличаются. Клювы у них длинные, до семидесяти пяти сантиметров, под клювом желтый кожаный мешок. Набив этот мешок рыбой, заботливые родители спешат к гнезду и опоражнивают мешки в жадно раскрытые пасти, рты скорей, чем клювы. Когда эти клювы вытянутся, под ними отрасли кожаные желтые мешки, тогда молодые пеликаны, одетые пепельно-серыми перьями, уже выходят на добычу и ловят рыбу вместе со стариками. Хохлы на затылках и красные костяные шишки, надувающиеся весной, вырастают у них лишь на третьем году жизни.

В неволе пеликаны живут вяло. Они едят, летают на неподрезанных крыльях, но почти не кричат, гнезд не делают, яиц не кладут и розовые оттенки среди их серебристых перьев бледны.

ХИЩНИКИ

Слепыми вылупляются на свет птенцы всех хищных птиц. По белому пуху их можно принять за утят, и носы у них коротенькие, плоские, но голые короткие лапки напоминают скорей цыплят. Орлята и ястребята — все подолгу беспомощно лежат в гнездах, растут медленно и питаются только тем, что приносят им старики. У маленьких ястребков бывает по пять-шесть яиц, у крупных птиц — не более трех. Живут хищники всегда парами, охотятся оба, а гнездо строит самка.

БЕРКУТ, ОРЕЛ СТЕПНОЙ, СКОПА

На вершине дуба устраивает свое огромное гнездо бурый орел-беркут. Длинные ветви, сучья толщиной в два пальца идут в дело, складываются плоской грудой; внутри гнездо выстилается травой, яйца лежат на пуху — не на своем: он нащипан со съеденных птиц; ширина гнезда достигает двух метров. Гнездо должно быть крепко сделано: туда на обед семье орел приносит то зайца, то лисицу, то ягненка. Два птенца живо копошатся в ожидании еды, две огромные птицы разрывают на части добычу, да добыча эта иногда довольно тяжела — такой возни непрочное гнездо не выдержит. Подросшие орлята выбираются из гнезда, лазят по ближайшим ветвям. Мать смотрит за птенцами, поддерживает их, не дает упасть. Месяца через два орлята начинают летать. В это время у них уже искривленные клювы, на лапах острые когти, орлята уже не в пуху, а в перьях серых, серовато-бурых. Однако для полного оперения орленку нужно шесть лет.

Степной орел гнездится в ковыле, степной траве, растущей на нераспаханной земле. Этот орел питается только сусликами, маленькими зверьками, похожими на крыс. Орлята, выходя из гнезда, скоро научаются подстерегать сусликов у их норок. Схватив когтями суслика, орленок убивает его клювом, а есть несет в гнездо.

На вершине скалы, на недоступном обрыве берега, на высоком дереве у большой воды устраивает свое гнездо скопа — водяной орел с белой головой, с белыми перьями в хвосте. Голубоватых с бурыми пятнами яиц в гнезде три. Птенцы получают в корм рыбу и утят.

Как только крылья начинают держать птенцов, старая скопа ведет их на воду: она учит их не только летать, но и нырять за рыбой.

ТЕТЕРЕВЯТНИК, ПЕРЕПЕЛЯТНИК, ПУСТОЛЬГА

Воронье гнездо на высоком, отдельно стоящем дереве ястреб отнимает. Но вороны обычно селятся обществами и едва заметят ястреба, орут все, мечутся стаями туда и сюда. Ястреба такой возни избегают; они строят свое гнездо у вершины дуба, сосны и около гнезда бьют и гоняют всякую птицу.

Для гнезда ястребиха таскает в клюве палки, несоразмерные с ее ростом: иногда в палец толщиной. Гнездо также гораздо больше птицы. Узких острых яиц бывает три-четыре, у тетеревятника они голубовато-серые без пятен. Высиживает самка, почти не слетая с гнезда; самец носит ей есть, но сам ночует не в гнезде, а где-нибудь поблизости. Ястребята недолго остаются слепыми и голыми: они обрастают редким серым пухом, он висит на них клочьями, пока не начнут пробиваться перья; птенцы никогда не пачкают в гнезде: старики-ястреба подхватывают их выделения, заключенные в какой-то слизистый мешочек, и относят прочь. В гнезде попадают только обьедки птиц и мелких зверьков, которых ловят ястреба на корм птенцам. Ястреб, подлетая к гнезду с добычей, кричит особенным голосом, и птенцы пищат в ответ. Он на лету кидает добычу в гнездо, и оба старика, крича, учат птенцов разрывать добычу когтями. Ястребята, еще не оперившись, лазят по веткам около гнезда, падают редко: старики

за ними зорко смотрят. Когда молодые ястреба начинают летать, старики перестают их кормить. Молодые несколько дней вертятся около гнезда и жалобно кричат, но, поняв, что есть тут больше не дадут, улетают. Старики возвращаются на гнездо много лет подряд. Тетеревятник ловит не только тетеревей, но и уток, молодых зайцев. Это крупный ястреб — коричнево-рыжий со спины и со светлосерой, почти белой грудью с поперечными темными полосками. У него непомерно большие по маленькой голове ярко-желтые глаза, он видит удивительно: бросается с вышины, чтобы схватить мышь в колее дороги.

Перепелятник — маленький, но очень жадный и дерзкий хищник. Он величиной с некрупную галку. Преследуя голубя, который больше его, перепелятник с разлета врывается в жилое строение, иногда пробив окно, и, конечно, расшибается. Цыплят он хватается среди двора и, случается, дерется с клухой. Это за перепелятником часто гоняются стаей галки и разные мелкие птички. Он делает вид, будто боится их, улетает и, вдруг схватив ближайшую, несет в свое гнездо. Он любит жить на елях. Кругловатых белых с голубоватыми пятнами яиц в гнезде перепелятника иногда бывает даже шесть. Птенцы очень малы — с грецкий орех, скоро покрываются бурым пухом и точно крысята лезут по гнезду.

Старики с утра до ночи носят им не только перепелов, но и всякую птичью мелочь, какая попадает им в когти.

Пустельга с утра до вечера, пока не поест, трясется над кустами и кричит тонко, зло: кли-кли-кли. Изогнутый клюв и острые когти придают пустельге хищный вид, но этот мелкий сокол не нападает на птиц, он ест только мышей, лягушек, ящериц. Рыжих яиц у пустельги в гнезде четыре-пять, птенцы разные: один совсем маленький, голый, другой побольше в белом пуху, у третьего пробиваются перья. Такая разница получается оттого, что, положив одно яйцо, самка-пустельга сейчас же принимается его высиживать, следующее же кладет через два дня. Кормят птенцов оба старика и смотрят за порядком, за тем, чтобы взрослые не обижали маленьких. Должно быть, хорошо смотрят, и каждому птенцу достается его доля пищи: погибших с голода птенцов пустельги что-то не находят.

Хищных птиц много, они сильно различаются одни от других и некоторые удивительно хитро прячут свои гнезда. Более трехсот лет назад начали держать в неволе норвежских кречетов, почти белых, поразительно красивых. Их приучают ловить дичь. Они живут в плену по многу лет, охотятся по приказанию своих владельцев, но не разводятся. Как, где устраивает белый кречет свое гнездо, какие у него птенцы, — до сих пор неизвестно.

СОВЫ

Белые круглые, как шар, яйца сова-неясыть кладет в дупло дерева. Там перед совой жила белка или ворона. Сова не починает их жилища, просто завладевает им.

Болотная сова кладет яйца на кочку, так же без гнезда, почти без подстилки.

Едва проглянувший совенка больше похож на какую-то зверюшку, чем на птицу. Это ком светлосерого пуха. Он сидит на задних когтистых лапах, вместо передних лап какие-то короткие мягко-пушистые закорючки — это будущие крылья. И треугольный рот широко раскрыт посреди большеглазой ушастой головы. Он вытянется, этот странный рот, верхняя часть его окрепнет, превратится в твердый крючковатый клюв. Белый пух порыжеет, посереет, побуреет, покроется черными пятнами. Четыре-пять молодых сов, бесшумно размахивая широкими мягкими крыльями, вылетят ночью за добычей вместе со стариками. Они должны держаться всем выводком около того дупла, где вывелись.

Сирин — дневная сова величиною немного побольше воробья, выводит крошечных своих птенцов в строениях, откладывая яйца где-то под крышей, под осевшей балкой, в какой-нибудь щели. Их очень трудно видеть.

ВОРОНА, ГАЛКА, ГРАЧ, СОРОКА

Самые противные яйца — вороньи. Они грязно-зеленые в расплывчатых бурых пятнах, в каких-то черточках, их четыре — шесть. Ворона очень хлопочет над гнездом, усердно таскает клювом ветки, складывает их, ворошит, перебирает лапами. Во время этой работы она не каркает, а кричит негромко, совсем необыкновенно, издает такой звук, как будто палкой бьют по жестянке с водой. Этот странный булькающий звук среди снега, льда и холода — первый знак о том, что весна близка.

Постройка у вороны выходит плохая, ее гнездо — грудка хвороста с углублением в середине.

Воронята в серо-черном пуху, с пробивающимися в крыльях перьями почему-то очень часто вываливаются из гнезд. За беднягами сейчас же несется охота: собаки, кошки, мальчишки, в лесу — лисицы.

Вороненку редко удастся спастись только от мальчишек, от остальных врагов он обычно удирает то бегом, то подлетывая в то время, как стая ворон каркает, хлопает крыльями, налетая на преследователей. За вороненком, вывалившимся из гнезда утром, гоньба продолжается весь день, до наступления темноты. Утром вороненка нет.

О том, что поймали мальчишки вороненка, всегда известно. В лесу брызги крови, остатки пуха, перьев указывают, что с вороненком кончено, попал он в зубы лисе. В саду, в парке не пойманный мальчишками вороненок исчезает бесследно: должно быть, его как-то спасает чернокрылая родня.

Галка для гнезда не собирает хвороста, а достает свежие ветки. Она хватается ветку клювом и мотается на крыльях в воздухе из стороны в сторону до тех пор, пока ветка не сломается. Яиц галка кладет четыре — семь, то бледно-голубых, то зеленовато-серых с темнотными пятнами. У галчат, одетых черно-серым пухом, вокруг клювов желтая полоса: они разевают эти клювы, кажется, шире, чем какие-либо другие птенцы.

Грачи, устраивая гнезда или починяя старые, громко кричат с утра до ночи. Если оставить их в покое, то они на свою постройку обломают, обезобразят деревья целого парка.

Грачиные яйца поражают своим разнообразием. На одном дереве в нескольких гнездах яйца то зеленоватые с бурыми пятнами, то сероватые совсем без пятен, то белые с черточками. Одни яйца острые, узкие, другие почти круглые. Грачат в густе веток, считаеомой гнездом, бывает три-четыре, редко пять; они не черные, а светлые, почти белые. Перед вылетом, почти взрослые, они все-таки еще совсем сырые, какого-то льняного цвета.

Из вороньих птиц сорока самая хитрая. Она строит иногда четыре гнезда: одно настоящее, в нем она высидивает до семи зеленоватых с темными пятнами яиц, а три гнезда пустых. В одно из этих она садится, громко стрекоча. Просидев там, осмотревшись, видя, что около никого нет, сорока, как тень, шмыгнет к настоящему гнезду. При какой-либо тревоге она тихонько улетает в сторону.

Над каждым гнездом крыша, навес из ветвей: над настоящим, драгоценным крыша прочная, тщательно сплетенная из веток так плотно, что почти не пропускает дождя. У пустых гнезд навесы сделаны кое-как, для вида.

Птенцов своих сорока кормит зернами, ягодами, а также яйцами и птенцами, украденными из гнезд мелких птиц. Покрытые грязно-белым пухом, сорочьи птенцы в неволе не выживают, но взятые из гнезд в перья молодые сороки приручаются вполне, очень забавны и иногда выучиваются говорить два-три слова.

ДЯТЕЛ

Гнездо дятла похоже на мешок. Оно висит в дупле. Верхним узким концом гнездо прикреплено к отверстию дупла, в нижнем широком конце лежат яйца — пять-шесть, острые, чисто-белые. Птенцы, пока совсем маленькие, шипят; они скоро начинают выглядывать из дупла и кричат: «те-те-те». Если дырку дупла прикрыть сачком, а по стволу дерева внизу постучать палкой, то птенцы выскакивают в сачок. Они легко привыкают к домашней жизни, пьют молоко, едят булку, потом сухари, конопляное семя, орехи.

Дятлу, выросшему в комнате, надо поставить обрубок дерева, чтобы он мог его щипать, иначе он продолбит рамы, растреплет книги, испортит, расковыряет все, что попадется ему под клюв.

КЛЕСТ

Особенной прочностью постройки отличается гнездо клеста. Оно всегда у самого ствола старой сосны или ели, сплетено из травы, набито мхом, выложено еловой хвоей, наконец пухом. Сверху гнездо прикрыто ветвями, чтобы снег не попадал в него. Да, это зимнее жилище, птенцов клесты выводят в морозы. С голубовато-серых, испещренных черно-бурими точками яиц — их бывает четыре-пять — самка почти не слетает, греет их все время. Самец приносит ей семена из сосновых, еловых шишек и поет ей незатейливую песню среди осыпанных инеем ветвей. Теми же семенами старые клесты кормят своих буровато-пепельных птенцов; у молодежи животы и подхвостья желтые, а у стариков там красные перья.

ДРОЗД

Невысоко в кустах, в развилке ветвей подвешивает свое искусное гнездо дрозд. Он, принося в клюве кусочки глины, лепит их своей слюной, делает небольшую чашку, половинку шара. Пока глина сохнет, дрозд поет.

Песенка его проста, это скорее чириканье, чем песня, но где же взять лучше?

Дроздиха весело подпрыгивает, слушая эту песню, потом приносит тонкие гибкие веточки и внутри глиняной чашки, глиняного полушара, висящего на кусте, свивает какую-то корзиночку, второй слой гнезда. Третий слой составляют конские волосы, шерсть, пух: их надо собрать по дорогам, в лесу, у пней, сучьев, где почесался или зацепился чей-нибудь косматый бок. Пух летит с осины, добывается из покинутых гнезд или нащипывается из собственного живота.

Яиц четыре — шесть, они ярко-зелено-голубоватые, иногда с темными пятнами на тупых концах.

Сначала голые, потом серопуховые, дроздята с утра до ночи просят есть, раскрывая желтые клювы. Старики усердно носят им ягоды, семена, гусениц и мух. Они сердито чокают на человека, на всякого врага, подходящего к гнезду. Не имея никакого оружия, чтобы заступиться за своих птенцов, дрозды врага пачкают так, что остается удивляться, откуда у них, у маленьких, берется столько этой пачкотни.

ЗЯБЛИК

Самка зяблика строит свое гнездо недели две; самец не строит, он только приносит все, что нужно для постройки: шерсть, мох, кору, волосы, перья, ненужную белую кожицу, сдернутую с березовой бересты, паутину.

Гнездо, сплетенное из всего этого, снаружи облепляется серо-зелеными лишаями, растущими на березе; внутри оно мягко: там сетка из волос и пуховая постелька.

Можно долго пробыть под березой и не заметить гнезда зяблика — оно кажется одним из множества серо-зеленых пятен на белом стволе березы.

Мелких пестреньких яиц в этом гнезде немного: четыре-пять. Звонкую веселую песню сильно, бодро поет зяблик своей подружке, пока она высидивает, и носит ей корм. Потом кормлением занимаются оба — песен больше нет, когда выведутся крошечные серенькие с белым пухом, странно висящим пучками около желтых ртов.

Если гнездо тронуть, зяблики улетают совсем прочь. Они бросают детей на гибель, не возвращаются к потревоженному гнезду.

ЖАВОРОНОК

Среди сухих стеблей, среди скошенных колосьев, на поле, иногда почти на дороге, в ямке, выдавленной ногой человека или копытом лошади, лежат крошечные рыжевато-серые яйца; их четыре-пять. Их заботливо греет своим телом, к ним плотно прижимается желтовато-коричневая птичка. А над ней, взлетая все выше, выше, звенит залиистой трелью также коричневый певец. Это — жа-

воронок, он поет только в воздухе, на лету. И пока он веселится в вышине, можно накрыть сачком, иногда просто взять рукой его подружку. Она редко слетит, она только прижимается к тому, что дороже жизни.

К счастью жаворонков, их, желтовато-коричневых, очень трудно рассмотреть на глинистом поле, где они живут.

Слепые голые птенцы жаворонка недели две беспомощно лежат в своей ямке, пока не покроются серо-желтым пухом. Потом они начинают бродить, крошечные цыплятишки, никогда не прыгают, как воробьи, а бегают, чирикают чуть слышными, но чистыми голосами. Кормятся они зернами и мухами, червячками, скоро научаются подбирать их с земли, старики подкармливают, приносят еду. Как только у молодежи окрепнут крылья, весь выводок жаворонков перемещается; старики отыскивают новую ямку; прежде чем кончится лето, они еще раз выведут птенцов.

МАЛИНОВКА

Старый плодовый сад — любимое жилище малиновки. Она живет в таком саду охотнее, чем в лесу, устраивает свое гнездо скорей в колючем густом кусте барбариса, чем в высоких ветвях черемухи.

Гнездо, — конечно, маленькое, едва ли с кулак величиной, — всегда под кустом, оно свито из травы, переплетенной волосами, и висит на нижних ветках, иногда лежит на земле. В нем бело-розовых яиц пять — семь. Зарянками зовут малиновок за привычку петь на заре, но, пока самка сидит в гнезде, самец, трепеща крыльями на ближайшей ветке, распевает и днем.

Птенцы, пища, высовывают из-за края гнезда широко раскрытые желтые носы — нельзя сказать, что клювы: слишком они мягки, плоски. Малиновки без отдыха таскают детям букашек, мух, червяков, они приносят эту добычу с плодов, подбирают на земле какую-то ползущую там мелочь. Суетня около гнезда весь день, кто тут отец, кто мать почти невозможно различить: обе птички одинаково малы, у обеих темнозеленые спины, красные груди. Малиновки не обижаются на то, что человек трогает их гнездо. Они возвращаются к нему, даже когда у них уносят двух-трех птенцов.

Но напрасно это делать: птенцов малиновки в неволе не выкормить.

СИНИЦА

Всегда битком набито яйцами гнездо синицы: десяток их по крайней мере. Синица-кузнечик ухитряется положить восемнадцать яиц. Они белые, эти яйца, на них красные крапины, и каждое яйцо величиною с кедровый орех.

Гнездо в дупле дерева, в расщелине старого строения, в тростнике, на стебле, у некоторых на качающемся конце ветки, но всегда набито перьями. В одном гнезде насчитано две тысячи семьсот девять перьев, небольших, конечно, но надо же было за каждым перышком слетать.

Зинька полосато-желтая, гайка красновато-пепельная с черной головой, гренадерка с пестрым хохлом и многие другие — все синицы выводят детей два раза в лето. Сколько же ртов, всегда голодных, пискливых, надо накормить. Ни одна пташка не суетится так, как синица. Она заглядывает в развертывающиеся

почки деревьев, долбит тонким, как шило клювом кору, проворно бегает по ветвям, иногда вниз головой — это она все отыскивает гусениц, личинок, куколок — мягкую пищу для теснящихся в гнезде птенцов. Они недели две голы, беспомощны, а потом, едва одевшись пухом с проступающими кое-где перышками, уже лазят по дереву и, крепко цепляясь когтистыми лапками за кору ветвей, долбят ее клювами: они уже знают, что там, под корой, свернувшись, спят мягкие вкусные червячки.

КУКУШКА

Пеночки, славки, завирушки и многие другие птички, гнездящиеся по кустам, после короткой отлучки из своих гнезд находят там одним яйцом больше, чем они положили. Не замечает птичка нового яйца? Принимает ли его за свое? Почему не выкидывает? Никто никогда не скажет. Пташка продолжает высидывать, и птенец из нового яйца выклеывается первым. Она летит за кормом для него, а он, голый и слепой, подползает, подсовывается под соседнее яйцо, забирает его на спину и, приподнявшись, выкидывает из гнезда. Почему это делается? Также неизвестно, но снято фотографом, подсмотревшим эту тайну. Этот злодей — птенец кукушки. Он требует много корма, растет быстро и не перестает злодействовать, выкидывает из гнезда сначала яйца, потом проклюнувшихся птенцов. Бедная пташка продолжает усердно кормить прожорливого злодея. Он остается в гнезде один, вдвое, втрое перерастает свою приемную мать, она выбивается из сил, доставляя ему пищу.

Выкормленная луговым чеканом молодая кукушка серая полосатая, величиною с голубя, а рыженький чекан поменьше воробья. Крошечная пташка садится на спину своего питомца. Кукушка, завернув назад голову, открывает клюв, и кормилица-чекан вкладывает туда кусочек корма.

Так выросла кукушка, так выкормила ее луговая пташка. Их можно видеть, они сидят рядом, каждая в своей клетке, как будто незнакомые. Цело и гнездо чекана, в котором принесли птенца. Это все непоколебимо верно. Можно предполагать, что так оно бывает и на воле с кормлением птенцов кукушки.

Остальное окутано тайной.

Говорят, что кукушка сносит свое яйцо на землю, берет его в клюв и подкладывает в гнездо отлетевшей пташки. Кукушка будто бы кладет пять-шесть яиц через несколько дней одно после другого. Рассказывают, что пока кукушка сидит с яйцом на земле, самец летает кругом. Он серый, пестрый, похож на ястребка, пташки пугаются, слетают с гнезд, этим пользуется кукушка, чтобы подкинуть свое яйцо.

Как проверить такие рассказы? Вот что яйца кукушки по ее величине очень малы, белы, с крапинками разных цветов, а кукушечьи птенцы крайне прожорливы и растут необыкновенно быстро — это верно.

КРАПИВНИК, КОРОЛЕК

В груди хвороста на опушке леса можно найти висящий между сухими палками желтовато-зеленый шарик с небольшим яблоком. Он очень плотно свит, этот шарик из сухих веточек мха, в него вплетены волосы, еловые иглы. Это

гнездо крапивника. Он вьет их три, иногда четыре: в одном он живет сам, в другом самка высиживает семь-восемь яиц величиною с горошину, а два зачем — это неизвестно.

Из таких крупных яиц, пожалуй, не следует ожидать больших птенцов. Действительно, два птенца крапивника укладываются в обыкновенный наперсток. Старики кормят птенцов крохотными насекомыми.

Крапивник был бы самой мелкой пташкой из всех европейских птиц, если бы не королек: этот еще меньше. У королька на голове, однако, хохол, сам он желтый с зеленым, похож на синицу, а самка королька гнездо вьет на дереве, не в хворосте, и яиц кладет иногда одиннадцать.

СКВОРЕЦ И ВОРОБЕЙ

Из-за деревянного домика, привешенного в ветвях березы или просто воткнутого на шест, весной всегда бывает драка. Воробьи займут домик зимой, а скворцы, вернувшись с отлета, хотят занять свое жилище. Обычно скворцы воробьев выгоняют, но не очень хлопчут над починкой их гнезда: принесут немножко соломы, повыкидают кое-какой сор и довольно.

Скворец брызжет веселой песней все время. Самка то лазит в домик, то вылетает из него. К домику часто подсаживаются пролетные гости. Скворец поет и с ними, и без них. Самке, сидящей на бледнозеленых, голубоватых яйцах, он носит есть и, конечно, поет — свистит, фыркает, трещит. Когда запищат голые скворчата, песням конец: очень трудно накормить полдюжины ненасытных птенцов. Серым пухом покрываются птенцы, потом пепельно-бурые перья проступают на них — все нет отдыха старикам, носи целые дни пищу издалека, гусениц, ползающих на плодовых деревьях. Когда у птенца побелеет горло и весь низ обрастет также беловатыми перьями, тогда молодой скворец вспархивает и летит вслед за стариками в сад или в лес на добычу.

Старики-скворцы отдыхают недолго: им нужно кормить второй выводок.

Воробьи в иное лето выводят три раза и каждый раз по пять — семь птенцов. Если воробья выгнали из скворешника, то он гнездится где придется; на дереве он тщательно укрепляет грудку сена, связанную конскими волосами, набитую шерстью.

Воробьиные яйца разнообразны необыкновенно: серые, белые, бурые, лазурно-голубые и все в рыжих пятнах. Воробьята голы, слепы. Старики кормят их только насекомыми, а сами едят все. Молодые, начав уже летать, продолжают просить есть. Старые коричневые воробьи делятся с желтоклювой молодежью случайно доставшейся добычей. Иногда воробьи устраивают гнезда в огромных гнездах орла или аиста. Те не трогают маленьких смельчаков и спокойно смотрят, как воробьи клюют остатки их обедов.

ЧИЖ

Искуснее всех птиц прячет своих птенцов чижик. Его зеленое гнездо, облепленное серыми лишаями, висит на конце ветки очень высоко над землей. Комок мха болтается почти у вершины огромной ели. Только потому, что две зеленовато-серые кургузые пичужки беспокойно перелетают, прыгают по бли-

жайшим деревьям, можно догадаться, что в комке мха — птенцы. А какие они, как живут, когда вылетают? Все это узнать слишком трудно: туда, к гнезду, не добраться. От простака чижики, казалось бы, такой хитрости и ожидать нельзя было. В неволе те же таинственные хитрецы, чижи, разводятся совсем легко: совьют гнездо из соломы, тряпок, ниток, охотно сядут в связанную из бечевок плетушку.

Птенцы их ничем не отличаются от воробьят, их можно смотреть, трогать, кормить. Но все это уже не так интересно.

ПОМОЩНИКИ НА ОХОТЕ

Кроме собаки, умеющей чутьем отыскивать дичь, указывать ее и принести, кроме гончих и борзых, преследующих зверя, кроме криволапой таксы, выкапывающей из норы барсука, кроме лайки, «сажающей» на дерево глухаря или белку, кроме всяких еще собак, охотник издавна приучил разных себе помощников при ловле зверей, птиц и рыб.

Сокол бьет птицу высоко над землей. Стремительным налетом сверху хищник ударяет птицу в спину, мгновенно вцепляется в нее когтями. Журавль, цапля оборачивают на врага острый клюв, сокол увертывается, кидается в вышину, налетает снова. С птицами безоружными, как утка, гусь, тетерев, хищник расправляется запросто, убивая сразу. Сам много меньше их, только крылья у него большие да когти острые.

На вершину дерева, на скалу несет добычу сокол. Всадники следят за воздушной погоней, спешат к победителю во весь мах своих коней, зовут сокола по имени, показывают ему вабило, два связанных крыла какой-нибудь птицы. На этих крыльях сокола дома кормят. Издали заметив знакомую приманку, сокол спускается на нее, держа в когтях убитую птицу. Тут ее отбирают, ловцу дают кусочек мяса и, надев ему на голову клобук, колпачок, закрывающий глаза, берут сокола на руку в кожаной рукавице. Он должен посидеть и успокоиться, отдохнуть.

Сдернут клобучок, показана мелькающая в воздухе новая птица и — сокол снова летит за ней стрелой. Всадники скачут, боярин любит.

Куропаток, уток, тетеревей «травили» соколом-чоглоком, на гуся пускали хищника покрупнее: сокола-сапсана или балобана. Сокол-кречет смело вступал в воздушный бой с цаплей, с журавлем и побеждал часто, лебедя брал. Сокола все рыжевато-серые, кречеты пестрые. Дороже всех у охотников ценился норвежский кречет, весь белый, как снег.

Уже давно повывелась соколиная охота. Красивая, но слишком сложная, дорогая забава. Какая возня с выучкой крылатых хищников, какие расходы на содержание конных охотников, готовых сломя голову скакать куда угодно за снизившимся ловцом.

Птичью мелочь, вроде перепелок, травили попроще: пешком, ястребами. Тоже затея от нечего делать, почти позабытая теперь в Европе.

В Азии дикие кочевники кое-где еще гоняются по степям за зверьем с беркутом.

Всадник на горбоносой лошаденке мчится по равнине за вспугнутым зверем, а в воздухе, точно буря, шумит, несется огромная птица, сваливается грудой бурых перьев на ошалевшего от погони зверя, вцепляется ему в затылок когтищами, хлещет крыльями. Перед налетевшим врагом в ужасе замирает заяц, беспомощно мотает рогами джейран, степная антилопа, тычется в первую попавшуюся норку лисица, сдается, огрызаясь, волк.

При такой потехе расходы невелики: охотник сам хозяин, сам слуга, сам учитель крылатого своего помощника. Но и добыча не очень прибыльна.

В Персии, в Аравии, в Монголии, в Индии среди богачей сохранилась еще охота с гепардом. Это роскошнейшая из забав подобного рода.

Охотничий леопард, гепард, в Азии называется чита, в Африке — фахгад. Тут и там это великолепное животное: большая ярко-пятнистая собака с кошачьей головой и длинным кошачьим же хвостом. Блестящие почти круглые глаза гепарда кажутся огромными на небольшой его голове, лапы гепарда высоки, все тело стройно и упруго.

Охотник-служитель, высматривая антилоп, ведет гепарда с завязанными глазами на своре. Шагах в трехстах от беззаботно пасущегося стада он сдергивает со своего помощника-зверя все: и свору с шеи и повязку с глаз. Хищник крадется, ползет, как кошка, пока антилопы не почувют врага. Тогда антилопы кидаются наутек и — великолепные бегуны — они не бегут, летят. Но поздно. За ними мчится громадными скачками длинноногая собака, не отстает, догоняет и, в страшном прыжке схватив зубами, ломает шею рогатой добыче.

У зрителей травли должны быть великолепные кони, иначе ничего не увидеть.

Для подготовки подобной забавы надо гепарда поймать взрослым, что не очень просто, он отбивается сильно. Взятый щенком (или котенком?) гепард ловит плохо или вовсе не ловит. В неволе гепард не разводится. Дрессированный гепард послушен, ласков — не то собака, не то кошка, только когти у него не втягиваются. Но дрессировать гепарда надо года два вчетвером. Поочередно караулят, не дают гепарду спать, его водят по базару, в толпе, чтобы приучить к людям, водят с завязанными глазами, держа за две своры с обеих сторон. А вдруг вырвется? Гепард человека задавить может вмиг. И столько хлопот, забот, ухищрений — ради чего? Пустая трата времени и сил, затея праздных богачей.

Бедняки тоже находят себе помощников для охоты. Китайские, японские рыбаки ловят рыбу при помощи птиц. Баклан или корморан, водяной ворон, крупная зелено-черная утка с крючковатым клювом, приучается к тому, что, нырнув за добычей в море, он, баклан, мелкую рыбку может съесть, а ту, что лучше, должен отдать хозяину. Для того чтобы баклан не проглотил лишнего, на шее у него, у баклана, кожаное кольцо, а за кольцо бечевкой тянет хозяйская рука. Десяток кривоносых ловцов сидит по бортам лодки. Рыбак палкой сталкивает их поочередно в воду, поощряет подачками усердных ловкачей, ругает, поколачивает лентяев и неловких. Когда корзины наполнены рыбой, хозяин пернатой артели взвешивает на руке каждого баклана. Ну, как, сыт? Нет? Так и

быть, получай рыбешку. Впрочем, и в корзинах товар неважный. С рыбой, по-крупней чем в килограмм, баклану не справиться.

Искусство рыбака тут в том, чтобы не перепутать веревки, во-время палкой помочь птице выбраться из воды в лодку и не допустить драки между бакланами.

В Торресовом проливе, у Занзибара, по берегам острова Кубы ловят черепах не то что с помощью, а посредством рыбы. Не на приманку рыбой, не на крючок с наживкой, нет, рыбой.

У рыбы-прилипало на голове и на спине есть плотный кожаный присосок длиной сантиметров до сорока. Им рыба может прикрепиться прочно к чему угодно. Прозрачна лазурная глубина моря. На поверхности неподвижно плавают черепаха: спит. Беззвучно, как тень, не плеснув ничуть, спускается с лодки на бечевку рыба, подплывает под широкий щит черепахи, не толкает, не цепляется, только липнет тихонько. И вдруг тащат в лодку все — и бечевку, и невольного предателя, рыбу-прилипало, и так неприятно разбуженную черепаху.

У северного охотника также есть помощница, нечаянно действующая предательством: пернатая обманщица.

Едва выглянет весеннее солнце из-за края земли, охотник прячется в шалаш у разлива, у озерка, у широкой лужи болота, а около берега, привязав за лапу, пускает плавать кряковую утку. Она — такой уж у нее характер — поминутно орет во все горло:

— Кря-кря-кря!

Селезень, отыскивая подругу, летит, без всякой осторожности шлепается на воду к утке, а из шалаша хлоп! Выстрел. Убит селезень. Утке хоть бы что. Попьет, почистит перья и опять свое:

— Кря-кря-кря!

Свистя крыльями, спешит другой утиный дурак. И тому хлоп. Исчезла румяная свежесть утра. На припеке селезни не летят, утка помалкивает. Охотник собирает убитых, сажает живую приманку в корзинку и уходит домой. Значит, поохотился с круговой уткой.

Это, конечно, не гепард, даже не сокол. Красоты тут мало. Зато просто и дешево.

СТРАУС И ГУСЬ

Трудно придумать двух птиц, так не похожих одна на другую, как страус и гусь. Все у них разное: и наружность, и местожительство, и образ жизни.

В степном заповеднике Аскания-Нова обе эти совсем несходные птицы недели две вместе водили птенцов, пока не подрались.

Страус — американский, нанду. Он поменьше африканского, но тоже дылда порядочная, на голенастых, жестких черных лапах.

У большущего африканского страуса клюв плоский, вроде утиного, и пальцев на каждой лапе по два, у нанду же клюв острый, как у курицы, и пальцев на лапах по три.

И гусь не обыкновенный, а куриный, австралийский, с острым клювом, на высоких лапах. Гнездится этот гусь упорно по-своему и в свое время, когда в Австралии лето, а у нас зима. Под крышей в теплом помещении гусь не желает устраивать свое гнездо, а делает его из соломы под открытым небом, на морозе. За гусиной парой следят, и как только гусыня снесет яйцо, сторож его отбирает, чтобы оно не замерзло. Гусят высидеть гусыня согласна в хлеве.

Осенью австралийская гусыня неосторожно подплыла к лебедю. Он так клюнул ее в голову, что гусыня закувыркалась, похворала недолго и околеда.

Что чувствовал гусь? Конечно, это неизвестно. Несомненно, он скучал. Бедняга-гусь искал уединения, он плавал, бродил, ел один. Что он бормотал тихонько, грустно погогатывая? Не выразилась ли еще в чем-нибудь его печаль?

Ну, вот еще, какое там гусиное горе, кому его замечать!

Пришла весна. Благоуханно зазеленела степь. Лед исчез с пруда. Одинокий гусь повел себя так, что уже нельзя было его не заметить.

Нанду пришел с двумя десятками своих птенцов к пруду пить. У страусов высиживает самец, он водит, кормит и охраняет цыплят. И вдруг какой-то серый в темных пятнах лезет из воды, плетется к выводку. Гусь? Зачем? Страус кинулся его бить. Гусь убежал, спрыгнул в воду и уплыл. Поклохтал, попрыгал в бешенстве по берегу страус, но — делать нечего, не поплывешь за гусем! — собрал и увел свою пискливую полосатую молодежь.

При следующем водопое гусь поступил похитрее. Он дождался, когда страусята напились и пошли прочь. Гусь, ковыляя, поплелся за ними в степь. Легко сказать. Погоняйся среди кустов за степными бегунами, а лапы у гуся хоть и высокие, но с перепонками, как следует быть, настоящие лапы водоплавающей птицы. Не гусиное дело беготня.

Страус гуся больше не трогал. Что ж? Вреда он не делает, для чего-то шатается за детьми. Пусть.

Гусь выбивался из сил, желая показать страусятам свою любовь. Он топтался перед ними, вытягивал шею по земле и слегка хлопал крыльями с тихоньким радостным гоготанием. Все время гусь проводил в степи около страусят, на пруд приходил изредка, только вместе с выводком и почти не плавал, все топтался около детей. Мечтал ли гусь о том, что научит страусят плавать? Чем, как хотел он излить нежность своего сердца на этих чуждых странных цыплят?

Он не отставал от выводка ни на минуту.

Страусят гусиные нежности не трогали нисколько. Что такое? Топчется, ковыляет, пристаёт, глупо орет тут этакий, совсем необыкновенный в степи. Поджарые, тощие цыплята с курицу величиной проворно бегали, клевали свой корм, не обращая никакого внимания на гуся.

Тогда его любовь перешла в ненависть. Гусь начал шипя гоняться за страусятами. Одного ущипнул за бок так, что выхватил клочок окровавленного пуха. Другого, уцепив за шею, таскал, таскал, чуть не задушил. Но гусь напрасно забыл, что у страусят есть грозный защитник. Злобно крича, подбежал страус и так долбанул клювом, что гусь опрокинулся на спину и замахал лапами. Страус прикончил бы его ударом ноги, но гуся взяли, унесли и посадили за решетку.

Там уже гуляла новая австралийская гусыня. С ней гусь утешился и разве-
седился.

Когда вывелись свои маленькие коротышки гусята, забыл ли гусь о чужих,
о долговязых, о страусовых птенцах?

А страусята благополучно выросли, стали нанду: не африканские страусы,
нет, но все-таки порядочные дылды. Эти-то, конечно, не сохранили воспомина-
ния о том, как в детстве к ним, к полосатым страусятам, приставал с нежностями гусь.

ФАТЬКА-ГЕРОЙ

Полное имя собачонки Фатима. Хозяев у нее много, и все кличут ее по-раз-
ному: Фатимка, Фатишка, Фатька.

Тот, кто больше всего занят Фатимкой, Димка, прожил на свете всего
четыре года. Язык у него еще заплетается, не все буквы выговаривает и потому
свою собаку Димка зовет: Хватька.

Они вдвоем, Фатима и Димка, находятся при всех домашних делах и поле-
вых работах. Фатима всюду сует свой нос, все нюхает, часто лает. Повидимому,
для нее нет разницы между овцой и коровой, курица или гусь ей все равно. Со-
бак она не может видеть равнодушно: визжит, рычит, бежит драться.

Димке любопытно все. Но больше всего его интересует лошадь. Как она
фыркает, когда ест, как слушает: то одним ухом водит, то другим. А хвостом об-
махивается со свистом, точно веником. Серко возит бочку с водой, телегу, дрова,
тащит по полю плуг. Не пересчитать, сколько работы делает лошадь. Самое
удивительное животное!

За обедом Димка вдруг выпалил:

— Запрягать Хватьку буду.

— Во что? — спросила мать. — Повозку-то собачью трудно достать.

— Ты не вздумай верхом на Фатимку сесть, — сказал отец, — она малень-
кая, ты, тяжеляк, ей спину сломаешь. погоди до зимы, тогда салазки
пристроим.

Димка покраснел и замолчал. По правде сказать, он пытался оседлать
свою собаку, но та вырвалась, опрокинула мальчишку и убежала.

Со сбруей тоже плохо. Не только ремешка какого-нибудь, веревки никто
не дает на собачью упряжь. Только смеются. Однако Фатька скоро прибежала в
просторном ошейнике.

— Это зачем же мочалки на собаку наворачены?

— Хомут, — объяснил Димка. — Хватька, тпру-у!

Собачонка подбегала и, виляя хвостом, покорно становилась около своего
повелителя. Димка кричал на нее, как на лошадь, подносил ей для питья пу-
стой бурак и помирал со смеху, когда Фатька, ничего не найдя в берестяном ве-
дерке, фыркала и трясла ушами.

Во время сенокоса на лугу после закуски у костра Димка закричал:

— Эй, Хватька, пошла сюда, давай ноги!

Фатька подбежала. Димка взял ее задние лапы, приподнял и басом приказал:

— Но-о-о!

Собака пошла на передних лапах, двигая задними в руках мальчишки и помахивая хвостом перед его носом.

— Это еще что? — даже завизжали сестры. — Куда вы это? Ха-ха-ха!

— За сеном поехали, — важно ответил Димка.

Под общий хохот они удалились, — собака, идя почти вниз головой, а Димка, действуя ее задними лапами.

Что ж делать, приходится изобретать когда хочется ездить, а ни лошади, ни повозки нет!

По словам Димки, он на Хватке ездит за покупками в город, пашет, боронит, возит снопы. Для тех, кто игры не знает, вид один: собачонка идет на передних лапах, а задними управляет Димка.

Фатиме все эти работы также представлялись одинаковыми и не очень нравились. Она понимала только, что надо ходить на передних лапах: Димке для чего-то нужна такая забава. Когда игра ей надоест слишком, ничего не стоит выдернуть свои задние лапы. Огорченный кучер валился на землю, а собачонка убегала. Ссорились они не надолго. Снова слышен крик:

— Хватка, давай ноги!

И опять едут за водой, за песком, за всем, что вздумается Димке.

Очень скоро не только свои домашние, но и соседи перестали обращать внимание на такие поездки. Прискучили они и Димке. Пошутили и будет.

Фатима, вероятно, осталась довольна: попробуйте-ка походить этак вниз головой. Тоже удовольствие.

Но Димке нравится, что его собака все-таки вроде лошади. Он продолжает понукать Фатьку по-лошадиному, кричит ей «тпру». И та бежит, останавливается, как требует приказ.

За брусникой идут друзья, Димка со своей Хваткой. Жарко, душно. Тяжко пробираться через обсохшие кочки. По мху еще трудней ступать, точно в подушке вязнут ноги. Пить страшно хочется. Грязи много, она коричневая, гадко пахнет, а воды нет. Вот на вырубке сейчас за дубовым пнем в яме ключ холодный, прозрачный. Мамка не велела к ключу в промоину лазить, говорит: утонешь. Да что такое, там весь прудик-то с кадушку величиной, какая там беда. Конечно, можно напиться в припадку из ручейка, сверкающего маленькой струйкой по песку между корнями. И собачонка тоже там полакает. Только это несколько неинтересно. Лучше зачерпнуть ведерко, поднести, как лошадке, и сказать по-папиному:

— Го, го, Хватка, о-го-го-го!

Пушистая лошадка, повиливая хвостом, стоит тут же и внимательно смотрит, что делает хозяин. А мальчик тянется к кружку воды, блестящему в темной яме, и вдруг, — бух туда, только брызги полетели!

Собачонка даже залаяла от испуга.

Мальчишка, отдуваясь, встал. Ну, важное дело, окунулся: глубина небольшая, едва по грудь. Но вода холодна, как лед, и выбраться из нее невозможно. Ухватиться не за что, скользит обрывистый скат.

Побрыкался, поцеплялся мальчишка — нет, падает назад, нет сил вылезти. Завыла собачонка, видя, что дело не ладно.

— Хватька, — в ужасе закричал Димка, — беги домой. Зови папу. Ой, пропадаю!

Фатима, взвизгивая, заметалась туда, сюда, понеслась было к дому, но вдруг остановилась, бросилась обратно к промоине.

Пронзительным визгом там заливался Димка. Он все вспалзывал на глинистый край ямы и опять обрывался назад во взбудораженную воду.

— Ой, — хрипло визжал он, — ой, спасите, караул, мама, мама, ой, скорей. Тону-у-у!

Увидев собачонку, Димка перестал цапаться за голый берег и изо всех сил закричал:

— Хватька, пошла сюда. Давай ноги!

Собака спрыгнула в яму, подскочила по скату почти к воде, привычно повернулась хвостом к своему кучеру, и у мальчишки под руками очутились знакомые лапы, он их схватил. Тогда, напрягая спину, вцепляясь в скользкую землю когтями передних лап, Фатима потащила в первый раз в своей жизни груз.

— Но, но, но-о! — орал Димка.

Ему немного было нужно, лишь бы ухватиться за что руками, хоть чуть-чуть упереться ногой. Прокарабкался он, держась за собачьи лапы, шаг, два и выпустил их, пополз на своих четвереньках, вылез из ямы, стал на ноги. Поплакал со страху Димка. Гладил, целовал Хватьку. За ягодами не пошли. Домой вернулись.

— Что-то плохо высох, мокрый недавно был, — сказала мать, ощупывая Димку, — и в грязи весь вывалялся. Ну, признавайся, куда провалился?

Пришлось рассказать все происшествие, просить прощения за то, что лазил в промоину.

— Да как это ты, — перебивали рассказчика, — как же ты не пропал?

— На собаке выехал, — с важностью отвечал Димка, — у меня Хватька ученая.

Фатька махала хвостом, понимая, что говорят о ней.

ЛИСИЙ ВЫВОДОК

— Кузька, я лисицу с детьми видел. Вот чудно-то, — шепнул Федька брату, — на горوشке у речки. Там нора. Четыре лисенка. Никому не сказывай, пойдем ловить.

— А не укусит?

— Еще что. К лисе не подойти, она убежит. Перед норой ползти надо, бревном лежать, не шевелиться.

— Ты так и лежал?

— Нет, я просто шел, а лиса играет с лисятами, как наша Жучка со щенятами. Я бултых на землю, да и уполз. А как свистнул, лисица шмыг — и нет ее. Смотрю, лисята в нору лезут под ольху. Пойдем, поймаем.

— На веревку?

— В мешок. В прошлом году меня дядя Трофим с собой брал, всему научил. Шестерых лисят выкопали, только те маленькие были, не смотрели еще.

— Да ну, слепые?

— Вовсе ничего не видят. С мышь каждый, только хвостики пушистые. И скулят таково тоненько. Дядя тогда пошел верши на щук ставить и меня с собой взял. Вдруг около промоины в березняке лиса. И в нору шмыг. Дядя меня за шиворот хват, ткнул носом в землю, сам лег и мне кулаком грозит: нишкни, мол. Притаились. Лисица-то высунула морду, повертела носом и опять спряталась. Потом вылезла и стоит. Дядя свистнул, она как стрекнет в кусты и опять стоит. «У нее лисята тут, — говорит дядя, — махай домой, топор принеси, заступ да мешок. Во весь дух слетай. А я тут сторожить буду». Побежал. Топор и лопату принес, а мешок позабыл. Уж он меня ругал, ругал, дядя-то. Снял с себя рубашку, поклял туда лисят и принес всех. Ты видал, у него на цепях сидели?

— Видал. Федя, а на что нам лисята? Они злые, играть с ними нельзя.

— Какие тут игрушки. Шубка-то какая у Трофимовой Лизы из тех лисят вышла. Вот и мы поймаем лисят и на цепь посадим. Потом шубу сделаем.

— Ты все врешь, Федька. Как же он слепых лисят на цепь посадил?

— Экой ты какой. Он сначала их молоком кормил из соски, а как подросли, тогда каждого на цепочку к столбику. Рыбой кормил, морковью. Я сам видал.

— Ну, ладно, пойдем.

Вооруженные всеми нужными снарядами, подползли звероловы к замеченной норе и застали лисицу спящей со всей семьей на припеке весеннего солнца.

— Крой к норе, Кузька! — закричал, свистнув, Федька.

Лисица убежала.

— Затыкай чем попало дырку, все там, наши будут!

Сказано — сделано. Прочно забита нора обломками ветвей и песком.

— Тут, тут, — твердил опытный зверолов, — слышишь, как возятся да пищат. Копай!

Плохо помогает даже топор. Федька рубит изо всех сил. Корни, как железные канаты, протянулись, черные, узловатые. Тяжела работа. Взмокли землекопы.

— Федька, лиса! — крикнул Кузя, заметив, как внизу в кустах мелькнул рыжий хвост.

— Фью-ю! — отозвался Федька. — Бегай там, сколько хочешь. Сейчас в мешке будут твои лисята.

Вдруг смолкла подземная возня, не слышать стало визга. Прыгает по узловатым корням топор, но все-таки рубит. Ковыряет плохо заступ, но проникает в землю. Открылся длинный узкий ход, точно кривая труба в глубь холма.

— Да куда ж они девались? — с недоумением твердил Федька.
Он лег на землю и приложил ухо к разрытой норе.
— Никого, — сказал он, вставая, — увела их матка-то. Ишь, хитрая. Значит, у норы снизу выход был. В следующий раз умней будем. Поймаем. Теперь надо домой итти.

ЗА НОЧНЫМ ВОРОМ

Гряда имела такой вид, будто ее разрыли свиньи.
— Мало тебе твоих лягушек, — с досадой говорил Трофим, — морковки ему давай. Я те всыплю закуску, полосатая морда.
— Кого это ты так? — спросил Федя.
— Барсук шляется. Видишь, наследил. Теперь весь огород испортит, коли не убить бесхвостого подлеца.
— Разве у барсука хвоста нет?
— Есть, только маленький. Он и сам невелик, с Жучку нашу, на ногах низкий, да здорово толст.
— Я на такого вечер у оврага наскочил, — обрадовался Федя. — Как фыркнет из куста, как хрюкнет, я бежать. Думал, медвежонок.
— Он самый, барсук. Со мной пойдешь, Федя, покажешь, где встретил.
— А нам можно?
— Пойдемте с уговором: в собачью работу не мешаться. Мальчишки переглянулись. Это что же за работа? И какие собаки?
— Нашим собакам, — добавил Трофим, — с барсуком не справиться. Я злых достану. Те его из-под земли выкопают.
Всю ночь шептались ребяташки. Ух, мастер Трофим на охотничьи дела. Уж он добудет псов-великанов, чтобы задавить зверя.
Чуть свет ребята стояли у избушки в огороде. Трофим вышел с ружьем, ворча:
— Ночью бы притти. Проспали. Теперь барсук в норе сидит. Ну, да ладно. Макс, Шельма, фью-ю!
Из сараюшки выскочили две мелкие собачонки.
Мальчишки опять переглянулись. Вот так великаны-псы: чуть побольше кошки, длиннохвостые, на кривых лапах. Морды у них щучьи, но совсем не злые собачонки, ласкаются, руки лизут, шерсть гладкая-гладкая.
— Это таксы, — объяснил Трофим, — на барсука спецы. Федя, бери заступ. Костя, тащи топор. Кузька-карапуз, неси лучину. Слышь, ребятки, к барсуку не соваться. Царапнет когтищами, беда. Федя, веди.
Мимо лесной сторожки спустились к оврагу.
— Вот тут, — шепнул Федя.
Черная Шельма остановилась, оцетинилась, зарычала. Рыжий Макс подскочил, повертел носом и, взвизгнув, бросился вперед.
— Шарь, шарь собачки, — закричал Трофим, — ищи, тут он ходит, вор!
Трофим побежал между кустами туда, где слышался яростный лай. Собачонки около пня рылись так, что земля комками летела у них из-под лап.

Вдруг Макс исчез, провалился. В тот же миг из-под земли раздался глухой грозный вой, послышался жалобный визг собаки. Показался из норы повисший рыжий хвост. Макс вылез, пятясь, и сел, скуля и облизываясь. По морде у него текла кровь.

— Влетело, — сказал Трофим, — не лезь зря. Сначала посмотри, не сидит ли барсук мордой к выходу. Вот он тебе и дал гостинца передними лапами. Федя, копай, где Шельма тычется носом. Прямо вниз трубу делай. Шельма оттуда его пугнет. А не то придется костер класть, дымом выкуривать.

Едва собачий лай вслед за лопатой проник в глубину запасного выхода, из норы выскочил серый зверь, опрокинул Макса и побежал, сердито хрюкая. Макс вскочил, догнал его, схватил за заднюю ногу. С лаем подскочила Шельма и ухватила за другую лапу. Барсук вырвался, сел. Он поворачивался неуклюже, но так проворно размахивал передними лапами, что обе собаки только прыгали вокруг него с лаем.

Стукнул выстрел.

Барсук ткнулся полосатой мордой в землю. Лапы его еще дергались, но уже не были страшны, и собачонки смело держали зверя за его короткие уши.

СТАРИКИ

Их ругали и били не более обыкновенного, но есть им перестали давать совсем. Положение определилось, хотя и неприятно, но вполне: им оставалось уходить из опустевшей, обнищавшей усадьбы. Они скулили по крестьянским дворам, выпрашивая поесть, пытались стянуть что-нибудь. В них летели поленья, палки, камни. Шляются тут, дармоеды. Брысь, чтоб вам передохнуть, калечь несчастная!

Увы, это звучало истиной. Они были стары, явно никому ни на что не нужны, и их гнали отовсюду.

Верный — огромный серый выборзок — пугал уже своим видом: корми этакую орясину! Челюсти он имел такие, что мог загрызть лошадь, был зол, угрюм и глуп. Другие двое ростом не поражали, но вид их также доверия не внушал.

Шарик, пестрый, лохматый дворовый пес, почти ослеп от старости: одним глазом он не видел вовсе, на другом также разрасталось бельмо. Слышал он плохо. Лапы у него на бегу заплетались, и задом он очень странно и смешно дрыгал — следствие удара, не то апоплектического, не то дубиной по спине. Но чутье он каким-то чудом сохранил великолепное. И оно заменяло ему зрение, слух, все — за исключением лап, разумеется.

Маленькая желтенькая шавка Плитка всю свою жизнь считалась дурой и не без оснований: пустолайка и больше ничего. Но то, что было ее пороком, за что она потерпела не мало ругани и пинков, — ее звонкий, как колокольчик, лай, — это в крайнюю минуту неожиданно и сослужило ей службу.

Как они выработали план совместных действий, как обменялись мыслями? Понять было нельзя, но отрицать напрасно: это повторялось много раз, на глазах у сотни свидетелей.

Они все трое шли в лес. Дубина, орясина — как там угодно — Верный, зная, что, как бы он ни искал, все равно ничего не найдет, твердо и спокойно усаживался на опушке. Двое других углублялись в чащу. Полуслепой Шарик, дрыгая, заплетаясь и качаясь, кое-как пробирался по тропинке, нюхал, фыркал, вздыхал. Около него молча трусила Плитка. Дура, так дура. Важное дело! Живут и дуры, не всем умными быть. С дуры нечего и спрашивать: она даже не принюхивала, не искала, а только вертела коротеньким хвостиком. Вдруг Шарик взвизгивал, влзлаивал хриплым, задыхающимся голосом раз, два: больше он не мог. И в тот же миг пронзительно звенел колокольчик пустолайки:

— Нашли! Вот тут он прошел, косою. Ай, ай, ай!

— Вот мы его сейчас. Ай, ай, ай!

Лопоухий русак, слышав визгливый яростный лай, кидался бежать куда попало.

— Тут, тут прошел. Ай, ай, ай!

Эхо откликается на проклятый колокольчик во всех закоулках леса, зайцу кажется, что отовсюду на него бегут собаки. Сломя голову несется косою в тихое поле, выбегает на опушку. Цоп! Как пуля вылетает горбатый серый выборзок, щелкают страшные челюсти, и заяц вместе с собакой катятся клубком по земле.

Верный не успевает съесть еще и половины зайца, как, заплетаясь и задыхаясь подоспевает Шарик и подскакивает, заливаясь лаем, Плитка. Верный рычит, но дает и им есть: как ни глуп, как ни зол, а понимает, что вместе работали.

— Охотнички-то наши опять за добычей пошли, — говорили крестьяне, кивая на Верного, сидевшего серой грудой в опушке леса. — Как-то они зимой изворачиваться будут?

Зимой... Ну, зима им, трем старикам, ничего не готовила, кроме смерти.

РЫБА И КРЮЧОК

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Не следует искать в этой книжке сколько-нибудь правильного руководства к рыбной ловле. Юный рыболлов, несомненно, найдет здесь ряд могущих пригодиться указаний, вытекающих из опыта жизни, но наставлений — никаких.

Обычно книга является плодом «ума холодных наблюдений и сердца горестных замет». Про эту книжку и того нельзя сказать. Наблюдения, послужившие для нее основой, всегда были очень горячи; взрыв чувств скорей, чем «умственные» наблюдения. А сердце... Нет, оно не дало ни одной горестной заметки. Какое горе у рыбака-любителя! Упустил крупную рыбу, зацепил, спутал подпуск, оборвал леску, сломал удилице, вывалился из лодки, промок под дождем. Так ведь все это пустяки. Все такого рода несчастья очень скоро превращаются в приятные воспоминания.

Всегда радостно бьется рыбацье сердце, нет горечи в его волнениях. «Рыба и крючок», не имея в виду научить кого-нибудь чему-либо, ставит единственной своей целью собирать обрывки разрозненных впечатлений, показать их так, чтобы каждый читатель рыбак, пережив прочитанное, сказал:

— Ну, да, Лесник этот половил в свое время в разных местах всякой рыбы. Видно, любил это дело Лесник.

Больше от этой книжки ничего требовать не надо.

О РЫБНОЙ ЛОВЛЕ

Босиком, в одних штанишках в летнее утро на нитке подбросить улейке муху, — вот, несомненно, лучшая рыбная ловля. Кроме коробочки с мухами при ней не нужно ничего, так как наловленная рыба надевается на кулан. Но как только рыбак отходит от семилетнего возраста, возникает вопрос о принадлежностях для рыбной ловли.

Что необходимо иметь рыбаку для успеха его предприятия? Тем, кто намерен приступить к рыбной ловле в глухой деревне и готовить свои снасти дома, надо обратиться, как это ни странно может показаться, к... старым книгам. Незабвенные, полные неувядаемой поэзии «Записки об уженьи рыбы» С. Т. Аксакова содержат лучшие наставления насчет того, как заготавливать удилицы и плести волосяные лески. «Запискам», конечно, лет девяносто. Кто уже ушел от такой простой жизни, стал поближе к городу, а рыбу будет ловить все-таки попросту в захолустной реке с корягами и зацепами, тому множество полезных сведений сообщит «Охотничий календарь», вышедший под редакцией Л. П. Сабанеева лет пятьдесят назад. Тоже не вчера. Что ж скрывать? Новейшие руководства по рыбной ловле, не имея достоинств тех старых книг, тянут из них каждое на свой лад и выходит неважно. Лучше уж обратиться к первоисточникам, тем более, что свойства дерева и конского волоса от времени не изменились.

Итак, на ловлю с цельным самодельным удилищем, с волосяной леской, сплетенной дома! Какой поплавок? Ну, это уже решительно не стоит делать самому: выйдет наверное дороже и также наверное много хуже. Поплавок, как и крючок, надо купить, сообразив, для какой ловли они предназначаются; относительно крючков на крупную рыбу необходимо заметить, что блестящий синим цветом крючок должен быть толст: в огромной его величине нет никакой надобности даже при пудовой рыбе, достоинство же крючка — не прорвать живую ткань, за которую он уцепился.

Нет смысла лить дома грузила и делать блесны: в течение зимы куда угодно пришьют дешевле и лучше, чем удалось бы сделать самому. А наспех все равно выйдет дрянь.

Для помещения добычи нужна сачок — корзинка, закрывающаяся пополам с каждого конца двумя крышками, прикрепленными у ручки корзины. Без сачка напрасно ловить крупную рыбу: она в девяти случаях из десяти уйдет. У рыбака должна быть сумка из двух отделений с карманом, сумка, если не кожаная, то брезентовая: в ней лески, поплавки, грузила, нитки, иголка, бечевка, непременно маленькие ножницы, спички, вся мелочь, которая не должна рассыпаться, ни промокнуть.

И все?

Н-нет. Тут возникает щекотливый вопрос, сколько может рыбак затратить денег на любимую забаву.

Выписка рыболовных принадлежностей из-за границы так хлопотлива, что, пожалуй, с ней не стоит возиться.

И эти принадлежности, в особенности английские, стоят безобразно дорого.

А если денег нет?

Тогда... Тогда остается устраиваться попроще, как кому удастся — по заветам старых книг, приняв великолепные альбомы роскошных принадлежностей лишь к руководству при определении номеров крючков и толщины лесок. Особенно смущаться не стоит. Ничего, ловят и форель на червяка. А на Мурмане преисправно таскают лососей. Про остальных же рыб и говорить нечего.

О РЫБЕЙ ЖИЗНИ

Чувствовать себя как рыба в воде... Эти слова издавна стали обозначать прекрасное самочувствие: бодрое, веселое, свежее.

А между тем рыбе живется уж вовсе не так хорошо, как оно со стороны кажется. Например, взрослому почтенному карпу, достигшему веса в три килограмма, лягушки в припадке полового извращения вцепляются в глаза. Кому это понравится? Такому же карпу землеройка усаживается на голову и, хотя бы он нырял вместе с нею, гнусный всадник вгрызается безмолвному толстяку в мозг. Иногда на голову одного карпа усаживаются сразу два нахальных зверька, но самочувствие карпа оттого едва ли становится лучше.

В пруде, где разводят форелей, их обычно кормят чем-то вроде мясного фарша, нарочно для того заготавливаемого не без разных хитростей. Однако бы-

вают такие времена, что и людям-то попросту нечего есть, какой уж там фарш для рыб. И вот привыкшей к казенному содержанию форели приходится самой промышлять, как бы не околеть с голода. Понятно и простительно в таких обстоятельствах даже красавице-рыбе проглотить какую-нибудь дрянь, но беда в том, что в течение ряда лет все усилия, все заботы, все ухищрения были устремлены на то, чтобы в пруде не существовало именно никакой дряни. Вода чиста совершенно, по верху решительно ничего не плавает, и мухи, любительницы дряни, не вьются грязными роями над прозрачным зеркалом. А того, что лежит на дне, форель не изволит кушать: такой от природы ей дан характер. В столь трудном случае, когда совсем нечего есть, остается закусить лягушонком, благодаря судьбу за то, что эта четырехлапая порода прыгает и плавает везде, где есть какая-нибудь вода. Оказывается, лягушечья кость, тонкая, нежная, мягкая, ничуть не похожа на рыбью: эта даже грубая, толстая, колючая переваривается без остатка, а лягушечья предательски остается в желудке целиком. После полдюжины проглоченных лягушат — где же их там натошак считать, всякий понимает! — положение в животе форели становится странным, затем трудным и наконец угрожающим. Остатки проклятых лягушат распирают внутренности, продырявливают бока, и красавице-рыбе, увы, ничего не остается, как жалко и мертво всплыть брюхом кверху. Вот вам и красота форельей жизни, вот вам и благополучие.

Рыбье хладнокровие опять-таки давно вошло в поговорку. Несомненно, кровь рыбы холодна, но это не значит, что сердце, которое гонит холодную кровь, лишено чувств, бьется всегда тихо, ровно, не сжимается волнением, не трепещет от сладостной муки любви. Какой плеск, какой шум, какая бешеная пляска у рыб при метании икры! Пожалуй, их достаточно для засвидетельствования избытка чувств, ведь нет же необходимости непременно пицать, вздыхать, стонать от страсти. Иной лосось сквозь сотни смертей плывет из моря тысячи километров для того, чтобы на песке неведомой речонки посеять зачатки своих будущих поколений, которые, быть может, к тому же погибнут, не успев даже выклюнуться на свет. Один процент удачного выхода мальков из икры считается в рыболовстве успехом, девяносто девять процентов икры погибает, на воле же дикой икры гибнет еще больше.

Ну что ж, поплескались да расплылись кто куда без мысли, без чувств, без волнений. Конечно, не следует предполагать, что, выметав икру, щука плачет в беспокойстве о судьбе каждой из десяти тысяч ее икринок. Но что-нибудь гонит же огромную рыбу из глубины реки ползком пробираться по узкому протоку на такую мель, где видна ее толстая черная спина. Скопа, белохвостый орел, прилетит и вцепится когтями в эту спину, человек выстрелит в нее из ружья — старая щука все это по долголетнему опыту знает, может быть, не очень отчетливо, но знает и все-таки на мель ползет и спину выставляет.

В реках, впадающих в Тихий океан, можно видеть¹, как огромные рыбы, отыгравшие праздник любви, развешаны водой на корни, на выступы прибрежных камней. Они живы, все эти кеты и горбуши, но они выпустили такой заряд энергии, истратили такое напряжение сил, что не могут хотя бы чуть-чуть по-

¹ Фотография удостоверяет непоколебимо.

шевельнуть плавником. Их подберут хищники, они засохнут и сгниют заживо, если не подспеет, поднявшись, подхватить их и унести дальше следующая волна, — не все ли им равно: они сделали главное дело своей жизни.

Как бы там ни было, у рыб нет никаких забот о семье? Оказывается, и это не так. В теплых водах Дальнего Востока водится маленький сом; его самка мечет самую крупную икру — величиною с лесной орех каждая икринка. И бедный сомик-отец получает такой орешек в рот. Сколько отцов, приблизительно столько и орешков. И без отказа: вертелся тут, ухаживал — где вас там разбирать, — отец или не отец, — получай орешек. Мальчик или девочка у него там во рту родится, будет ли дитя любить своего папу, сомик, надо полагать, о том не мечтает, но самоотверженно не ест все время, пока из икринки не выклюнется новая рыбка, и бедняга доходит до полного изнеможения, иногда до смерти: случается, что новый сомик выклеывается на другой день после того, как окочел чрезмерно любящий родитель. А мамаша в это время плавает где-то далеко и знать ничего не хочет ни о своих супругах, ни тем менее о своем потомстве. Частенько так бывает, да, да.

Сколько мелких, почти незримых паразитов, сосет кровь рыб, таких свежих, чистых всегда — не правда ли? — вымытых в воде.

В жабрах карася, леща живут особые клещики. Широкие толстяки ленивы, но едва ли они спят спокойно, если их за то, чем они дышат, день и ночь грызут, грызут отвратительные паучки. Иногда другие не менее гнусные клещи вцепляются в чешую по широким серебристым бокам. Тогда по рыбе идут белые мутные пятна, глаза рыбы также мутнеют, белеют и — делать нечего — без жалоб, без стонов кувырк кверху брюхом и... куда-то по течению, пока не подберет ворона. Скользящий пестрый налим почти всегда богато обеспечен глистами, иногда ленточными, весьма не безразличными и для человека. В прославленной налимьей печенке часто бывают камни. Во внутренностях разрезанного пополам сига, отличавшегося, повидимому, прекрасным здоровьем, вдруг оказываются какие-то блестящие пузырьки, похожие на жемчуг. Опытная хозяйка спешит выбросить покойного владельца таких драгоценностей и — правильно: это едва ли не те жемчужины, что губят рогатый скот.

Перечислить рыбы болезни много трудней, чем описать всю человеческую хворь. Еще трудней перечислить рыбы напасти, указать, кто из живущих рыбе не враг. Всякий старается ее по крайней мере поймать, а большей частью и съесть. Лягушка, беззубое ничтожество, и та пытается проглотить карпа: удостоверено фотографией.

Нет, чувствовать себя как рыба в воде, — это еще далеко не идеал счастья. Надо на такое самочувствие взглянуть с рыбьей точки зрения, тогда, может быть, оно совсем иначе покажется.

ГЛУШЕНИЕ РЫБЫ

У плоских берегов больших озер, над тихими мелкими заводьями рек, едва схватит воду первый мороз, образуется тонкий прозрачный лед, и, пока он, оплотнев, не помутнеет, не запорошится снегом, — там, как и по всем мелким

озеркам, иногда в течение ряда ночей можно глушить рыбу. Рыба видна сквозь лед. Она стоит неподвижно, часто прикасаясь головой к прозрачной предательской преграде. Ищет ли рыба воздуха, совершаются ли на дне при замерзании воды какие-то перемены, выгоняющие рыбу на поверхность? Предполагать легко что угодно, узнать наверное что-нибудь — трудно, но, несомненно, что даже такие донные жители, как окунь и налим, для чего-то, пока не уйдут в ямы, стоят, чуть ли не приткнувшись головами ко льду. Вот тут достаточно умелого удара «кийком» по льду, чтобы оглушенная рыба перевернулась спиной вниз. Замечательно, как по воде оглушает удар: крупная рыба, стоящая иногда сантиметров на сорок от поверхности, все-таки всплывает, хотя бы на миг, без сознания. Легкий топорик должен действовать тут мгновенно и с умом: не рубить лишнего льда, когда каждый удар дороже денег, не беречь его чересчур, чтобы не оказаться перед рыбой, не пролезающей в прорубь: она должна быть вырублена как раз в меру по рыбе. Добавочная разрубка почти всегда кончается тем, что опомнившаяся рыба уходит.

Вынимают рыбу сачком, ни в коем случае не руками. Мало-мальски крупная рыба, схваченная рукой, непременно вырвется, скользкая ледяшка, из ступающих в ледяной воде пальцев. Сачок делается плоским, то есть не глубоким, из прочной сетки, способной выдержать и такую работу, как выкидывание нескольких кусков льда.

Легкость и тяжесть в кийке должны согласовываться. Палка сосновая, легкая, сухая, гладкая в полтора метра, а набалдашник в сантиметров двадцать пять из дубового или березового полена. Удар кийка, проламывающий лед, никуда не годится. От слишком легкого стука по льду никакого толку не будет. Набалдашник должен в намеченную точку не врезаться впопыхах, кое-как, краем, а бухнуть уверенно, тяжело, сосредоточенно — при свете факела, пылающего красным огнем. Факелы заготавливаются, высушиваясь с лета, из смолистых сосновых пней. Верхушки их смазываются несколько раз нефтью и проверяются на вспышку: один загорелся от спички, сторел ярко — значит, ему подобные, не попав в сырость, окажутся не хуже. Без десятка испытанных факелов нет смысла идти в зимнюю темь.

Опасное дело эта красивая, интересная охота. Провалиться в прорубь, устроенную своими руками, очень просто, но неприятно. Если от удара кийком подо льдом забегали пузыри, не только под набалдашником, а широко в разные стороны, то спешите к берегу во все лопатки, рыболовы! Тут провал неизбежен: лед «ухнет» и погрузится в воду большим обломком вместе с теми, кто стоял на нем — один с кийком, а другой с факелом.

Человеку, достигшему лет тридцати и веса в шестьдесят килограммов, на эту охоту лучше не ходить: «вмокнет» наверное. А поджарым, юрким, юным, идя на глушение, надо тщательно одеться, — так, чтобы все было и тепло, и легко, и свободно: в особенности валенок должен быть тонкий, мягкий, нежный (катанок), не отнимающий гибкости у ноги, когда она вдруг почувствует, что пора удирать с затрещавшего, запузырившегося льда.

КОЛОТУШКА

Кухонные соображения для охотника значат не много, но, несомненно, каждому станет досадно, если крупная рыба потеряет свой вкус, пролежав сонной несколько часов. Разница в вкусе между рыбой уснувшей и рыбой, убитой немедленно после того, как она поймана, — резкая. Просторный садок, куда можно было бы поместить рыбу до окончания ловли, имеется очень редко. Щуку, лосося гораздо удобнее брать багром, а не сачком, что при крупных размерах (выше 4 кг.) совсем не годится; после багра в бок много не наплаваешь. Повреждения от крючка также бывают значительные, и в садке рыба большею частью уснет. Наконец из садка все равно рыбу придется вынуть и... убить.

Итак, неприятно это признать, но колотушка рыбаку необходима. Устройство ее, материал, размеры? Конечно, колотушка — это не железный молот в пуд. Пол-аршинная березовая палка в два пальца толщины, с утолщением на одном конце — вот колотушка. Надо научиться бить этой палкой так, чтобы не мучить напрасно и не обезобразить рыбу.

Удар должен быть короткий, резок, сосредоточен. Ведь можно, например, ударить щуку так, что челюсти у нее раздробятся, а изуродованная рыба долго еще будет биться. Рыбак не мучит и не обезобразит рыбу. Особой силы от него не требуется: достаточно одного твердого и точного удара повыше глаз и со щукой кончено.

Чтобы не мучить рыбу своей неумелой рукой, рыбак должен предварительно выучиться правильному удару на глиняном комке, на картофелине, на яблоке, на куске стекла или песчаника.

Когда рыбак приобретет уже правильный удар, то ему достаточно будет только один раз стукнуть, иначе, плохим ударом, заставишь мучиться и обезобразишь прелестную рыбу.

Лосося нужно бить по его крутому лбу твердо, но осторожно.

Как форель, так и лосося, а также всех похожих на них рыб следует крепко держать за спину левой рукой, а колотушку в правой.

Сома (до 30 ф. — соменок!) приходится буквально оседлать, усестся на него, словно на лошадь, и изо всей силы ударить колотушкой по его широкой голове. Если дело происходит в лодке, то надо остерегаться, как бы сом, согнувшись, не сбросил в воду оседлавшего его рыбака.

В нескольких рыболовных книгах, которых называть я не хочу, мне пришлось прочесть, будто сома, подведя к лодке или к берегу, убивают топором, багром, не знаю еще чем. Такой совет может дать лишь тот, кто не видал, как ловят сома. Никаким ударом нельзя убить эту сильную и живучую рыбу, у которой скользкая плоская голова, не имея опоры, легко погружается в воду. Неужели это неясно? Конечно, можно острым топором прямо раскроить сому голову, но даже смертельно раненая рыба все-таки уйдет, чтобы стать добычей ворон. А разве в этом цель рыбака?

Единственная рыба, мучения которой не прекратишь колотушкой, это — угорь. Он двое суток будет вертеться, извиваться, ползать по лодке, не пропуская случая выскользнуть. Неопытный рыбак может долго бить угля по голове,

но только раздробить ее, а смертельно раненая рыба все еще будет трепетать. Покончить с угрем можно лишь так: наставить нож в ямку над хвостом угря и резко, твердо ударить рукой по ножу.

В остальных случаях, то есть когда рыбак встречается с другими рыбами, он должен научиться владеть колотушкой, чтобы не мучить зря рыбы и сохранить все достоинства своей крупной добычи.

ПЕРЕМЕТ И ПОДПУСК

Обе снасти на словах, в рыболовно-любительской литературе, издавна клеймены презрением как орудия промышленного лова. На деле же едва ли найдется любитель рыбной ловли, который отказался бы ими пользоваться: без них, по правде говоря, очень часто почти как без рук.

Основная мысль перемета и подпуска одинакова: длинная бечевка, к которой привязано много тонких с крючками. Перемет ставится поперек течения реки или в озере, подпуск только по течению; для перемета лодка почти необходима, подпуск можно ставить и с лодки, и с моста, и с баржи, стоящей на якоре, в редких случаях даже с берега.

Перемет поглубже подпуска, он делается действительно из бечевки, иногда довольно толстой (о сомовьем перемете речь особая), лишь колена плетутся из волос. Можно и колена делать из тонких бечевок, но такие путаются, слишком тонкие непрочны, потолще — грубы, плохо держат крючки и приличная рыба на них не идет. Итак, к бечевке в карандаш толщиной привязаны через метр-полтора друг от друга колена из белого волоса, длиной каждое в 75 см. На тех коленах, которые будут поближе к берегу, крючки №№ 6 — 3, на средних же, которые лягут по дну реки, крючки покрупнее. На крючках мелкие червяки, на крупных живцы или мертвые рыбки. Затем один конец перемета закрепляется на берегу (всего лучше за нарочно вбитый прочный кол), а с другим медленно отъезжает лодка, спускает постепенно заранее приготовленный на корме кольцами лежащий с насаженными крючками перемет, достигает другого берега, опускает с грузом последний крючок, а от перемета передает на берег веревку для привязи. Очевидно, что ширина реки должна быть точно измерена заранее. Очевидно также, что ставить перемет можно и не через всю реку, а лишь через часть ее, например, от баржи к берегу, между двумя баржами и так далее. В особо благоприятном случае, например, через узкий залив, перемет ставится и без лодки.

В реке Нарове я переметами от баржи к берегу очень успешно ловил угрей — случалось, по десятку на каждый из пяти переметов. Огорчало меня только то, что угри попадались все маленькие, немногие толще пальца и все мертвые. Не очень весело вытаскивать этаких перекрученных, удушенных в волосяных петлях покойничков.

— Много спишь, — сказал мне опытный рыбак, когда я поведал ему свое горе, — нижних крючков совсем не находишь. То-то и оно: как только свет чуть блеснет, крупный угорь, взявший на рыбку, отрывает крючок, а мелочь начинает вертеться и к утру удавливается.

Я пришел к переметам ночью и унес домой корзину крупных угрей, один был в руку толщиной. Под осень и также в полночь там же на перемет я поймал налима, печенка которого едва уложилась на тарелку.

Нравы угрей и налимов, вероятно, и в других местностях те же. Перемет — снасть преимущественно ночная, хотя даже в прозрачных водах Вуоксы пониже знаменитой Иматры среди бела дня случалось с перемета вынимать великолепную добычу. Сиг в семь фунтов на червяка, на переметишко, кое-как наскоро связанный из десятка крючков и поставленный на мели, к которой с удочкой не приступить, — это исключительная, незабвенная добыча. Было бы черной неблагодарностью не ценить подобную снасть.

Подпуск может оказать серьезные услуги в более трудных случаях. Он может утешить рыбака там, где рыба «настрекана», где каждая крупная щука, каждый порядочный судак чуть ли не в лицо знают охотников на них.

Рыболовы, расставив свои снаряды, сидят по берегу через каждые полсотни шагов. Пустить еще один поплавок на зеркало заводи, закинуть через отмель еще донную с колокольчиком. Зеленые, красные спокойно подрагивают поплавки, колокольчики донных не звонят. Рыба есть, она ходит, плещется, но не берет. Вот тут выехать на середину реки и поставить три-четыре хороших подпуска — это дело, несущее надежду на успех.

Хороший подпуск плетется из белых волос весь: и «бечевка», и колена — бечевка волос в 12 — 25, колена — в 6 — 3. Крючок крупный № 1-00 пускается на баске у пробки: там на живца иногда хватает бегающий по верху хищник. На противоположном конце подпуска, у гири, также можно пустить несколько крючков № 2 — 3, а большинство их, висящее дугой по течению в середине реки, рассчитано на нехищную рыбу, иногда на мелочь. Больше тридцати — сорока крючков на подпуск ставить хлопотливо и неудобно, значит, длиннее 40 м. делать «бечевку» не надо. Итак, на дальнем конце пробка, на ближнем — гиря, от гири к руке действительно бечевка, толщиной в карандаш, и готово.

Да, подпуск готов, но ставить его надо уметь. Наполнить порядочный мешок песком (около пуда), привязать этот мешок на веревку и, выехав на удобное место, опустить мешок в воду, как якорь, — это довольно просто. К веревке привязывается острый конец наплава, кола, окрашенного в яркий, лучше всего в красный цвет, и наплав спускается на воду острием против течения, — это также не мудрено. Затем надо сообразить, куда и как бежит вода, — это уже сложнее — надо знать, нет ли тут зацепы, коряги, камней, ила, водоворота. Очень неприятно убедиться, что подпуск, повидимому, так гладко, так постепенно, колена за коленом унесенный течением, вдруг в виде спутанного комка оказывается под лодкой: это — водоворот. Ушедшие в ил крючки никакая рыба не тронет. Еще хуже, если несколько крючков подпуска прочно вцепятся в дуб, полузанесенный песком на дне обрыва: тут дело пахнет потерей нескольких колена по крайней мере. Но если место выбрано удачно, подпуск спущен весь и пробка благополучно видна на надлежащем расстоянии, то булькает, погружаясь, гиря, бечевка от нее привязывается к тупому концу наплава, лодка отъезжает: подпуск поставлен.

— Дурак, — кричат с берега, — разиня, ты смотри, где нос-то у тебя.

Обидная речь идет, конечно, о носе наплава, который поднялся кверху: бечевка от гири оказалась коротка. Это неприлично, это позор. Наплав должен лежать ровно, стрелой, не зарываясь, не высовываясь носом.

Тщательно расставить и осматривать пять таких подпусков — очень большой и напряженный труд, иногда вознаграждаемый щедро. В течение теплой летней ночи одних ершей навешается с сотню.

Подпуск дело гораздо более тонкое, чем перемет. Его надо осматривать через час — два, не больше. Синец, подуст, лещ, язь берут тихо, насадку не глотают, на крючке долго сидеть не любят, держатся чуть-чуть.

И держа сачок наготове, осторожно вынимай свой наплав.

Когда в лодке двое, это пустое дело: один хватает наплав за острый его конец и вытаскивает его в лодку, другой, сидящий на корме, вытягивает гирю и «слушает» рукой. В случае сильного толчка он, складывая кругами, выбирает подпуск, подводит рыбу к борту и тот, что на носу, подцепляет ее сачком. Затем подпуск оправляется, то есть объединенные на крючках насадки заменяются свежими, что очень скучно, но неизбежно. Одному с наплавом надо ухо держать востро: схватить наплав, укрепить его в носу лодки, а самому, поддерживая бечевку от гири, перебежать на корму, не запутаться, не упасть, не перекувырнуть лодку, — все это не так-то просто. Но, испытав все эти неприятности, а главное, «прозевав» так две-три крупных рыбы, человек приобретает опыт и... убеждение в том, что ловля рыбы подпуском дело довольно сложное, требующее терпения, настойчивости, искусства, но очень приятное для любителя дело.

Ставить подпуск с неподвижной точки гораздо проще, чем с наплава. Тут обычно вся «штука» в том, как подвести крупную рыбу. Корма лодки так близка к воде, что рыбу легко достать сачком, а спущенный с моста, с баржи подпуск при подтягивании неизбежно высовывается из воды далеко: мелочь, конечно, провисит на колене, а лещу с поднос величиной как же быть, ему висеть неудобно. В таких случаях легко видеть сумасшедшие поступки: лезет человек на мокрые, скользкие бревна плавучего моста, цепляясь кое-как одной рукой, пробирается по боку баржи, виснет вниз головой, чтобы только подсчитать дорогую добычу. Это не промышленность, это чисто охотничьи нелепости, это безумие страсти.

Ловля как переметом, так и подпуском полна разнообразия, интереса и может быть очень добычлива — иногда как раз в тех случаях, когда на удочку рыба не идет ни на какую приманку.

РАК

Речка Ревна не обозначена ни на какой карте. Она течет где-то в глуши брянских лесов. Из каких ключей она берет начало, куда впадает, я не знаю, но воды, более прозрачной, чем в Ревне, мне видеть не пришлось и лучшей воды я не могу себе представить. Она не очень холодна. Быть может, поэтому в ней нет форели? О хариусе в тех местах никто не слыхивал. Самые простецкие рыбы в Ревне: летом — окунь, щука, плотва и ерш; зимой бывает налим. Больше никаких нет, да и те не очень крупные, щука в пять фунтов редкость; попадается,

впрочем, окунь до фунта. Зато там с купальни у крутого берега выдвигалась над водой широкая толстая доска нарочно для того, чтобы, лежа на ней, высунув только голову, подглядывать разные подводные разности. И я видел... много.

Кроме всего прочего, оказывается, совершенный вздор, будто рак только пятится назад. Он очень бойко расхаживает по дну как ему нравится, в том числе и вперед. Рак плавает великолепно, чего я от рака почему-то уж никак не ожидал. Рак, слегка поводя клешнями, идет, как все ходят — прямо вперед. Смотрят ли на что-нибудь всегда неподвижно выпученные рачьи глаза? Что рак видит, какое у него о том мнение? Тут сказать что-либо трудно и с человеческими заключениями тут не надо спешить. Несомненно то, что спокойно идущий по дну рак вдруг, без малейшего видимого усилия, без всякого движения клешни или хвоста, стремительно всплывает кверху на аршин, на полтора и почти торчком несется вполводы против сильного течения, как отличный пловец. Он перевертывается то одним боком вперед, то другим, не размахивает бестолково клешнями, не хлопает зря хвостом, он ими правит, летит, имея гнусно-мрачный вид, но летит в воде, как рыба. При помощи каких средств? Плавательного пузыря у него нет. Рак свободно и легко поднимается со дна торчком к поверхности воды. Зачем? Подышать воздухом? Он откуда-то набирает его много и так, без всплывания, и иногда, опять-таки без видимых причин, начинает его выпускать. Тогда от рака, хотя бы он стоял на месте или шел по дну на саженной глубине, бегут и быстро-быстро выскакивают на поверхность прозрачные пузыри и там лопаются, чуть слышно урча. Вот на основании такого зрелища человек на берегу имеет право заключить, что тут, под пузырями, — рак, хотя бы его и не было видно.

Подойдя, как всякому пешеходу полагается, на ногах к червяку, висящему на удочке, рак спокойно стаскивает его с крючка клешней. Поплавок удочки при этом, конечно, прыгает, иногда тонет, рыбак поспешно выхватывает удочку — ничего! Пока его тащат, рак разжимает клешню и, опустившись камешком на дно, продолжает путешествие, прерванное неудачной попыткой на закуску. Изредка рыбак, поспешно выхвативший удочку, видит мелькнувшую у поверхности воды рачью клешню в тот миг, как она разжимается, покидая предательскую приманку. Еще реже удается, подцепив, выбросить рака на берег: это случается при очень уж большой осторожности рыбака и значительной промашке со стороны рака. Там, где раков много, ловить рыбу на удочку не стоит: раки стащат и съедят все приманки, сами не попадутся, а рыбака изведут ложными поклевками впусую.

Зато в рачню эти усатые пожиратели падали, эти пучеглазые, как будто бы хитрые воры набиваются глупее глупого, точно слепые.

Конечно, прекрасно, если для рачни есть железный обруч или отрезок толстой проволоки, согнутой в круг, есть мелкая металлическая сетка, чтобы покрыть этот круг. Такая восхитительная рачня сама тонет, без груза, ложится ровно, для раков не заметна. Это мечта, а не рачня! На Ревне подобная прелесть вызвала бы изумление, восторг и наверное драку. К счастью, там, на берегах прозрачной речки, отлично обходятся и без таких роскошей, а для рачни берут обыкновенный рябиновый или осиновый обруч, перетягивают его в решетку по

всем направлениям лыком — за отсутствием даже бечевки — и, привязав к нему мочалками камни, опускают на дно. Без приманки? Ну, нет. Рак любит тухлятину, падаль. В деревенской глуши над этим подумаешь. Мяса там нет, прокисший хлеб рака почти не привлекает, на молочную кислятину рак совсем не идет. Остается рыба; ее очень неудобно мочалкой привязывать к рачне. Не привязывать нельзя: раки прежде всего стараются утащить приманку. Они дерутся из-за нее, большие отталкивают, уцепив клешней за хвост, или за клешню стаскивают тех, кто помельче, теснятся отвратительной кишасей грудой, покрывая прикрепленную к рачне рыбку. Сосут они ее, гложут, щиплют на куски клешнями? Не рассмотреть в жадной толкотне. Очень скоро от рыбки остается лишь костяк, а усатая толпа стервятников начинает расползаться кто вперед, кто назад. Это, значит, рачник прозевал. Если он теперь потянет рачню кверху, то даже запоздавшие обжоры проворно всплывут и — рачня пуста. Обычно, однако, рачник знает свое дело. Он в точности, когда нужно, вытаскивает бесхитростную ловушку. В Ревне видно, когда пора тащить, а в более мутных водах — там делается по какой-то догадке, по опыту. Спешить нельзя: сразу только мелочь напозвет. Надо подождать полчаса, иногда с час, тогда настоящий трехвершковый рак будет. Прозрачная Ревна объясняет, в чем тут дело. А как узнали это на берегах Колокши, в мутной воде которой рака также видимо-невидимо?

Можно ли представить более наивный прибор для ловли, чем неуклюжая рачня? А вот такими деревянными обручами, переплетенными лыком, по Ревне дня за три налавливали раков на вагон и, уложив в плоские корзинки со мхом, отправляли живыми в Москву.

Несколько лет назад во многих реках средней полосы раков истребила чума. За Ревну я не беспокоюсь: если там и передохли раки, то все-таки скорей, чем где-либо, в Ревне должны они снова развестись — такая была там рачья сила. Уйма грязных трупоедов в воде, прозрачной, как слеза. Откуда, почему?

Речной рак бывает до шести вершков в длину. Я таких великанов рассматривал только вареными. Говорили тогда, что они с Волги; я все-таки их не ел.

В аквариумах ленинградских магазинов я видел живыми небесно-голубых раков. Где ловятся такие красавцы — выяснить не удалось.

Вид их замечательно отвратителен: к подводному вору, к стервятнику, пожирателю мертвечины пристал его погребальный мрачно-серый цвет и вовсе не идут лазурные оттенки.

УКЛЕЙКА

Там, где блестит мало-мальски чистая и хотя бы слегка проточная вода, везде водится маленькая серебристая рыбка. Она стаями резвится у самой поверхности, за что кое-где ее зовут верхоплавкой, верхоглядкой, иногда называют ее синявкой — есть в ней какой-то лазурный отблеск, когда живо-живо бежит в воде, пронизанной лучами солнца. Это — уклейка. Почему она так, уклежкой, называется, понять нельзя. Какой там клей. Признаков жира в ней нет, никакого вкуса, даже рыбьего запаха мало. Говорят, будто в продаже встречается копче-

ная уклейка. Некопченую уклейку едят — не знаю, в каком виде — только в тех местностях, где нет совсем никакой рыбы. Туда привозят ее с Ильменя и с Ладоги, где она валом валит, где ловят ее пудов по тридцать — сорок в тоню мелкоячейного невода (сшивки). В безрыбных местах меняют ее на хлеб: там, на безрыбьи, ее съедят. Обычно же и кошка уклежкой брезгует.

Никуда не годится уклейка. Дряннь, значит, она, не стоит ее ловить. О, нет. Уклейка будит в человеке рыбацкую страсть, милейшей рыбке посвящается первый трепет охотничьего сердца. Переживая шестую-седьмую весну своей жизни, рыбак, идя на ловлю, мысли не имеет о том, что он свою добычу будет есть. Он мечтает лишь, как бы поймать, и уклейка скорее всех клюнет на на его бесхитростную удочку. Крючок и нитка... вот и вся снасть. На живую муху, дрыгающую лапками, уклеики кидаются стаей. Мертвая муха, половина мухи. Ничего, давай сюда. Обрывок червяка, сухая крошка хлеба, щепочка. Тюк. Точно клевок крошечной птички дергает за приманку, и серебристый воришка светлой стрелкой несется в темноту глубины, через миг, сверкая, появляется вновь, опять клюет и опять удирает.

Щепки уклейка, конечно, не ест. Но если щепочка светлая, уклейка все-таки ее клюнет раз и больше не трогает. Хлебную крошку стайка уклеек гоняет и щиплет не особенно охотно. На муху же, на одну муху можно выловить десяток уклеек. Пожалуй, проще насаживать каждый раз свежую муху. Разве уж такая драгоценная муха. Не в том дело, мух много. Рыбак, идущий на ловлю именно уклеики, конечно, несет достаточный запас насадки, любимой его рыбой; у такого рыбака имеется пузырек, коробочка-жестянка из-под ваксы, где смутно копошится множество мух, лишенных голов, чтобы не разлетелись. Тут что их беречь, клюй, уклейка, за мухами дело не станет.

Но для рыболова, готовящего крючок на крупную добычу, иногда может неожиданно возникнуть надобность в уклейке.

Случается так, что черви все истрачены, хлеба нет ни крошки и живца ни одного. А вода как зеркало, ясно сияет полдень. На перекате плещутся, пуская круги, какие-то не то шерешперы, не то головли. Туда запустить бы серебристого живчика. Да и под куст, свесившийся над тихой глубокой ямой, недурно бы поставить жерлицу: там хватит окунь.

Вот тут подумаешь, как как расправлять крылья у мертвой мухи, смятой поклевкой. Муха на берегу редкость, да и где ж там ловить их, мух, — рыбу надо ловить.

Уклейка хватает любимую приманку скорей и попадаетея проще, чем какая-либо другая рыбка — в этом ее главное и, пожалуй, единственное достоинство. Живец уклейка неважный. Она скоро засыпает на крючке при всей осторожности, при всем искусстве рыбака, прицепляющего ее, хрупкую рыбку, за губу; насадки за спинку она не выдерживает ни на минуту.

Так насаживать уклейку можно лишь для окуня — тот ее, серебристую, даже и мертвой берет охотно, без осечки. К осени, когда особенно жадно начинает брать крупный окунь, есть расчет ловить уклейку на кусочек червяка со дна над быстринной: она клюет со всеми своими плутовскими повадками. Тюк. И скорее тягу. Подсекать надо при первой дрожи крошечного поплавка.

Не хуже окуня уклейку взял бы, несомненно, налим, но, к сожалению, с ним уклейка никогда не встречается. Весной, едва резвые стаи лазурно-серебристых рыбок побегут по просветлевшей воде, налим перестает брать на самые лакомые приманки, не только на тощую уклейку. А осенью, когда налим начинает «жрать» что попало, уклейка исчезает — нигде ее не видать. Щука уклейку, по моему мнению, не любит.

ПЕСКАРЬ И ЕРШ

Сам по себе пескарь, на мой вкус, не представляет никакого интереса.

Пескарь тихонько тянет червяка, висящего недалеко от дна, причем — этакая дрянь — очень неохотно берет обрывок червяка: подавай ему целого, с хвостом. Он теревит этот хвост и, оторвав, удирает. Но если червяк опытной рукой насажен так, что жалко крошечного крючка скрыто именно в хвосте червяка, пескарь забирает его в рот, дает настоящую поклевку и трепещет в воздухе, ничтожная рыбешка, без малейшего сопротивления.

Пескарь не веселит взор рыбака как уклейка-верхоплавка. Лишь изредка в полдневном сиянии удастся подметить, как по золотистому песку отмели торопливо, точно мыши, шныряют какие-то узкие тени: это пескари, пять-шесть, десятков пескарей. Они не подходят к лодке неисчислимыми стаями, как то делают мелкие окуни. Нет, решительно пескарь ничего не стоит. Однако есть лица, утверждающие, будто уха из пескарей вкусна. Рыбаки даже говорят, что пескарь сладок. Должно быть, так, судя по тому, что судак и щука любят пескаря, предпочитая его всем своим живцам. Тонкий хилый пескарь слабо исправляет печальную должность живца: он бойко и заманчиво носит сравнительно крупный крючок, но недолго: он скоро засыпает. Наверное, он, узкий, мягкий, вертлявый, понравился бы даже сому, но слишком уж он мал, пескаришка, для сомовьей уды.

Однажды я поймал пескаря длиною в три вершка с лишком, но это единственный случай в жизни, обычно пескарь вершок и даже меньше. Ловить пескарей на уху — их нужно сотню. Во всяком случае скучно; для щуки или судака пескари с удочки не всегда годятся. Взлететь на крючке в воздух, оттуда шлепнуться на берег и после тисканья в руках попасть уже на большой крючок в качестве веселого живчика — нет, на такую штуку не у всякой рыбки хватит способностей даже при крепком сложении.

Пескарей неповрежденных гораздо проще, чем на удочку, ловить бутылкой. В глубину бутылку опускают на бечевке, а на отмели, зайдя по пояс в воду, можно положить руками пробкой против течения. Противоположный конец бутылки должен быть просверлен гладко без зазубрин настолько, чтобы в дырку мог пройти пескарь. Чем прозрачнее бутылка, чем глубже вдавлено конусом ее дно — тем лучше. Можно в бутылку положить несколько червяков, но это, кажется, не имеет значения: пескари для чего-то заходят и в пустую бутылку по пять-шесть разом, всем табунком, как они шатаются по отмелям.

Для нижних крючков подпуска пескарь — проклятие. Ощиплет, негодяишко, все хвосты у червяков, а сам не попадет: червяк туда насаживается крупный не для пескаря или тому подобной мелочи.

Вот ерш — тот нахально треплет всякую насадку, для кого она ни была бы приготовлена, и, если она влезет ему в рот, ерш заглатывает ее тут же прямо, просто, наглухо. Это, пожалуй, еще хуже, чем пескаринные плутни: стащить ерша с крючка не очень просто.

Уха из ершей великолепна, бесспорно. Но что до того рыбаку. Уха где-то там, в отдалении, а тут беда: вешаются эти пучеглазые разбойники на все крючки, приготовленные для порядочной рыбы.

В озерах Зауралья на особом корме (мармыш — мелкий рачок) ерш достигает диковинных размеров и веса до двух фунтов. Случалось видеть замороженными таких ершей — это скорей похоже на судака. У нас на фунт идет «хорошего» ерша штук восемь — десять, а большей частью он мельче, надоедливый, мешающий серьезной ловле.

Но презренная мелочь, ерш, может постоять за себя, он имеет крупные достоинства.

Ерш начинает вешаться на крючки, как только солнце склонится к краю земли и тени вечера лягут на воду. Он прицепляется добросовестно, накрепко, и, если по реке стоит пять порядочных подпусков, то рыбак, стаскивая с крючков пучеглазиков, щетинистых, облепленных слизью, бранится, ворчит, а все-таки в течение летней ночи незаметно наберет ершей... ведро. Это, как уже сказано, вернейшая превосходная уха, за это нельзя не поблагодарить ерша.

Иногда крупная рыба не берет ни на что. В золоте сияет безоблачный закат, пурпурные отблески зари горят в зеркале воды, рыба ходит, пускает круги, а поплавки неподвижны, и колокольчики донных молчат. И ничего сделать нельзя: нет клева — и кончено.

Тут утешить может ерш. В илистой тиши озера, в загоне реки он просто и ясно берет на все, что ему ни кинут, лишь бы насадка упала на дно. Обрывок червяка, муха, кусок кузнечика — цоп. Ерш поднимает свои колючки, горбатый малыш упирается гораздо сильнее, чем можно ожидать от такой мелочи. Хлеба он не любит, но в крайнем случае — ну, что же делать, если ничего, кроме хлеба нет — ерш берет и на хлеб с обычной своей прямою.

Существует мнение, будто бы ерша от хищных рыб очень охраняют его щетины. Может быть, в воде оно так, — кто их там разберет, кто кого и как именно глотает в водной глубине. Посаженный на крючок ерш очень хорош в трудной роли живца. Он вынослив необыкновенно, способен бегать с крючком в губе сутки, двое, пока кто-нибудь его не проглотит. И любят его, ерша, в конце концов все. Щука на ерша идет охотно, если у него подрезана щетина, что маленькими ножницами делается очень просто. Налим, даже очень крупный, ерша берет как угодно: живого, мертвого, со всеми его колючками.

Ерш — хищник. Он не только вор, треплющий червяков, приготовленных не для него, — это еще куда бы ни шло, — нет, ерш нагло жрет икру всех рыб, не исключая собственной. Ерша надо истреблять, ловить, тем более, что... ловля его, как уже сказано, не лишена разных приятностей.

ЕЛЕЦ И ПЛОТВА

На Клязьме, когда-то прекрасной, чистой и до сих пор очень быстрой, хотя теперь уже обмелевшей и загрязненной реке, извиристо протекающей через всю длину Владимирской губернии, есть много затонов, то есть узких полос воды, обращенных в сторону, противоположную течению реки. Вода в затомах почти всегда стоит, поверхность ее обычно покрыта листьями кувшинок.

На подпуск, поставленный против такого затома, в течение дня непременно попадались две-три рыбки, похожие складом на уклейку, но с каким-то розовым отблеском. Плавники ли у них такие, окрашен ли слегка так хвост, самая чешуя их плотная, мелкая, серебристая так блестела, — всегда красавица рыбка розовела как заря, хотя ловилась, случалось, в полдень. И почему-то, как-то (конечно, совпадение) каждая рыбка такая всегда была ростом в четыре вершка. Уклейка такой не бывает. Это — елец.

Самостоятельного значения у него, для меня по крайней мере, не существовало никакого: всегда так, между прочим. В живцы он великоват, хотя очень боек и силен; там, где можно рассчитывать на очень крупную щуку, он хорош, хотя пескарь всетаки лучше. Какой вкус у ельца, не знаю; подозреваю, что плохой.

Злоумышляя на окуня и закидывая крючок с красным червяком под широкие листья водяных лилий в затишье реки, я нечаянно много раз ловил ельцов. То ли, что ждал я пучеглазого рвача-окуня, то ли, что ельцы как насмех попадались всегда в точности одинаковые, я встречал появление ельца довольно холодно: «Ну что ж, так — рыбка, между прочим. Не бросать же». Охоты нарочито на ельца я не предпринимал никогда.

Еще красивей, чем елец, и, пожалуй, еще бесполезнее плотва. Это очень дешевая рыба. Ее, бывало, предлагали в открытых буфетах, на станциях железных дорог, на пристанях, вообще проезжому, поспешно что-нибудь жующему человеку, имеющему истратить на всю закуску скромную сумму копеек пять-шесть. В сметане или хотя бы попросту в муке плотва соблазнительно шипит на сковородке: жареная свежая рыба. Но если, обсосав такую рыбу, человек не подавился предательской мелкой костью, то он уже должен быть благодарен: спрашивать больше тут нечего. Рыбий запах был. Ну и довольно.

Уха из плотвы горька так, что решительно никуда не годится.

Если поплавок небольшой удочки, закинутой у травы, то ляжет, то встанет, то, пуская кружок за кружком, трясет, болтается туда-сюда, — тогда даже неопытному рыболову ясно: плотва пришла и юлит около червяка. Когда ей не удастся, оторвав у него хвост, удрать и крючок ее зацепил, серебристая красноглазая шалуня, трепеща красными плавниками, сдается мгновенно: сил для сопротивления у нее, плоской, продолговатой рыбки, нет.

Плотва, впрочем, не так любит червяка, как хлеб. Она охотно берет на шарик, смятый вокруг крючка из простого черного мякиша без всякой подмеси. Не имея возможности трепать хлеб, как червяка, плотва хлебный шарик щиплет.

На хлеб с маслом, с медом, с духами, на такой сдобренный хлеб в воде найдется не мало охотников (указанных каждый в своем месте), но на один черныи хлеб — любительница только плотва. И это, пожалуй, единственное ее достоинство, очень, конечно, скромное.

Живцом плотва служит бодро, долго, сильно, видна далеко, колючек не имеет. Прекрасный живец. Все так, возразить нечего. А берут плотву вяло. Если что другое тут же есть, то плотвы не возьмут. Почему, — понять нельзя. Хищники за плотвой, несомненно, гоняются. Четыре раза ко мне в лодку вскакивала рыба, и каждый раз это была плотичка вершков трех-четырех, и каждый раз поблизости слышался могучий всплеск, расходился огромный круг по зеркалу озера, наполненному пурпурными отблесками заката. Значит, кто-то ловил плотву. Или... или принимали ее за другую, более съедобную.

Там, в озерах и реках средней полосы мне не случалось видеть плотвы более полфунта. На взморьи под Ленинградом у Петергофа на перемет, наживленный мякотью ракушки, под осень обильно ловится плотва в килограмм. Я эту ловлю видел и необыкновенно крупной плотвой любовался хладнокровно; богатой добыче, не знаю почему, не позавидовал. Вероятно, старое вообще против плотвы предубеждение.

ПОДУСТ И ЯЗЬ

Мне никогда не приходилось слышать, чтобы кто-нибудь при каких-либо обстоятельствах насадил на крючок подуста как живца. Такая ясная, видная, бойкая рыбка и в пренебрежении... Должно быть, не годится. И в желудках крупных рыб подуста я также не находил: должно быть, рыбы его не едят.

Вареных подустов я видел не раз, они всегда имели очень плохой вид, и уха из них, из подустов, я не пробовал, хотя, что же скрывать — на берегу у костра приходилось есть всякую дрянь. Поступает подуст в продажу, какая на него цена? Старался узнать, но не узнал и подозреваю, что подуст совсем не продается, так как ничего не стоит.

А жаль. После уклек, окунишек, пескарей подуст первая фунтовая рыба, потрясающая не только удочку, но и сердце юного рыболова. Подусту нужно чистое песчаное дно и немного быстрой воды. Достаточно, чтобы пол-аршинной глубиной неслись над песком даже не слишком прозрачные струи, — он тут, подуст, белый, яркий, красноперый, толстоносый, резво берущий червяка. Едва сбросит, бывало, Клязьма лед, на городском мосту выстраиваются в ряд два-три десятка рыболовов и ко всем — и к малому, и к старому — идут на удочки подусты. Доверчив подуст, простак, а различает, кто его ловит. Иной хитрый старик дюжины три натаскает толстоносых подустов за одну зарю, к мальчишке же два-три попадетса в то же время и тут же. Если рассмотреть, то окажется, что на мальчишкиной удочке около крючка узелок, махры какие-то висят, грузило неровно, привешено кое-как, отчего крючок кривит, поплавок ковыляет. Стариковская же удочка выверена, испытана десять раз, на ней все в порядке. Ну и подсечка старика резка, тверда, своевременна и осторожна. Подусту все это известно, так он и различает. Одного подуста я поймал в три

фунта, это дядя вершков на двенадцать, подуста меньше трех вершков не выдывал.

Как только я мало-мальски изощрился в искусстве рыбной ловли, я подуста ловить бросил. Но забыть... нет, не забыл. Благодарю, милейшая никчемная рыбка, за ясные вечера над гладью реки, дымящей первой свежестью весны, за за трепет юного сердца, впервые взволнованного сильной поклевкой, за бескорыстный восторг от крупной добычи. Красивая рыба оказалась решительно никуда не годной, но не все ли равно. Мало ли обманутых надежд, разве только с подустом так бывает в жизни.

Язь попался мне сразу трехфунтовый в странное время и в неподходящем месте на донную удочку, поставленную кое-как в расчете неизвестно на что. Когда я стал ходить уже с ружьем, я все-таки носил в кармане две-три донных удочки и маленькую жестянку с насадкой. И вот, промотавшись довольно неудачно от зари до полдня по болотам, я вышел к реке на широкую сухую отмель, начавшую прорастать тальником. Тут я срезал прут в мизинец толщиной, привязал к нему донную, насадил на крючок выползка и, воткнув прут в песок, закинул удочку. Она оказалась слишком длинной, попала в быстрину, ее потащило течением, скосило, вытянуло, она повисла совсем дрянно: повидимому, грузило ударилось о песок и крючок попал на мель. Я все это видел, но поправлять не стал — так мне хотелось спать, — и, кое-как прикрепив к леске колокольчик, я повалился тут же среди мелких кустиков тальника на скудном припеке уже осеннего солнца. Желаю каждому рыбаку подобного пробуждения. Я проснулся в сумерках от звона колокольчика. Прут сгибался, мотаясь туда и сюда, колокольчик болтался и звонил неистово. Где тут водить рыбу, разве это удилище? Я схватил леску и, попросту перебирая ее, выволок на песок отчаянно упиравшегося красавца — язя. Великолепная добыча. Язь вознаградил меня за охотничьи неудачи целого сентябрьского дня.

Я с гордостью восседал за столом, где вся семья ела жареного язя. Сказать по правде, его не очень хвалили: травянисто, безвкусно, костей много очень мелких, предательских. Но все-таки несколько человек едят за обедом одну мою рыбу — лестно.

Подъязков, то есть язей до фунта, я переловил множество на подпуск, значит, между прочим, без нарочитого злоумышления именно на язей. Ловил язей я и злоумышленно — с подмостков, устроенных над рекой так, чтобы удобно было опускать для язевых стай приваду из распаренных зерен ржи, овса, из гречневой каши. Как ни странно, иногда к этим вкусным вещам успешно примешивали свежий конский навоз и в мешке из редины опускали все с грузом на дно. Стаи язей шли с бульканьем, с плеском, с пузырями, с шумом. Язи клевали жадно на червяка, на хлеб, на кузнечика, даже на таракана. Это не только красивые, бодрые, сильные рыбы, но и умные, осторожные. Заметив, что двое-трое язей после некоторой возни куда-то исчезли, стая от подмостков отходит. Положим, не надолго, но что же спрашивать с рыбьих мозгов. В ясное солнечное утро с мостков без прикрытия ловить нельзя: видят язевые глаза. Однако, если рядом с собой поставить несколько зеленых ветвей и между ними просовывать удочку, опять довольно, опять язи тут.

Фунт, два, полтора — вот мои язи. Чужих язей видал, хотя очень редко, в пять-шесть фунтов.

Ловятся язи в приглубых местах, на утренней заре, преимущественно с весны и, повторяю, по-рыбьи они очень хитры и осторожны. Что же кинуло незабвенного трехфунтовика на мальчишескую удочку, безобразно закинутую с мели? Такая уж его и моя судьба.

КАРАСЬ И ЛИНЬ

В реках караси попадают изредка серебристые — в самых глухих заводях с почти стоячей водой и илистым дном; линей там все-таки нет. В озерах, в прудах, иногда просто в грязных лужах красновато-золотистые караси и лини живут вместе; в болотах линь водится уже один, причем ухитряется достигать весьма порядочных размеров. Эти лентяи мутных вод оба очень скучны, пока они мелки. Карась охотно берет на всякую дрянь, лишь бы она висела недалеко от дна; хлебные крошки, отруби, брошенные на воду, он, впрочем, и сверху поклевывает довольно вяло, звучно зато чмокая. Вместе с трелью лягушек такое чмоканье забавно звенит над спящим прудом в вечерний час. Ни крошек, ни отрубей, конечно, может и не случиться тут, а карасишки все-таки чмокают... Что они там собирают? Иногда карась клюнет и зазевавшуюся мошку, реющую над самой водой, но вообще он берет со дна, где лентяй лежит в иле.

Откуда это известно, что карась лежит, может быть, он ходит?

Утверждать, что карась валяется на боку, едва ли кто возьмется: кроме всего прочего обычно вода в пруде мутна и поведение карася видеть трудно. Однако, несомненно, что если в пруде, обильно населенном карасями, удочку с прекрасным навозным червяком или хлебным шариком, соблазнительно пахнущим постным маслом, если такую заманчивую удочку долго никто не шевелит, то горю просто помочь... палкой. Да, надо взять длинную прочную палку и поболтать ею вокруг этой самой удочки, сильно задевая дно. Немедленно начинается клев. Значит, карасишки были близко и спали, а на боку или как по-другому не все ли равно.

В глухом пруде карасиное население мельчает быстро, неудержимо, иногда от непонятных причин. Воды, корма, повидимому, вполне достаточно, — нет, там, где в прошлом году попадались караси в ладонь, теперь пошел карась с ложку, а дальше хуже: кишит совсем ничтожная мелочь, годная разве для аквариума.

Если пруд с чрезмерно плотным карасиным населением обеспечен водой, то в него надо с весны подпустить десятка два щурят, пойманных по полой воде в ближних речках. К сентябрю окажется, что в пруде весело бьются порядочные щучки фунта по два, по три, а караси — большинство в надлежащей мере. При значительных размерах пруда дело может пойти очень хорошо без особых о нем забот. В Германии на этих основаниях успешно и выгодно разводят щуку, считаемую у нас только вредной.

Итак, мелких карасей из сонного пруда можно таскать сколько угодно, с утра до вечера. Они однообразны в поклевке, слабы на удочке и никуда не год-

ны в кухне: уха из них пахнет тиной, а жарить их не стоит — одни кости. Скучная рыбка.

Мелкий линь, кажется, не клюет на удочку вовсе. Прячется он, что ли, до известного возраста или случайно я на мелочь лinya не попадал.

Крупный карась, и в особенности линь, может задать рыбаку такое представление, что лучше и требовать нельзя. Крупный это — фунтовик. Линь такого веса совсем похож на поросенка: гладкий, розоватый, почти без чешуи, глазенки маленькие, красные, вытаращенные, как будто заплывшие жиром.

Такой толстяк не хватает уже на что попало, ему подавай отборного красного червяка, живо шевелящего хвостом, хлеб подавай с пахучим маслом, с медом. Линь больше всего любит мотыля, прозрачно-красного жителя илистого дна.

Даже с такой лакомой приманкой походишь по берегу, десяток раз перекинешь удочку — нет поклевки, а наверное известно, что толстяки тут есть. Палка в таком случае только испортит дело. Помочь может терпение.

Ленивые рыбы, должно быть, тогда берут, когда приманка попадает им под нос.

Но взяв и почувствовав крючок, крупный карась, в особенности линь, для начала становится на голову, закапываясь ею в ил. Тут оборвать самую прочную леску очень просто. Необходимо подождать, не горячась. Толстяк вовсе уже не такой отчаянный малый, каким он кажется на первый неопытный взгляд. Он сам очень скоро всплывает и откровенно пытается оборвать леску. Если ее отпустить, ослабить, линь непременно ее запутает, кинувшись в траву, опять закопается так, что хоть руками его там бери. В неглубокой воде случалось это проделывать: по леске доберешься до чего-то скользкого, толстого, забившегося под траву — тут ему пальцы под жабры и пожалуйста на свежую воду. Карась к таким штукам не склонен. Он, побесившись слегка, задав пять-шесть кругов на туго натянутой леске, ложится на бок и смирно ждет, когда его возьмут сачком.

Линь всегда сильно пахнет тиной, что далеко не всякому понравится, но он удивительно живуч и тем может иногда упрочить за собой славу очень вкусной рыбы. Я помню, как крупных линея — фунта на три, на четыре — приносили за десятки верст в корзинках с мокрой травой в самые жаркие летние дни. Линея пускали в кадку с речной водой, и мы, мальчишки, ловили их там, конечно, прямо руками, холодных, толстых, скользких, вытаскивали их из воды и рассматривали их красные свиные глазки и странную гладкую, почти без чешуи желтовато-розовую кожу.

Лини жили в кадке с неделю, пока, утратив тинистый вкус, не становились отменно жирной вкусной рыбой.

Ловили их, этих толстых, больших рыб, не в озере, не в пруде, а в каких-то болотах. Караси в озерах бывают до двух фунтов. В Верхотурьи за Уралом я для копчения покупал пятифунтовых карасей: их морожеными привозили откуда-то с Оби. А в Чухломском озере Костромской губернии водятся караси в одиннадцать фунтов, по свидетельству И. Ф. Правдина, специалиста ихтиолога при ГИОА. Вот такой карась, надо полагать, может доставить рыбаку исключительное удовольствие.

УГОРЬ

Говорят, будто приманить угрей можно, опустив в месте их ловли на дно бычий пузырь с кровью. Мне не приходилось пользоваться этой странной и... противной привадой. В реках средней полосы угрей нет, а в Нарове в Вуоксе их столько, что дело устраивалось без всякой привады.

Очень уж они вкусны, эти зловещие змеи-рыбы, так же вкусны, как скучна их ловля. Начать с того, что ловить угрей с успехом можно только ночью и чем темнее ночь, тем лучше. Они ползут по дну, кровопийцы? Как видят там во мраке их крошечные злобные глаза? Или они жрут ощупью, ночные полуслепые воры?

Удочка для угря ставится именно наощупь. Короткое, очень прочное удище втыкается в берег, отменно крепкая леска закидывается с большим, но непременно скользящим грузилом. Насадка должна лежать на дне так, чтобы малейшая ее потяжка была слышна рыбаку: или колокольчик о ней даст знать, звякнув в темноте, или нитка. Да, тонкую нитку привязывают к леске в том же месте, где обычно прикрепляется у донных колокольчик, то есть вершка на два, на три от удища. И сиди с ниткой в руке, жди, пока угорь потащит насадку, тогда осторожно хватай удище и подсекай по вдохновению. Кто его знает там, успел ли он заглотать или все тащит... В первом случае он крутится, как змея, свивается комком, виснет пятифунтовым камнем, хотя сам весит едва ли фунт, бесится долго и упорно, обнаруживая неожиданную силу. Тут про угря ничего плохого и сказать нельзя, кроме того, что леска с ниткой обычно путаются препротивно. Если подсечка последовала в то время, как угорь только тащил приманку, то, очевидно, он ее бросает, и удовольствия не получается никакого, а путаница часто. Мне это так не понравилось, что, попробовав раза два, я угревую удочку бросил вовсе: перемет мне служил лучше и проще.

Единственное, что безусловно свидетельствует в пользу угря — это его неизменная преданность обыкновенному навозному червяку. Угорь, по ученым исследованиям, выводится в глубинах Атлантического океана, где-то против Мексиканского залива. Оттуда он в течение лет трех идет в наши реки, где, откормившись, достигает предельного возраста и веса. Затем он отправляется обратно, чтобы, выметав один раз в жизни икру, окончить существование там же, где он его начал. Такой дальний замысловатый путешественник, мрачный змееподобный угорь любит ли действительно пить кровь? Повторяю, мне это неизвестно. Но что основную простейшую нашу насадку — червяка — угорь предпочитает всем остальным, это вне сомнений. Кусочки мяса оставались нетронутыми на крючках моих переметов чаще всего. Рыбок угри брали почему-то средние.

Самого крупного угря, какого я когда-либо видел, я поймал в Нарове на перемет на червяка. Длинной этот угорь был больше метра, толщиной в руку, свесить мне его не пришлось, думаю, что достиг он килограммов трех. При таких размерах и — на червяка? Как угодно, это трогательно.

ЛЕЩ

Обычно в первых числах мая, когда Клязьма, вошедшая в берега, но обильная внешней водой, бежала, еще не показывая противных рыжих отмелей, на городском мосту мальчишки кричали:

— Лещи пришли! В Уткиной заводи вчера косяк видели.

И на другой день по базару носили больших широких рыб с крупнозолотистой чешуей и ярко-розовыми плавниками. Это, очевидно, обозначало, что злополучный косяк вычерпнут приготовленной для него сетью.

Много лет из года в год повторялось одно и то же; косяков иногда приходило за весну два, три, редко пять, что, впрочем, всегда кончалось одинаково: мальчишки кричали и лещей вычерпывали, блестящих, ярких, толстых, набитых икрой и молоками, шедших на нерест. Идут на брачный праздник жизни, тут-то их и накрывают. Казалось бы, что при подобном истреблении в самом корне они должны давно исчезнуть, крупные, смирные, глупые рыбы. Нет, обмелевшая, загрязненная ядовитыми стоками река продолжает из каких-то тайников каждой весной выкидывать стаи толстых, широких лещей. Они идут спокойно, без скачков и буйных всплесков, но их нельзя не видеть, когда они идут, и сразу видно, что это именно лещи.

Ловит ли лещ мошку, незримую с берега, или — у всякого своя манера веселиться — или он так играет, но толстяк, подняв короткую несоразмерно маленькую голову, выпускает вереницу крупных пузырей воздуха и, повернув широкую спину, степенно, важно шлепает хвостом. По воде медленно расходится круг, большой круг — не мелочь какая-нибудь плеснула, — но не глубокий, не волнующийся, пенистый, как после удара выскочившей щуки, а круг плоский, тихий, достойный почтеннейшего леща.

В тишине весеннего вечера такое пусканье пузырей не только видно, но и слышно; довольно далеко несется смешной, не то булькающий, не то чмокающий звук. И смирная игра широких толстяков, так благочинно шлепающих хвостами, представляет очаровательное зрелище с берега, обычно заросшего черемухой. Она тогда цветет, и соловьи поют в кустах, осыпанных душистым снегом.

Хороший художник мог бы написать прелестную картину весеннего хода лещей: так ярки краски догорающего в золоте вечера, так прозрачен свежий воздух, так ясно видно стадо огромных рыб в верхних струях воды.

На самой свадьбе, во время нереста на мели, заросшей травой, лещи так бунят, как и ожидать невозможно от их степенства: выпрыгивают — этакие-то подносы — шлепают, плещут так, что брызги летят, и шум стаи, готовящей новое поколение лещей, слышен чуть ли не за версту. Тут лещи, конечно, ничего не едят — не до червяков тут.

Играющим лещам бесполезно предлагать самые соблазнительные приманки: лещи упорно не берут. Гораздо вернее устроить приваду около того места, где замечена игра. Если в глиняный шар величиной с апельсин закатать десяток красных навозных червей и пяток таких шаров спустить в воду у затона, против которого накануне веселились лещи, то на утренней заре тут около ша-

ров он клюнет, золотистый, широкий лещ. Полдюжины мелких, отменно бойких красных червяков надо насадить на большой крючок так, чтобы хвосты их таращились во все стороны. Если желательнее предложить лещу распаренную горошину на совсем маленьком крючке, то и глиняные апельсины также должны быть приготовлены с горохом.

Едва полетит над порозовевшей водой легкая дымка предрассветного тумана, как будто маленькая-маленькая рыбка тронет такую странную насадку, как связка червей или горошина: это он, лещ. Такой уж у него характер: чем лещ крупней, тем тише он берет, от старости или по лени вяло шевеля чересчур толстыми губами, или вследствие мудрой осторожности от долгой жизни.

Поплавок плывет чуть-чуть, не пляшет мелкими скачками, не дергается, он безостановочно движется, иногда проплывет с пол-аршина и вдруг решительно тонет: взял. Чик — подсечка! Ну, тут он себя покажет, лещ, ежели в нем фунтов пять-шесть, не говоря о большем. Он бешено дергает, пробуя, нельзя ли оборвать леску сразу и, если удилице не гибко, он ее оборвет. Когда оборвать не удалось, он полукругом так мчится около берега, как и ожидать нельзя от него, неповоротливого толстяка. Он кувыркается вверх хвостом и, живо проделав все эти штуки, ложится на широкий бок — долго лещ не сопротивляется. Конечно, брать рукой его нельзя, хотя бы он лежал, раскрыв рот — на то, чтобы вырваться из рук и соскользнуть в воду, сил у него всегда хватит.

Всего интереснее ловить леща на распаренный овес или на поденку. Апельсины из глины в таких случаях готовят с овсом или с поденками. Крючок тут уже крошечный, леска тончайшая, и рыбак должен сказать, что он умеет ловить нахлыстом, то есть может закинуть длинную легкую леску так, что приманка ляжет на воду не шлепком, а нежнейшим прикосновением. Подумать надо: вся приманка — овсяное зерно или ничтожная желтовато-серая бабочка с очень хрупкими крылышками.

В случае удачи на поверхности воды около приманки в самый миг ее падения показывается коротенькая голова, неторопливо чмокает толстыми губами, глотает овсинку или бабочку и, показав толстенную черную спину, махнув широким хвостом, пытается скрыться. Но ничтожный предатель-крючок, вцепившись, держит, и начинается та же история бешеного, но короткого сопротивления, опасного тем, что вся снасть уж очень тонка.

Мне не случилось слышать, чтобы крупных лещей выуживали много: три-четыре уже исключительно богатая добыча. Вероятно, их мало остается от вычерпывания сетью. Подлещиков приблизительно фунтовых я однажды поймал столько, сколько лет к тому времени прожил на свете. Я опускал двухаршинную леску в одну и ту же прогалину между плотами. Без удилица, прямо от руки спущу червяка, подожду немного и тащу очень бойкого, приятного толстячка. Часа два продолжалось мое блаженство. Я стал привыкать к несложному счастью: забросил удочку, получай подлещика. Но вдруг та же удочка повисла мертво. Я сидел над ней до вечера, пришел к той же прогалине на другой день с утра — ни поклевки. Четырнадцать одинаковых подлещиков, попавшихся на невежественную удочку мальчишки, остались единственным случаем. Что эта была за стайка?

Маленького леща мне никогда не удалось видеть. Должно быть, они хорошо и долго таятся, обеспечивая — наперекор всем сетям и другим опасностям — появление косяков лещей.

У леща есть, несомненно, близкий родственник — синец. Он такой же плоский, широкий, как и лещ, но не так плотен, не так толст, никогда не бывает жирен, чем лещ иногда отличается, и плавники у него синие. На кухне, где лещ пользуется значительным уважением, синца презирают вполне: кошачье кушанье — ни вкуса, ни сытости. Синцов я ловил всякого возраста, судя по величине, начиная с полуторавершковых синьчиков, клевавших на обрывок червяка, и кончая серебряными «подносами» в семь-восемь фунтов. Самая большая рыба лещевого образа, какую мне удалось увидеть, от меня ушла, оставив мне только воспоминание. Это был именно синец, попавшийся на перемет в реке Нарове, где я ловил угрей — черных, длинных, так крепко сидевших на крючках, что сачка для них не требовалось. И вдруг в сумраке летней ночи из темной воды блеснуло что-то огромное, круглое, точно серебряный щит. Я тихонько подвел, увидел, что это необыкновенной величины синец. Он шел смирно, но когда я, чуть не плача об отсутствии сачка, схватил великана за спину, он вильнул, скользнул и исчез в воде, показав такой хвост, какого я и у лещей никогда не видел.

ЩУКА

Новое щучье поколение не может выклюнуться на свет, если икра, в которой это поколение начинает жизнь, не болтается между воздухом и водой. Щука должна выйти на мель и выметать икру так, чтобы она прилепилась к траве, тростнику, к чему попало. Икринка, все время плавающая, гибнет так же, как и совсем обсохшая: юную щучку даст только та икра, которая то окунается в воду, то проветривается. Конечно, щука не может заниматься правильным размещением своей икры. Она выметет ее в подходящем месте и, если удастся, уйдет. А попадет ли икра куда ей следует, это дело ветра и волны. Желтые узкие ленты щучьей икры видны издали. Чайки, утки, вороны сейчас же принимают ее есть. В воде ее свирепо жрут ерш и окунь, другие рыбы тоже не прочь попробовать щучьей икры. По мели икрятая щука часто ходит так, что ее черная спина высовывается из воды. В это время щук стреляют, ловят всякими способами, в том числе просто руками.

Все делается для того, чтобы щуку истребить; никакая рыба, никакое существо не выдержало бы подобного преследования. А щука разводится везде в изобилии, растет удивительно быстро и наперекор всем своим истребителям часто достигает крупных размеров.

Поймать щуку в десять фунтов вовсе уж не такое мудреное дело, а это порядочная образина.

В одной такой десятифунтовой я нашел совсем свежую щучку в фунт и в ней только что проглоченного пескаря. Подобного представления, кроме щуки, пожалуй, никакая рыба не даст!

Щуренок, щучка фунтов до двух, иногда клюнет на толстого червяка, если он уж очень бойко вертится на крючке. Щука покрупнее берет только на живца, окончательно брезгует одним линем, остальных живьем ест всех, не исключая себе подобных; впрочем, щуренка на крючок как живца насаживать не приходилось никогда. Лягушонком, также только очень бойким, щука иногда соблазняется. Утят она глотает замечательно: не хватает, как можно было бы ожидать, за лапки, чтобы утянуть в глубину, а прямо целиком — хлоп! Высовывается среди зелени из воды щучья морда с широко раскрытой пастью, маленький пуховичок-утенок как-то вваливается туда, точно что-то его втягивает, и, прежде чем он успеет пикнуть, морда, сомкнув челюсти, исчезает. Все происходит в одно мгновение. Утка мечется, кричит, точно ее режут, ныряет, — напрасно: ни следа, ни отзвука борьбы, ни малейшего волнения.

Это редкое зрелище можно нечаянно — как все тайны леса и воды — увидеть на глухой глубокой луже, соединявшейся когда-то протоком с озером или рекой. Рыбы в таких лужах мало и трудно ее ловить, стебли густо растущих трав мешают. Щука ловит рыбу, как ястреб птицу, на вольном пространстве, без заросли, без помехи, о которую при погоне впопыхах просто ушибиться.

Случается, что проток весной неожиданно обсохнет, летом буйно зарастет и на следующий год не возобновится. Щука, зашедшая в лужу, остается там навсегда. Она живет в своей луже долго, до седины, до какого-то мха на голове. Ее видят из года в год то пастухи, то мальчишки, иногда попадается она под выстрел охотника и тогда, разрезав огромную рыбу, убеждаются, чем она питалась: утятница.

Речная щука всегда гораздо светлее, много бойчее, чем озерная, и никогда не достигает той величины, как та. В больших озерах почти черные щуки-великаны, очевидно, прячутся в каких-то тайниках многие десятки лет. В озере Моло в Финляндии я вытянул было одну должно быть столетнюю. Онахватила на блесну так, что потрясла всю лодку, в которой сидело двое пятипудовых рыбаков. Без скачков и всплесков рыба немедленно ушла в глубину. В первый миг показалось, что она бросила приманку. Но нет, леска вновь натянулась, зазвенела, согнулось удилице, и борьба началась. Рыба с полчаса не показывалась на поверхности, упорно ходя на кругах в глубине. Но удилице то сгибалось, то выпрямлялось, катушка крутилась с неменьшим упорством, чем ходила рыба. Вытягивалась леска аршин за аршином, все сгибалось-выпрямлялось удилице, и дивная снасть победила, выдержав бешеные порывы и страшную тяжесть. Наконец с плеском мелькнул огромный хвост, и вся щука всплыла, как черное саженное бревно. Тогда лодка поспешила к мели. Щука смирно шла за лодкой, еле шевеля плавниками. Она, приткнувшись к мели, тяжело легла на песок. Какие-то серые, почти белые кружки, буторки, наросты покрывали ее голову слом не то седого мха, не то выветрившейся извести. В зубастой пасти виднелась чуть зацепившаяся искривленная блесна. Щука, измученная часовой борьбой, лежала без движения, я оседлал ее очень бойко, но едва мои руки прикоснулись к костистым крышкам жабр, щука согнулась, и я полетел кувырком в мелкую воду. Щука забилась, оборвала, как гнилую нитку, леску, не поддержанную теперь сопротивлением удилица, и заплескалась по мели, направляясь в озеро.

Напрасно старался я вновь как-нибудь схватить ее. Другой рыбак бегал за ней с топором. Куда там! Щука извивалась змеей, крутилась, кувыркалась и с каждым порывом силы ее возрастала. Она исчезла в озере, оставив нам только восторг воспоминания; не часто удается подержаться вплотную за такое невероятное чудовище!

На кухне щуку свыше двадцати фунтов не принимают совсем, мелочь до двух фунтов также не любят; в почете там средняя щука от четырех до шести фунтов — дальше уже хуже; впрочем, за окунем или судаком там, на кухне, никакая щука ни в коем случае утнаться не может: третий сорт рыба, щука.

При обилии хороших живцов — пескарь, плотичка, карась, окунь, ерш — щук интересно ловить на жерлицы. Расставишь их по берегу десяток-полтора, да от одной к другой и подползаешь из-за куста, подсматривая, не спущена ли рогулька, не гнется ли удилице. Иногда рогулька привязывается прямо к кусту, склонившемуся над излучиной реки. Так ли, иначе ли, борьба тут проста: прямо, в упор, на прочность бечевки. На всякий случай лучше иметь сачок, но можно даже и без него обойтись: щука обычно заглатывает живца прочно. Возня с живцами и некоторая грубость такой ловли не всем понравятся. На мой вкус лучшая охота на щуку — с блесной. Самодельная ли оловяшка, первая попавшаяся «ложка» с крючками — одна сторона белая, другая желтая, — или, последнее слово искусства, английская шелковая рыбка — все равно, цель их одна: изобразить нечто блестящее, на что кинется щука. Она бросается из травы, из тростников, и есть особенная прелесть в этом хищном клеве у берега спящей под солнцем реки. Щука берет утром, но утешает рыбака и в полдень, когда клева вообще нет. К осени, когда просветлевшая вода начинает холодеть, щука жаднее берет именно в самые яркие часы дня. Однажды в августе я вытащил щучку фунта на три с висевшей у ее пасти блесной — рыбкой, только что оторванной ею от удочки другого рыбака. Он подъехал на мой крик, несколько смущенно узнал свою блесну — этакая небрежность, перегоревший поводок! — и вместе со мной подивился неустрашимой щучьей жадности.

Щука, в особенности осенняя, повидимому, не может не схватить блестящей приманки. Несколько раз случилось мне ловить очень странных щук: чуть зацепившись за зубастую челюсть, висит блесна, а из пасти торчит хвост только что проглоченной рыбы. Зачем было хватать? Не голод же, ясно. Для рыбака такая жадность щуки очень приятная черта характера, а поведение щуки, схватившей дорожку-блесну, заслуживает всякой похвалы. В особенности хорошо ведет себя именно средняя, наиболее ценная щука. Великан кидается в глубину, упирается, надеясь, должно быть, взять рыбака измором, причем большей частью ошибается. Аршинная же щука, зная себе цену, выпрыгивает из воды, изгибаясь серпом, как только почувствует крючок, затем крутится, мечется, кувыркается, как бешеная, но раз подведенная к лодке смирно лежит на боку. Тут надо подцепить ее багром, отнюдь не доверяя ее смирению: хищница хитра и коварна.

Ловят щук и с берега на удочку, конечно, на живца, с поплавком. Можно так ловить. Отчего нет? Этакая ловля немножко получше жерлицы. То и другое — жерлица и поплавок на щук — пешее дело. Они бесконечно хуже блесны.

Очевидно, можно и посидеть на бережке, когда не на чем или не с чем ехать, но при лодке сидеть на суше рыбак не станет.

ГОЛАВЛЬ, СУДАК, ЖЕРИХ

Двух-трехфунтовых жерихов я впервые увидел копчеными на улице, где их продавали за сигов. Раньше все видал более крупных.

Я их знал по вытянутой нижней губе, которая у них много длиннее верхней. До этой слегка неприятной встречи жерих или шерешпер представлялся мне рыбой, которая маленькой не бывает и при весе в семь, восемь, десять фунтов довольно неуклюже прыгает в брызгах и пене перекатов.

С голавлями наоборот я долго имел дело только с мелкими. Двух видел по аршину каждый и не сразу догадался, что это за рыба с оранжевыми плавниками и темносиним хвостом.

Судаков видал всяких, начиная с ничтожного малька и кончая полупудовым патриархом. По зимам в тот городишко, где прошло мое детство, привозили судаков так: патриархи стояли вниз головами забором вокруг розвальней, а пространство внутри забора наполнялось судаками помельче. Продавались они все, мороженые судаки, по две копейки за фунт. Вот тут я и видел чудовищных судаков ценой в сорок копеек за каждого.

Где они ловились, не знаю, живых судаков такого, как патриархи, размера не видал. Ловить судаков начал случайно: на подпуск на червяка попалась очень бойкая рыбка вершков в пять с колючим гребнем на спине. Окунь? Нет, длинен, не горбат, полосы видны лишь чуть-чуть и плавники бледнорозовы. А, значит, вот он, судак: очень приятно познакомиться.

И тут же выяснилось, насколько полезно знание литературы. Я читал, будто судак любит уклею. Ну, чего другого, а этих-то плутовок предоставим сколько угодно. Поэтому на донную, в глубину, под промоину берега, туда, где течение идет обратно, туда осторожно подсунуть уклею с небольшим, но толстым крючком. После нескольких проб и ожиданий, когда после свежей весенней ночи солнце радостно и тепло выглянуло из-за края земли, колокольчик донной зазвонил и крупный судак явился на берег почти без сопротивления. Рыба чуть ли не в аршин, весит пять-шесть фунтов, один гребень костистый и угрожающий чего стоит и — не буянит нисколько? Странная рыба. Можно было бы совсем разочароваться в судаке, если бы его не обожали на кухне. Как не ловить рыбу, которой восторженных похвал столько, что и перечислять не стоит.

Так случайная встреча с одиноким судаком перешла в прочные вообще с судаками отношения, неизменно продолжавшиеся много лет. Однажды после грозы, во время бешено-восхитительного клева разной рыбы почище судака, о чем в своем месте рассказано особо, я неожиданно выудил такого старого знакомого на блесну. Я это заметил: не всегда же, значит, судак клюет со дна. Постой. Там около водоворота в лучах догорающего заката плещутся какие-то. Не судаки ли это? Что если подпустить туда без поплавок в проводку уклею? Цоп! Судак. Ну, тем приятнее: старый знакомый.

На ерша, проглотившего нижний крючок подпуска, однажды мне попался судак фунта в два. Он, положим, в свою очередь заглотал ерша в самую глубину утробы, но чем ерш там зацепился, почему судак не ушел, выплюнув ерша? Я вынул судачка из воды полусонного, так и не поняв его поведения, тем более, что скользкий ерш, когда я его потянул, легко из судачка выскочил, хотя и уже начал перевариваться. Вообще же судак, до среднего включительно, всегда добросовестно брал на червяка, крупный на уклею или на блесну — шелковую голубоватую рыбку, похожую, должно быть, на нее же, на судачью любимицу уклею. На иные приманки судаков ловить я не имел надобности — и так хорошо.

Крючки донных, конечно, я иногда находил пустыми, но подозревать, что с них именно судаки воровали уклеек, я не имею оснований.

Ни один судак не оборвал мне удочки, что нельзя не отметить с несколько натянутой благодарностью. Что было бы, если бы за мой крючок зацепился этакий судачий патриарх из тех, из мороженных? Трудно сказать. В общем же судак прекрасная вне сравнения рыба на... холодное.

Подведя на быстрине уклею к плескавшимся там, как я думал, судакам, я с обычным удовольствием потащил схватившего и вдруг — прыжок.

Большая ярко-белая рыба выскочила, плюхнулась обратно, перекувырнулась, опять выпрыгнула... Да что такое, щука, что ли? Почему же такая белобрысая? Ах, вот оно что: шереспер. Странно. Я о таком слышал и думал, что если жерих схватит, то хлопот с ним на полчаса, он будет рвать и метать. А он — ничего; после двух скачков и одного кувыркания лежит на боку и, еле шевеля синеватыми плавниками, спокойно тянется к лодке. Только в нем и замечательно, что длинная нижняя губа, загибающаяся на верхнюю.

— Это поддельный судак, — сказали в кухне, — нет, как будто что-то много хуже. Костей-то, костей-то сколько. Дрянь — рыба.

После того как жериха сварили, выяснилось, что мясо его дрябло, безвкусно. Жира и у судака нет, но у того столько драгоценных качеств, что для него обидно сравнение с каким-то этаким, неизвестно каким. Короче, мне кухня заявила, что сюда таких больше не носить.

Очень значительный шереспер устроил мне громкий скандал, схватив живчика-пескаря на конце подпуска у пробки. Весь тридцатиаршинный подпуск с несколькими сидевшими на нем синцами и подустами поднялся из воды, упал обратно, потянулся куда-то в сторону, опять поднялся и снова шлепнулся. В тишине подня над заснувшей от зноя рекой все это звучало шумно, все эти брызги, всплески, скачки. Дело известное. Нашего брата, рыбака, хлебом не корми, — дай ему такое рыбе безобразие. К сожалению, водяной конь, сорвавшись с крючка, умчался, не показавшись поближе, какой он такой. Случалось мне видеть рыбаков, терпеливо с удочкой в руках вышагивающих по колена в воде на перекатах. Там в брызгах, в пене бьются водяные кони, шересперы, и — говорят — они хорошо берут на уклею, живую и мертвую, на голубую блесну, на стрекозу, если пустить их без поплавок в проводку. Мне такая ловля почему-то не нравилась, и с шереспером, он же жерих, я постоянного знакомства не

поддерживал. Не враждебный ли отзыв кухни об этой странной рыбе имел такое влияние? Не знаю, но... бессознательно все может быть.

Голавлей я начал ловить маленьких — голубовато-серебристых рыбок, стайками бегавших в светлой речке, где я, семилетний мальчишка, никак не мог утонуть. Все равно, как я их ловил, не правда ли? Убедившись несколько горестно, что добыча моя не интересна даже кошке, я ловить голавликов перестал и только любовался ими, кидая им мух, крошки, червяков просто так, даром, без подвоха в виде крючка. Зато через несколько лет, вытащив у мельницы на крупную муху очень бойкую вершков в пять рыбку, широколобую, голубую, синехвостую, я узнал ее сразу: голавль.

Ну, тут я уже не шутил, пятнадцатилетний рыбак, и живо наудил то на мух, то на червей ведро довольно крупной рыбы прекрасного в сущности вида. Моя добыча пошла кошкам, презренным, уже обожравшимся ранее кошкам мельника: больше никуда пристроить ее не удалось.

Повидимому, такой провал охладил навсегда мое отношение к голавлям. Пытался я их ловить не раз, но чего-то нехватало — настойчивости, страстного желания поймать. Я подъезжал на лодке к шумному перекату реки, я просиживал терпеливо на крутом берегу омута быстрой прозрачной ключевой речки, я предлагал уклейку, пескаря, выполза, раковую шейку, кузнечика, поденку — все известные мне приманки. Случалось, что я ловил на них рыбу более завидную, чем голавль, но он, голавль, меня обходил.

Признаться ли? Я оскорблен в лучших чувствах рыбака именно голавлями, оскорблен так, что забыть этого не могу. В прозрачной глубине могучей горной реки я с моста, проезжая верхом, увидел стаю огромных рыб, толпившихся против течения. Эти широкие лбы, черные спины, оранжевые перья плавников, темносиние хвосты — я узнал их мгновенно. Голавли не то шли, не то стояли почти над самым дном, усыпанным мелкой светлой галькой, их было видно чуть ли не насквозь до последней чешуйки, и яркий свет лазурью блестел на их боках. Да они на гигантских уклек похожи, если бы не эти широчайшие лбы! Немедленно на лошади поймана муха, на нее подцеплена вездесущая уклейка и, бедняжка, предложена голавлям на очень тонкой зеленой леске. Никакого внимания. Тогда шелковая рыбка, образец искусства, спустилась на совершенно прозрачном поводке прямо к толстым башкам — нет. Нельзя сказать, что не смотрят, нет, хуже: посторонится, болван, чуть-чуть и продолжает пошевеливать плавниками. Что делать? Я посовался, попрыгал по мосту и по крутому берегу, покидал свои приманки, не заставишь клюнуть. Признаться, так признаться: наибольший вес голавля, пойманного мною, не превышал двух фунтов; голавлишко клюнул на поденку.

Вид голавлей, весивших каждый фунтов по двенадцати, не возбудил во мне ни малейшей зависти.

И подпуская затем уклейку в такие места, где они могли оказаться сразу все трое — жерих, голавль и судак, я ни белобрисого водяного коня, ни противной лобастой башки голавля не желал видеть, предпочитая им всегда и везде старого испытанного знакомца судака.

НАЛИМ И СОМ

Обе свиньи подводного мира, налим и сом, живут вместе. Конечно, такой крупной рыбе, как сом, необходим простор. В маленьком водоеме могут оказаться лишь мелкие налимы без сома, но там, где водится сом, непременно есть и налим.

Шатаясь по дну, они оба подбирают падаль и всякую дрянь, не брезгают мутноватой водой, любят тихие заводи, глубокие ямы и колдобины, обрывы, загроможденные корягами.

Налима увидеть настолько же трудно, насколько сома легко. Налим, кажется, никогда не выходит на мель, а сом непременно это делает, как только достигнет значительного роста, должно быть, дающего ему самоуверенность. Плещутся вьвявь только взрослые полновесные сомы, то есть рыбы приблизительно в пуд; те, что помельче, сомята, прячутся подобно налимам, ползая по дну.

Сом иногда гоняется за очень мелкой юркой рыбой. Как совместить это с его толщиной? Он если не ленив, то, несомненно, склонен к неподвижности, к лежанию часами на дне ямы. Он, не торопясь, подбирает мертвечину, весь его склад, видимо, не приспособлен для погони. Однако эту неуклюжую колоду, сома, стремительно несущегося по отмели, я видел много раз: стрела, а не колода! Огромная черная рыба, случается, столбом выскакивает вся из воды и хлопается опять в нее, точно толстое бревно, так, что брызги летят и, пенясь, разбегается широкий круг. По звуку судя, можно подумать, не лошадь ли бултыхнулась в воду.

Однажды сом чуть не наскочил на меня. Я, остывая перед купаньем, стоял неподвижно на мели; вода не достигала мне до колен. Вдруг серебряным дождем брызнула кругом меня рыба мелочь и, как-то привстав на хвосте почти мне до плеч, поднялся сом. Он был в двух шагах от меня, я невольно кинулся за ним, он повалился с плеском и исчез. Для чего он так вставал на хвост? Увидел ли он, что налетел на человека, и слишком резко остановился в стремительном движении? Или он всегда так делает при погоне, отчего и бултыхает, как бревно? Едва ли можно это узнать, но такое зрелище забыть нельзя. Какая зверски искаженная морда, рыба морда, казалось бы, не имеющая способности что-либо выразить. Нет, она неистово, бешено выражала: сожрать, сожрать! И в крошечной щелочке морды, обращенной ко мне одной стороной, маленький круглый глаз пылал, сверкал, как раскаленный уголь.

Впервые попался мне соменок фунтов в пять на подпуск, на червяка. Гиря оказалась утащенной куда-то в сторону; тяжкий сильный толчок, едва я взялся за подпуск, дал знать, что попалась очень крупная рыба. Я, замирая от восторга, ждал огромного леща или окуня — серебристую рыбу знакомых очертаний. И вдруг какой-то черный обрубок, толстый, непомерно сильный, бешено затрепыхался в сачке.

В лодке после двух-трех порывов он свалился с крючка и запрыгал, извиваясь по дну, усатый, плоскоголовый, черный, толстый, странный пришелец из подводного мира.

— Илюшка, это что? — шопотом спросил я гребца, сидевшего в носу лодки.

— Н-не з-знаю, — пролепетал Илюшка, также еще не переживший двенадцатого года существования, — это не р-рыба.

Мы единодушно, не сговариваясь, бросили кое-как подпуск и поспешили к берегу, но прежде чем наша лодка к нему приткнулась, мы уже освободились от жуткого чувства, на миг овладевшего нами в теплой полумгле летней ночи, и сообразили, кого поймали. Сом, сом, хоть маленький, а все-таки сом!

Сомята, иногда довольно крупные, охотно берут на раковую шейку, на целого линючего рака, на живого лягушонка. Донная удочка закидывается с мели так, чтобы насадку, лежащую у самого края ямы, омута, обрыва, нельзя было утащить далеко в глубину — иначе соменок забьется под корягу, в зацепы и — все пропало. Надо очень точно знать дно места ловли, тогда можно рассчитывать на успех. Беда еще в том, что соменок берет в самое глухое время летней ночи, когда истомленные зноем кусты отдыхают в благоуханиях, когда теплый туман тянется над рекой полупрозрачными облачками.

В этот час ароматов, тишины и комариных жужжаний непобедимый сон сладостно овладевает юным рыболовом. Иной раз слышно, как вдруг отчаянно заболтает тонким серебряным голосом колокольчик донной или задрезжит ее бубенчик, но спать так хочется, что нет сил подняться с сухой подстилки у костра и побежать по росистой траве к удочке. А сидеть около нее, сторожа поклевку, на голом сыром песке, в роях комаров, тоже не всякому понравится. Поэтому успешно ловят на удочку сомят преимущественно те, кто искушены значительным опытом жизни: они знают, как свои пять пальцев, места, куда закидывают донные, и умеют, выспавшись днем, не клевать носом ночью.

Налим летом не ловится, он идет на приманку только в холодной воде. С весны, как только река сбросит лед, мелкий налим клюет на червяка недели две-три не очень жадно; крупный на рыбку даже как будто бы вовсе не берет. Их много ловят в это время мережами, заколами, даже просто мордами, но не вылавливают же всех?

Когда зазолотится лист на липах и березах, и ночи потемнеют, налим начинает брать на червяка, а крупный на всякое мясо, мягкое и пахучее. Впрочем, он охотно берет и мертвого ерша или окунька прямо с колючками. Особой хитрости в снасти, осторожности в постановке ее не требуется. Со стороны налима, можно сказать, препятствий к его ловле нет, мешают тут и очень сильно: темнота, ненастье осенней ночи и воры. Днем налим почти не клюет. Он берет ночью и до света сидит на крючке смирно. Всего проще было бы с вечера расставить около глубоких ям, в заводях, по тихим плесам десятка два донных удочек на разные приманки, ночь провести дома, а утром собрать рыбу. Увы! На плоских берегах Клязьмы такой, казалось бы, простой способ ловли невозможен: там так не только рыбы, а и удочек утром не увидеть. Поэтому там осенняя ловля налимов очень тягостна. Сторожить удочки всю долгую ночь, шатаясь по берегу иногда на большом протяжении, с фонарем их осматривать, стынувшими от холода пальцами насаживать на крючки разные гадости, часто под дождем, — все

это очень скучно. Но, претерпев все неудобства, вытаскивать серопятнистых, сильно бьющихся рыб — нет, оно ничего, не дурно.

В притоке быстрой Клязьмы, в Нерли, тихой, богатой глубокими излучинами, местами тинистой, налимов много и попадаются очень крупные. Очень много налимов, еще более крупных, в озерах, длинной цепью протянувшихся по течению Клязьмы. В ней же самой, бегущей по желтым пескам Клязьме, налимов мало и трехфунтовый — редкость.

Но эта, когда-то прелестная, золотисто-прозрачная, теперь полуиссохшая река до сих пор странно изобилует сомами.

В ее верховьях, у деревушки Фрязино, есть омут, яма, провал — как угодно — длиною версты в две с лишком и шириною во всю реку от берега до берега. Там сотни, может быть, тысячу лет скопятся коряги, зацепы, затонувшие деревья и кусты, остатки лесных сплавов, там окаменевшие дубы, там камни, в яме еще ямы, среди провала еще провалы и обрывы. Вода стоит тихо или слегка крутится в темных глубинах, поверху бежит быстро, прозрачная. Это огромный естественный заповедник, рассадник сомов.

Проезжая через сомовий фрязинский омут, рыбаки заранее вынимают свои сети, только не зацепить бы, не порвать их в этой подводной трупце. На удочку выловить никакую рыбу нигде нельзя, и как непроходимые дебри леса дают жизнь стадам кабанов, так тут недоступная глубина реки охраняет поколение за поколением огромную безобразную рыбу.

Отсюда сомы расходятся по всей реке.

Чудовищного сома, весившего почти три пуда, поймал при мне сторож городской купальни. Тогда Клязьма текла еще сильно. «Живой» мост действительно живо плавал над глубиной в сажень и с его бревен «купальщик» ставил жерлицы на сома, которого он по зарям охотно показывал, ругая его всячески. Вот ходит, жрет, а не попадает. Сом или утаскивал насадки, или обрывал бечевки, или не брал совсем. В тот миг, когда купальщик пытался подцепить его багром, сом, плеснув, исчезал, вообще же он у моста, повидимому, любил проводить время. Однажды в общей купальне я наступил на что-то мягкое, скользкое, холодное, несомненно, живое и с криком выскочил из воды. На поверхность ее всплыло что-то длинное, черное, показалась широкая плоская голова с усами и — все скрылось. Сом! Зачем он забрался в купальню, что там делал, лежа на дне? Холодела вода, сом исчезал, начинали купаться, он откуда-то являлся. Купальщика сом, повидимому, ни в грош не ставил. А тот изоцрялся в насадках, выспрашивал, выписывал крючки, ругался и продолжал жерлицы свои делать из толстых, но дрянных бечевек. История, тянувшаяся не то три, не то четыре лета, состарилась, на нее перестали обращать внимание: купальщик лазит, ругаясь, по бревнам со своими жерлицами, а сом плавает сам по себе, показываясь въявь днем то тут, то там. У сторожа дровяного склада, неподалеку от купальни, сом переловил и съел почти весь выводок утят. Ругать сома и лазить по бревнам моста стали двое, а сом продолжал обрывать огромные крючья, привязанные на гнилых веревках. Но у сома нашелся коварный, хотя и юный враг. Он, рано вкусив от древа познания рыболовной литературы, подсунил купальщику отменной выделки крученого шелка смоленую леску с не-

большим, но отменной же крепости толстым крючком и дал совет: запрятав этот крючок в живот полуоципанной, слегка подпаленной галки, поставить такую тонкую снасть на гибком удилице вместо дубины-жерлицы.

Сом не только схватил, но проглотил хитро обдуманную приманку и — погиб. Представление, которое по этому поводу он задал, продолжалось от рассвета до полудня. Купальщика сом несколько раз стаскивал с бревен моста в воду, тот плавал, крича и ругаясь на чем свет стоит, но удилица из рук не выпускала. Сом, если бы понимал, мог быть доволен и горд: народная любовь принадлежала ему вполне. Каждое падение купальщика в воду вызывало взрыв радостного хохота у зрителей и наоборот — когда купальщик, отдуваясь, выкарабкивался с ругательствами на скользкие бревна, на него сыпались насмешки, а в честь молодчины-сома град ободряющих восклицаний. Возможно, что сом, утопив своего врага, вырвался бы вместе с удилицем, если бы другой его враг с дровяного склада не подал лодки. Потаскав ее туда и сюда, чудовище всплыло кверху брюхом. Тогда его вывели на мель и выволокли на берег при восторженном реве сотенной толпы.

САЗАН

Ни одна рыба не берет неподвижную приманку так стремительно, порывисто, так неистово сразу, как сазан. При ловле на блесну или в проводку рыбак ждет, что крупная рыба, бросившись, рванет. Но чтобы без малейшей потяжки поплавок вдруг исчез и в следующее мгновение удилице, выдернутое рыбой, выскочило из руки, — так бешено делает только сазан.

Опаснее всего то, что приманка одна и на малую, и на большую рыбу. Пареную горошину или навозного червяка одинаково может схватить сазан в два-три фунта и в пуд. На длинную леску ловить нельзя: она запутается в корягах и зацепах, среди которых живет сазан. Он хитер и зорек — леска должна быть и не слишком толстой, а рыба угрожает богатырская.

Все это даже издали волнует и привлекает. Сазан поразил мое воображение, когда я ловил еще только уклеек. Старый друг моего отца, великий охотник и рыболов, однажды вдруг к ужасу домашних исчез на неделю. Оказалось, что он съездил в Курскую губернию за сазанами, о клеве которых услышал случайно, возвращаясь с рыбной ловли. Он был как был, так, не заходя домой, и закатился за тысячу верст, куда-то к Старому Осколу. Он вернулся ни с чем в полном восторге.

— Чего же радоваться, — спрашивали у него, — ведь ничего не поймали?

— Не в том дело, — с неизменным восхищением отвечал рыбак, — поклевку имел... Какую поклевку. Никогда в жизни не испытывал ничего подобного.

Лет через тридцать я попал в те самые места, где произошла восхитительная поклевка, и, живо помня рассказ о ней, я постарался найти случай испытать такую же.

Мне предоставили лодку с опытным гребцом, дали удочку и объяснили, для чего она так коротка, а коротенькое удилице так толсто: когда схватит слишком крупная рыба, удилице нужно бросать в воду, затем пробовать, уто-

милась ли рыба, опять бросать и опять пробовать. Походило на то, что знаменитая поклевка повторится: этикие левиафаны тут клюют.

Где-то за теплой занавеской тумана, вдали шумела мельница, огромный пруд, позолоченный зарей, спал, плескалась лишь где-то какая-то мелочь. Вот выглянули из тумана темными пятнами кусты на высоком обрывистом берегу. Удочка пущена аршина на три в глубину. Рванула рыба, но... Я видал уже и не таких. Леска прочна, удилище гнется вполне. «Побегай, милый мой, походи на кругах, а затем в сачок и в лодку. Вот так, все в порядке». Нечто вроде большого толстого карася, только усы на короткой морде да чешуя необыкновенно крупна. Ничего, хорошая рыба фунта на три, на четыре. Гребец посмеивается презрительно. «Разве такое тут бывает! Вот солнце выйдет, сейчас хороший хватит, тут, у большой ямы, или вон туда, к тополям заедем».

Еще один сазан, почти такой же, как первый. «Ничего, ничего, давай еще таких».

Вдруг удилище выскочило у меня из руки и проворно побежало по воде, погружаясь концом так, что комель его вставал: тащило его сильно. «Ну, прозевал немножко. Постой, однако». Лодка ловко подскакивает к удилищу, я его хватаю. «А, сломать хочешь? Ну, возьми, возьми потаскай его еще».

Рыба... Поросенок какой-то, этакая спинища, такие заплывшие глазки, такая морда усатая, раздувшаяся от жира. Фунтов двенадцать, пожалуй, вытянет поросенок. Интересно, что же, какие штуки выделяет такой чешуйчатый кабан в пуд? Я, несомненно, был близок к тому, чтобы испытать это, но так не вышло.

Из затененного высокими тополями отрога пруда быстро выехал челночек. Сидевший в нем мальчик в руках держал не весло, а удочку. Челночек все-таки плыл. Когда он поровнялся с нашей лодкой, то оказалось, что в нем не мальчик, а горбатый бледный старик, напряженно уцепившийся за согнувшееся удилище. Он вскинул на меня огромные, как-то стеклянно бледные глаза, кивнул широкополой шляпой и пискливо прохрипел:

— Попался, чорт. Н-е-ет, не уйдет.

И вновь устремил страшные глаза на свою леску, резавшую воду. Челнок быстро уплыл: его тащил сазан.

Можно смеяться надо мной как угодно, но я сложил удочку, собрал свою добычу и уехал. Зрелище старого горбуна, пучеглазого гнома, влекомого чудовищной рыбой, потрясло меня так, что отбило у меня охоту ловить сазанов.

Несомненно, тут я, погорячившись из-за случайного пустяка, сделал одну из самых крупных рыбацких ошибок в моей жизни, но почему-то в ней, в этой наивной ошибке, я несколько никогда не раскаивался.

РЫБЫ ПРОЗРАЧНЫХ ВОД

Если проехать на пароходе от Ленинграда часа два вверх по Неве, то в ней, в Неве, можно поймать хариуса: на червяка — мелкого, на шелковую рыбку — крупного. Однажды в тех же местах мне попалась форелька, мелкая, вне рыбацкого веса, но несомненно форелька. Чиста, значит, в истоке невяская вода. В пло-

хой воде ни хариус, ни форель водиться не станут. Лосось, вероятно, с величайшим отвращением проходит Неву, загрязненную стоками миллионного города. Дело его, лосося, несколько особое: он через Неву не может не идти, его гонит неведомая сила туда, где он увидел свет жизни. И ежегодно стада огромных рыб спешат пронестись из моря сквозь отравленные волны реки в сапфирную лазурь Ладожского озера, чтобы там на песчаных отмелях, выметав икру, дать жизнь следующему поколению.

На неевского лосося я покушался несколько раз, но — что же делать! — не поймал ни одного. Я только видел пудовых лососей, пойманных в Неве сетью.

Смешно и странно: такой большой лосось мне при первом взгляде живо напомнил... уклейку! Лосось на уклейку похож приблизительно так же, как двенадцатипудовый тигр на маленького котенка. А все-таки что-то общее между ними есть. Лазурной стрелкой несется в глубину уклейка после клевка, и серебристая ее чешуя недаром идет на окраску стекла под жемчуг: она бела, как молоко, эта мельчайшая чешуя.

Тот же блеск, жемчужная белизна, то же расположение красок и у лосося, но уклейка — ничтожная рыбешка в мизинец, там мелкая искра синевато-бегло трепещет и гаснет мгновенно, а тут, у лосося, на полуаршинных в ширину боках могучей рыбы, сотрясающей длинную сеть, тут ярко, ясно блестит лазурное сияние. Один вид роскошных рыб, хотя бы только зрелище этой великолепной красоты, может доставить рыбаку величайшее удовольствие.

В светлые воды Вуоксы я впервые опустил чужую удочку, случайно попав на лодку, когда приехал не рыбу удить, а посмотреть на знаменитый водопад Иматру. Через день я вернулся уже со своей удочкой и стал еженедельным гостем Вуоксы в течение... двенадцати лет. Если я не ловил рыбу там осенью, то только потому, что это было запрещено. В остальные времена года в каждую минуту суток я ловил. Под ненастным мелким дождем рыба там почти не берет: знаю, изучено вполне. Зато дождь крупный, пронизанный солнечными лучами — это редкий праздник рыбаку. Тут есть из-за чего промокнуть до нитки: удостоверяю, имею доказательства. В полдневный жар там на гранитной кровати с постелью из мха сладок сон под шум водопада, но и в этот час под палящими лучами иногда шаталась одинокая лодка: изредка случались поклевки, каких забыть нельзя.

Утро обычно заставало меня над безыменным водопадиком пониже большого знаменитого. Сюда нельзя проникнуть иначе, как в лодке. Серые камни, не запятнанные ничем, выглядывают из воды причудливыми обломками; среди них вечно кружится, бежит, плещет вода. Зелень недоступных обрывистых крутых берегов чиста, как в первые дни земли: на нее никогда не села точка пыли, мимо не пролетел клочок дыма. Тут только брызги волн, их белоснежная пена, чуть алеющая в отблесках зари, и дивно свежее дыхание могучего прозрачного потока.

От прелестной реки, не сравнимой решительно ни с чем, меня откинули только события, изменившие весь мир.

Прежде чем овладеть богатырем-лососем, я поймал красавицу-форель. Она, схватив, мгновенно выпрыгнула из воды аршина на два, хотя была ярдов за

тридцать от моей лодки, не отцепившись, упала, понеслась вглубь, опять взлетела. Эта внезапная сильная клевка, эти обратные падения, эта леска, вылетевшая из воды во всю длину, все эти всплески, брызги, пронизанные лучами восходящего солнца, дивная рыба, стремительно сопротивляющаяся, далеко видимая в прозрачной воде — все это имело чрезвычайные последствия. Мой взгляд на ловлю, на рыбу, на удочку, на реку, на все изменился круто.

У огромной прозрачной реки, вечно обильной водой, бьющейся пенистыми водопадами в гранитных берегах, забыл ли я убогие отмели полуиссохших речонков, подаривших чудесные наслаждения детских лет? Я разлюбил ли неблагодарно все то, что манило и привлекало юного рыбака, едва заглянувшего в подводный мир? Нет, то незабвенное нельзя никогда разлюбить. Оно осталось вечно милым, но отошло в какую-то тень, померкло, утратило интерес действительности. Самодельные удочки, жерлицы, поплавки — какой в них смысл, когда в руках бамбуковое удилице с катушкой, мгновенно сбрасывающей сотню ярдов тончайшей, но несокрушимой лесы. Нет заботы о насадках, ни пачкотни с ними, а главное: ничто не может сравниться с красавицей-рыбой, сверкающей в брызгах при стремительном сопротивлении. Десятифунтовый поднос-лещ, водяной конь-шереспер, сдающийся после двух-трех нелепых скачков, аршинная щука, бешено кидающаяся на блесну, — все они ничего не стоят перед пятифунтовой форелью. Превысившая пять фунтов форель прыгает не очень охотно, но в пределах этого веса она, попав на крючок, непременно задает такое представление, что у рыбака сердце замирает от страха. Форель клюет стремительно и легко. Схватив, — дерг, дерг, дерг! — обманщица большей частью бросает приманку. Из десяти случаев по крайней мере семь кончаются ни в чью: форель уходит неповрежденная, а рыбак остается ни с чем. Хитрости это форели или шалости? Несомненно, что иногда форель хватается приманку не для утоления голода. Когда несметными стаями шла рыбка, которой дал бессмертие гоголевский городничий, мелкая нежная ряпушка, тогда форели попадались битком набитые знаменитой рыбкой. Двух-трех ряпушек совсем свободно можно было вытащить за хвосты, торчавшие изо рта форели. Зачем она тогда хватала приманку? Такого случая, чтобы форель приманку проглотила, не только у меня не было, но я и не слышал о таком. Крайне редко приходилось вынимать крючок изо рта форели. Обычно шелковая рыбка, очень маленькая, слегка помятая при поклевке, висит около прелестной головы побежденной красавицы, вцепился же предательски в щеку или в верхнюю губу и чуть-чуть держит один из крючков-якорьков, висящих свободно около приманки. А рыба сильна, повторяю, стремительна, — как легко, значит, должна уступать малейшей потяжке удочка, как чутки и плавны должны быть движения рыбака, чтобы удержать драгоценную добычу до сдачи, до того, чтобы форель легла на бок. Она коварна, разбойница! Подведенная уже к борту, она лежит, повидимому, в полном изнеможении: хоть считай синие и красные пятна ее чудесной то серебристой, то золотистой одежды.

Прозрачный сачок, погрузившись глубоко в воду, искусной опытной рукой подводится к форели, еще миг, и он вычерпнет ее... Ф-ф-ы-р-к! Опять прыжок, брызги, всплеск — и последним отчаянным усилием форель устремляется под

лодку. Тут рыбак должен показать мягкую твердость или жесткую нежность, как угодно. Тут необходимо ни на миг не задержать рыбу в ее порыве и не ослабить лесу настолько, чтобы крошечный якорек, уцепившийся слегка, не отцепился совсем. Счастлив тот, кому это удалось: он подматывает три-четыре ярда лесы, поднимает победно удилице и — у борта окончательно сдавшаяся красавица. К сожалению, несчастных на этом свете больше, чем счастливых.

Лучше всего форель берет в летние месяцы на восходе солнца, в те немногие минуты, когда огненные стрелы, разгораясь, летят в небо из-за края земли.

Исполнена наслаждений утренняя ловля форели!

Как только солнце поднимется в полном великолепии и на него смотреть уже нельзя, потоки тепла несутся над водой. Они ласкают слегка продрогшее тело, лучи света пронизывают волны и, блестя на поверхности, показывают ее глубину. Тут форель перестает брать: клев продолжается полчаса, три четверти часа.

В это время вот, пока поднимается солнце, гуляют сиги. От водопадов, от волн, пенящихся у обломков гранита, сиг, рыба смиренная, уклоняется. Он на зеркальной глади заводи утром тихонько ловит мошку. Любителя мирных впечатлений это зрелище может привести в восторг. Достаточно встать на лодке, чтобы увидеть кругом десятки крупных серебристых рыб, спокойно снующих туда и сюда. Бульк! Схвачена ли мошка, неосторожно почти усевшаяся на воду, или просто так для чего-то высунулась рыбья голова? Вереница крупных пузырей воздуха, точно жемчужная цепочка, поднимается на поверхность. Бульк! Нет, этот, должно быть, закусил мошкой — жует и слишком уж с довольным видом помахивает, удаляясь, хвостом. Бульк, бульк, бульк! Везде разгуливают, пристойно поплескивая, сиги, поднимаются, опускаются и сверкают серебристыми боками.

У них, у сигов, огромный недостаток, почти порок: они почти не берут на рыбку, даже на самую маленькую, величиною в стручок акации. А червяков для них заготавливать как-то тут не подходит, это когда-нибудь в другой раз. Можно, казалось бы, во время такого гулянья предложить сигам муху, но это дело слишком тонкое, это опять-таки другое дело.

Если уж очень не повезло с поклевками форели на утренней заре, то на обратном от водопада пути можно подпустить крупную красную рыбку к зарослям травы — там без осечки хватит щука, там, кинувшись на приманку, которой он никак не мог бы проглотить, закувыркается, упираясь, двухфунтовый окунь. Человек, однако, балуется очень скоро. То, что на Клязьме или Ревне показалось бы роскошной добычей, здесь, на Вуоксе, не очень манит: лучше выспаться под шум водопада, чем тратить время на щук и окуней.

Однажды роскошная девятифунтовая форель схватила в сверкающий палящий полдень не в пенисто-бьющихся волнах, а по середине реки на щучью приманку рыбака, слегка повесившего нос после отчаянно неудачной утренней зари. Что это было? Улыбка судьбы в вознаграждение за рыбацкое горе утра, сумасбродная прихоть проголодавшейся форели или исключительный случай для подтверждения общего правила? Возможно, что все вместе.

Перед тем как лягут на воду тени вечера, форель опять клюет полчаса — по правилу. Эта вечерняя заря значительно удлиняется на счастье рыбака и на погибель форелей в летние белые ночи, во время хода ряпушки.

В один из таких счастливых вечеров я поймал десятка два великолепных — то серебристых, то золотистых — форелей, разъезжая на лодке, так, что шелковая рыбка моей удочки в ярдах тридцати от меня плыла по огням фабрики, стоявшей на самом берегу. Да, фабрика, да еще бумажная, отравляющая обычно целую реку, а тут под ее окнами форель. Умеют же люди охранять воду.

Случилось мне в другом месте видеть и то, как, до какой степени они воду отравляют. На Урале в прозрачной глубине горной реки я увидел станицу крупных рыб. Хариусы! Синевато-бледные, серебристые, они спокойно шли блестящими вереницами, толпились один над другим, чуть-чуть подрагивая в быстром течении. Те, что помельче, всплывали к хлебным крошкам, брошенным на воду, и, подхватив, пережевывая, опускались обратно продолжать неторопливый ход в журчащей у камней воде. Кругом дышал, благоухая, зеленый лес, еще не тронутый пилой, в кустах гудели пчелы и свежий голосок кукушки звучал из-за вершин. Я спросил у спутника, что это за река, и получил ответ:

— Каква.

Не слыхивал такой, но... всякие бывают. Из каких родников взялась, куда текла прозрачными струями неведомая река?

— А далеко ли мы от завода?

— Верст десять.

Вдруг что-то возникло и понеслось над вершинами леса, что-то задрожало, затрепетало в воздухе, жужжа точно невидимыми огромными крыльями чудовищных стрекоз. То завод, объявляя полдень, подал свой железный голос, и он, ослабленный далью, так странно звучал здесь, в тишине леса и гор.

Под вечер, приближаясь к заводу, я спросил, что это за гнусный поток мы переезжаем: деготь, удушающий издали. Мне ответили:

— Каква. Тогда мы были выше завода, а теперь к нему подъезжаем снизу.

Возможно ли? Хрустальная красавица горных ключей. Какой унижительный ужас. И как бы желая подтвердить свою страшную власть, железный голос завода заревел рядом, оглушая.

На всем протяжении Вуоксы, от выхода ее из бледносиних волн Сайменского озера до впадения в сапфирную лазурь Ладожского озера-моря, нигде никогда не видел я мутной струйки, загрязненного угла, застоявшейся в заводи воды.

В этой чудесной реке почти нельзя ловить рыбу сетью: везде обломки гранитных скал, камни. Ловля на удочку строго ограничена сроками для драгоценных рыб. Зато и населена река необыкновенно, почти невероятно. Именно там на этой реке мне пришлось увидеть единственное зрелище, какой-то сказочный смотр рыбы всех пород. После грозы, разразившейся в июльский полдень, началась рыбья пляска. Мелочь кувыркалась всюду, плескаясь и блестя под вновь засиявшим солнцем. Огромные, то длинные, то широкие, толстые рыбы выбрасывались около лодки. Тут удалось рассмотреть, как выпрыгивает из воды крупная рыба. Она взлетает в воздух не иначе, как серпом, и выпрямляется лишь, опять

упав в воду, когда стремительно уносится в глубину. Плясали все жители прозрачных вод, не видать было только угрей.

На праздник вышли такие, которых присутствия здесь я не подозревал. Судак явился. Когда он запрыгал в лодке, гребец-финн повторял на своем языке его название. Мудреного слова я не запомнил, но что мне объяснять? Я узнал его, старого знакомого, и обрадовался ему среди неслыханного изобилия. Рыбья пляска кончилась через несколько минут, но бешеный клев продолжался.

Это случилось в дни «ниррхи». Так называется странная насадка, слегка напоминающая черного червяка, это — крючок, зашитый в кожу угря. Обычно в самое жаркое время главная рыба прозрачных вод перестает брать на что-либо, кроме «ниррхи». Кто, как, когда узнал про такую насадку? Не все ли мне равно. Я уже не первый год знал только то, что иногда гребец презрительно отмахивается от шелковой рыбки-блесны и бормочет свое «ниррха». Что ж тут спорить, да еще на непонятных языках?

Итак, я плывал, влача за лодкой «ниррху», гадким червяком висевшую с середины будулина². На конец его я все-таки прицепил маленькую шелковую рыбку. В то время как лодка пересекала реку, леска напряглась и удилище согнулось. Камень? Иногда это бывает, но такая зацепа не страшна, рыбка скользнет по гранитному боку камня, обточенному до гладкости волной, и вновь поплывет. Это не родимая коряга.

— Рипа, рипа! — зашептал гребец, таинственно подмигивая.

Я чувствую, что рыба. Удилище гнется, леска уходит вглубь, и катушка, треща, дает равномерный плавный звук. Все в порядке. Что за странная рыба, глухо толкая руку, тяжким комом виснет на удочке? Выпрямляется удилище, катушка работает, наматывая лесу. Ближе, ближе... Вдруг две широкие толстые рыбы кругами сверкнули в воде.

— Как! — радостно кричал гребец. — Два как! Саюнас как!

Что как — два, это ясно. Но кто такой саюнас? Рыба лещевого вида среди вечно бьющихся зыбей? Обе рыбы благополучно прибыли в лодку, и я смотрел на них, вытараща глаза. Карпы! Вот их усы, вот красные плавники, чешуя крупная, золотистая, вот свиные глазки, каких нет почти ни у какой другой рыбы. Откуда, почему, зачем, как попали сюда в стремительные струи карпы, рыбы болотистых прудов? Оказывается, среди водопадов и пенистых водоворотов когда-то поднялась со дна реки гранитная отмель в несколько десятков квадратных сажен, и в ее затишьи, окруженном вечно бьющимися волнами, живут рыбы тихих вод. Я потом ставил там перемет, наживленный попросту червяками, и с неизменным успехом обеспечивался прекрасной рыбой: карпы, лещи, сиги, угри, отменно крупные ерши утешали за отсутствие тех, кого преимущественно я старался поймать.

В день грозы и рыбьей пляски моя добыча достигла исключительных размеров, несколько даже выходящих из охотничьих приличий. Я раздарил с десяток щук помельче гребцу, его соседям и кроме того увез домой ящик отборных рыб, весивший более трех пудов. Совсем без добычи я с Вуоксы не возвратился

² Трехаршинный прозрачный поводок из так называемого буйлового волоса. От времени он, будулин, случалось, перегорал, но, свежий, отличался изумительной крепостью.

никогда, но бывали скудные дни: только щуки и окуни. Остальные не желают брать, ничего не поделаешь.

В один из отчаянно досадных дней после двух десятков поклевок, не давших ни одной рыбы, после долгого скучного плавания по наилучшим местам Анти, неизменный гребец, друг и учитель, предложил половить форель с камня. Название рыбы-красавицы, не попавшейся за все утро ни на одну из моих приманок, он произносил так: «ворель». А по гранитной лепешке, высунувшейся из воды, хлопнула рукой и с хитрой улыбкой подмигнул на нее. Видя, что я не понимаю, Анти, причалив к берегу, взял мою удочку, вышел из лодки и помянул меня за собой. По толстому, отлично отесанному бревну мы перешли с берега на плоский камень величиной с большой стол. Кругом стремительно неслись прозрачные струи. То тут, то там виднелись крупные рыбы. Хрустальная глубина кое-где аршина полтора, местами меньше. Видны красные, синие пятнышки на боках дивных рыб, слегка подрагивающих над серебристым песком.

— Ворель! — подмигивая, объясняет Анти.

Сам понимаю. Кругом форель, а делать нечего. Никогда в жизни не чувствовал себя так глупо: не в состоянии оторвать рук от чудовища. Голова свежа, зрение ясно. Очевидно, что никак не утонуть в потоке, который мне едва по пояс, и не могу двинуть рукой! Анти в изумлении танцует кругом меня по камню и наконец, сам закидывает мою удочку. Цоп! Анти передает удочку мне. Форель прыгает в брызгах. Но руки у меня точно связаны, я могу двигать лишь их кистями: локти прикованы к бокам. Я очень скоро вытягиваю... шелковую рыбку, смятую поклевкой: форель ушла. Моя удочка закидывается вновь не мною, этакий стыд, на этот раз подматывается твердой рукою без передачи, и — с Анти шутки плохи! — форель прелестно трепещет в сачке. Тогда я усаживаюсь на камне, и — о, чудо! — руки мои мгновенно развязываются, я могу закинуть удочку как угодно, но я не в состоянии передвигаться ни в какую сторону, я точно прирос к проклятому камню! Я перехожу на берег — руки в тот же миг развязываются вполне, возвращаюсь на камень, и — опять почти недвижим. Учиться жить на камне среди стремительного потока некогда. А сидя размахнуться удачно двадцатиярдовой леской без всякого грузила очень трудно.

Проучившись усердно два года, я достиг лишь того, что, стоя на берегу, мог кое-как закинуть удочку нахлыстом. Надежду забросить ее хорошо с лодки, как запросто делал Анти, я оставил: для меня недостижимо в те короткие, слишком драгоценные минуты, какие оставались вообще на всю ловлю.

Рыба светлых вод на искусственную муху берет летом охотно, но муха должна упасть на воду так, как опускается в последнем содрогании умирающая бабочка. Когда, отыграв странно короткую жизнь, несется беловато-серыми роями поденка, они, хладнокровные жители этих светлых вод, безумствуют не хуже клязьменских лещей и судаков, они так же клюют наперебой, хватают жадно — только кинь как следует. В эту пору, оставив лодку, я с берега таскал их всех: сига, хариусов, форелей, и малых и больших.

А лосось? Этот вопрос я поставил Анти после нескольких десятков форелей, выловленных так и этак в разные часы дня и ночи.

— Эй суймить! — подмигнув, отвечал Анти и тут же объяснил по-русски:

— Лакс не кусал.

Я знал, что лакс — лосось, но как же так? Неужели он никогда не кусал? Вот странная рыба. Кто-нибудь как-нибудь ловит же этого самого лакса?

Корзинка прелестных форелей, роскошная добыча, так недавно еще наполнявшая гордостью сердце рыбака, перестала удовлетворять, в ней чего-то нехватало.

В теплую душную ночь, когда растрепанные облака, угрожая дождем, хмуро висли чуть ли не над вершинами прибрежных деревьев, Анти таинственно шепнул:

— Суймить. Лакс суймить!

Он взял из коробки и нацепил на мою леску темноголубую рыбку поменьше мизинца. В темноте темную приманку, такую мелочь по крайней мере десятифунтовой рыбе?! Но что спорить: Анти знает все. Мы скользим среди пенистых зыбей.

— Лакс, лакс, лакс! — вдруг шепчет Анти.

Ну, на этот раз он врет. Его рысьи глазки как-то увидели, что дрогнул конец удилица. Да, поклевка, но это мелочь какая-то схватила, полуфунтовая дрянь. Что могло бы это быть ночью?

— Лакс, лакс! — повторяет Анти. — Так делай!

И поднимает стоймя весло, показывая, как должно поставить удилице. В тот же миг катушка «вжикает», и половина лесы с нее стремительно сдергивается куда-то в темную воду. Лакс? Не камень ли?

Кругом нас с плеском несутся пенистые струи. Анти гребет равномерно, сильно, но лодка стоит, удилице согнуто неподвижно, за леску тянет неподвижный тяжелый груз. Камень, камень! А что, если попробовать смотать немножко? Катушка вертится, глухо звуча, и медленно толстеет в стальных ее стенках. Странно. Камень, надо полагать, не мог бы сдвинуться с места. Или это лодка к нему приближается? В-ж-ж-и! Точно лошадь рванула за лесу, из дуги в кольцо согнула удилице и мгновенно унесла в глубину гораздо больше лесы, чем я наматал. Теперь и я понимаю: это он, лакс! Если он рванет так еще раз, то у меня на катушке ничего не останется, и леска тогда лопнет. Но удилице слегка выпрямляется, и я сматываю, выигрывая ярд за ярдом возможность нового сопротивления. Опять «в-ж-ж-и!» на этот раз покороче, я снова сматываю на этот раз побольше.

Подбираются ли лохматые клочья облаков, проглядывает ли где-то солнце, я не знаю. Я, начиная изнемогать, чувствую только то, как кручу катушку, сила держать удилице стоймя, а он продолжает его гнуть, все тащит леску в глубину. Вдруг блестящая полоса длинной искрой пронеслась в просветлевшей воде: то сверкнул голубой бок лосося. Он вылетел на поверхность, слегка подпрыгнул, тяжело бухнул в брызгах обратно, рванул раз, два, три и перевернулся вниз спиной. Лодка к нему подскочила, Анти перегнулся за борт и коротким багром подцепил великолепную рыбу.

— Лакс! — торжественно подтвердил Анти. — Карош: кило куус.

Это значило, что лосось весил пятнадцать фунтов: опытный взгляд ошибся только на один фунт.

Такие сражения повторялись много раз, не всегда заканчиваясь моей победой, — случались и поражения. Малейшая невыдержанность, торопливость, неправильная постановка удилица, задержка в спуске лесе, когда лосось, уже плававший вниз спиной, вдруг опять бросался вглубь, и — из-под лодки только гнусно вытягивался обрывок лесе: остальное исчезало в пенистой бездне водопада.

Однажды в десятом часу утра, в бесклевное вообще время, среди речной глади вдали от водопадов, на крупную щучью рыбку я поймал трех лососей беспрерывно одного вслед за другим. Борьба с последним продолжалась три четверти часа. Когда он всплыл побежденный, я склонился за борт, чтобы самому схватить багром, скривил слегка удилице, он рванул, сломал его верхнее колено, но больше сил уже не имел — я все-таки взял его. У меня был запасной наконечник для удилица. Очевидно, лососи стадом переходили тут реку. Продолжать ловлю? Но я в счастливом изнеможении сказал Анти:

— Вези домой. Больше не могу.

Это был самый крупный мой лосось, в двенадцать килограммов, средний же размер обычно пять-шесть килограммов. Зимой тот же лакс — длинная, несуразно тонкая, бесцветная рыба. Приманку — соленую рыбку — он хватает жадно, зацепившись, не сопротивляется и вяло идет к лодке. Лосось ли это? Он, но тусклый, бледный, жалкий, обессиленный икрометанием, истощенный какими-то гадкими червяками, присасывающимися к нему в это время. Отдохнувший, отгулявшийся, откормившийся к лету лосось своей могучей красотой затмевает даже прелестную попрыгунью — форель.

Во внутренностях лосося, удивительно маленьких для такой большой рыбы, никогда нет ни зеленых, ни черных оттенков с гадким запахом, он не набивается какой попало дрянью. Самая чистая рыба лосось, гласит кухня, ставящая лососину непоколебимо на первое место. Рыбак согласен с таким отзывом. Он горд им, но смотрит на дело по-другому: ему дорого могучее сопротивление длинная, несуразно тонкая, бесцветная рыба. Приманку — соленую рыбку — он хватает жадно, зацепившись, не сопротивляется и вяло идет к лодке. Лосось ли это? Он, но тусклый, бледный, жалкий, обессиленный икрометанием, истощенный какими-то гадкими червяками, присасывающимися к нему в это время. Отдохнувший, отгулявшийся, откормившийся к лету лосось своей могучей красотой затмевает даже прелестную попрыгунью — форель.

Во внутренностях лосося, удивительно маленьких для такой большой рыбы, никогда нет ни зеленых, ни черных оттенков с гадким запахом, он не набивается какой попало дрянью. Самая чистая рыба лосось, гласит кухня, ставящая лососину непоколебимо на первое место. Рыбак согласен с таким отзывом. Он горд им, но смотрит на дело по-другому: ему дорого могучее сопротивление лосося, его стремительно-упорная долгая борьба после осторожной поклевки. Пудовый сом, схватив крюк с тухлым мясом, грубо тянет за веревку — ну, что тут разговаривать? Тащи, выволакивай желтобрюхую безобразную скотину. А когда серебристый богатырь-красавец лосось, уколотый ничтожным крючком, несет с ним в глубину, — нет, тут остерегись, подумай, рыбак, сообрази, как

не упустить своего счастья. Лосось для рыбака — это высший порыв страсти, восторг, мечта!

У ХОЛОДНЫХ СКАЛ

СМЕРТЬ ЛЕБЕДЯ

Проходя со мной по льду заводи над теми местами, где летом мы ловили окуней и щук, Анти считал своим долгом топнуть ногой и сказать:

— Хилья пайка. Ругой места — фпрр!

Это повторялось столько раз, что я в конце концов привык понимать: здесь тихое место, и потому вода замерзает, а там... Ну, там небольшие, но сердитые волны вечно прыгали и плескали так, что, поездив по ним часа два, я не выдерживал и кричал:

— Хилья пайка, хилья пайка!

Итак, мы плаваем. Анти, мерно покачивая веслами, почти спит, я жду поклевки. Зимняя ловля скучна. Окунь и щука не берут вовсе, форель, лосось хватают редко: они истомлены нерестом, хворают и, схватив, сопротивляются вяло. Но лучше плохая ловля, чем никакой, и зимой мы все-таки ловим. Пробуждение весны чувствуется по очень слабым, почти неуловимым признакам. Среди льдов, висящих то синими, то желтыми громадами по гранитным берегам никогда не замерзающей реки, из леса, покрытого еще не тронутым саванном снега, вдруг слышится странный, не лишенный приятности, булькающий звук — точно палкой по жестянке, наполненной водой.

— Варрис мальчик работай! — объясняет на мой вопрос Анти.

И, видя мое недоумение, добавляет, указывая на пролетающую ворону:

— Варрис.

Ах, вот кто такой варрис: очень приятно.

Тут таинство слов объясняется: ворона в клюве держит ветку, усаживается почти на вершину ели, где висит гнездо, и, положив ветку, булькает. Вон оно что: починка гнезда, семейные заботы, намерение вывести маленьких. Кто мог бы ожидать таких нежных звуков в голосе вороны?

— Большой белый утка, — подмигивает Анти в сторону водопада, — хочешь рилай? Ха-ха. Утка так делай! Прочь делай!

И он размахивает руками, показывая, как улетают птицы. Смех же его очень обидно относится к охотнику, который остается ни с чем.

Да, мы подъезжали уже раз десять к стадам пролетных лебедей, и «большой белый утка» каждый раз «прочь делай». Я от дробы перешел к пулям, заказывал особенно дальнобойные патроны, прострелялся в пух и прах и сложил оружие. Безнадежно недоступны дивные птицы! Вот сейчас лебединое стадо играет у водопада, там, где у самого стремени почему-то есть кусок зеркальной глади. Отчетливо видно лебедей в ярком свете безоблачного дня. С резким криком они носятся над водой, присаживаются, плещутся, поднимаются и опять кидаются в воду.

— Рилай! — поддразнивает Анти.

Мы плаваем довольно мрачно. Поклевки нет. Анти, убедившись, что никакого развлечения не будет, почти спит, я стараюсь не смотреть на лебедей. Но крик их долетает сквозь шум водопада, и... и... не могу я на них не смотреть. Вот сейчас они поднимутся с воды, затрубят точно в серебряные трубы и жемчужною цепью потянутся в лазурной вышине. Вдруг все свершается наоборот: лебединое стадо, отыграв, вытягивается в плывь к берегу, плывет, плывет и исчезает из глаз за выдавшимся с берега куском гранита — там, где сравнительно тихая, но все-таки незамерзающая заводинка.

«Если мне их не видно, то ведь и меня им не видать!»

— Анти, — командуя я, впопыхах забыв, что русский язык ему знаком весьма призрачно, — лебеди заплыли в заводь. Ложись в лодку. И я лягу. А ну тебя к чорту, дурак! Неужели непонятно?

Анти тарасит на меня глазенки в совершенном недоумении.

— Я так делай, — начинаю я кривляться, показывая, как я скрючусь, сложусь вдвое, сидя на корме, чтобы прийти в уровень с краями лодки, — а ты так делай.

Анти, однако, не может, не смеет лечь: он должен не выпускать из рук весел. Следовательно, ему остается только отклониться назад, полусидя. Лодка поплыла по течению. Имела ли она действительно вид пустой, привыкла ли лебединая станица к ее присутствию? Лебеди не только не взлетели, но выплыли нам навстречу из-за камня и тут, в нескольких шагах от лодки, стали тяжело подниматься. Видны были их оранжево-огненные глаза, полные дикого ужаса. Я выстрелил, и один из лебедей, безжизненно свернув крылья, упал на воду. Лодка подскочила к нему, я схватил огромную птицу, обернулся с выражением своего восторга к Анти — и застыл от ужаса. Лицо Анти побагровело, шея надулась, глаза готовы выскочить. Он греб изо всех сил, но лодка не двигалась. Тут я понял: мы попали в водопад.

Как, смерть, сейчас? Нельзя, нельзя, это слишком ужасно.

Погибнуть так нелепо, даже без сопротивления. И, помимо моей воли, не зная почему, зачем, я закричал:

— Хилья пайка, Анти, хилья пайка!

Все силы, все желания, вся жажда жизни моего существа слились в этом крике.

Ответить мне Анти не мог. Он только захрипел слегка, рванул отчаянным усилием весла и в налившихся кровью глазах его сверкнула радостная искорка. Лодка прыгнула. Кругом с каким-то зловещим шелестом неслись пенящиеся струи. Еще удар весел, еще прыжок лодки. Ага! мы не стоим, мы, судя по камню, двигаемся чуть-чуть, но двигаемся против страшного течения.

— Ну, ну, ну! — орал я. — Анти, голубчик, еще разок. Хилья пайка, милый!

И вдруг лодка резко пошла вперед, она вырвалась из струи, увлекавшей нас к смерти. Через несколько минут мы высадились в заводинке, скрывавшей лебедей. Еще задыхаясь, Анти много и громко говорил мне что-то по-фински: вероятно, то же самое, что я спешил высказать ему по-русски. Не хотелось нырнуть, говоря вкратце и на общем языке.

— Хилья пайка! — заявил Анти, вдруг скрючившись от смеха. — А, хилья пайка пàрэмпе!

Я также смеялся, повторяя непонятные слова, из них одно новое. Что могло бы оно значить? Ах, какой восторг эта жизнь!

Над нами в лазурной вышине, сверкая белизной, кружились лебеди, и звенящий их крик издали звучал нежно и печально. Они упорно не улетали. Убитый лебедь лежал на снегу и — странно — был белее, чище снега.

— Кило десять и кило пять, — сказал Анти, взвесив на руках огромную птицу, и для пояснения трижды сжал и разжал пятерню. Он ошибся только на три: лебедь весил восемнадцать килограммов.

— Ну, неси! — обратился я к Анти. — Не бойся, штраф я заплачу.

Как я ни уговаривал, он лебедя не понес. Штраф, конечно, не его дело, нет, но... «ругой мужик увидит, тидно будет». Лебедей в Финляндии стрелять запрещено. Стыдно будет. Вот странное для русской головы соображение.

В гостинице народ более развращенный: там без всяких неприятных разговоров лебедя уложили в корзину.

— Большой белый утка, — хлопнул по ней, смеясь, Анти, — хилья пайка пàрэмпе!

Он подмигивал по-обыкновенному, но маленькие глазки его заглядывали глубже и значительнее, чем всегда, и мне была ясна связь мыслей между лебедем и странными словами, из которых два я бессознательно выкрикнул в страхе смерти. Теперь я их знал все три: «тихое место — лучше».

Угроза смерти жива всегда, она не забывается, не бледнеет от времени.

Но ярче даже, чем это жуткое ощущение близкой гибели, остался в моей памяти звенящий как будто укором крик лебедей, кружащихся в лазурной вышине.

ДРАКА С НЕИЗВЕСТНЫМ

Ило — мелкая черная собачонка на кривых желтых лапах. У нее смешно-длинные желтые же брови, рваное ухо и хвост кренделем.

— На чем поедем, — спросил я рыбака, когда мы собирались на рыбную ловлю, — где же лошадь?

— Ило гоняй, — спокойно отвечал рыбак и что-то сказал по-фински собачонке, вертевшейся около него.

Ило опрометью кинулся куда-то прочь со двора. Немного погодя на двор, позвякивая бубенцом, вбежала лошадь, а вокруг нее с веселым лаем прыгал Ило: пригнал.

В другой раз, вернувшись с рыбной ловли в полдень, я спросил молока. Рыбак пробормотал как будто те же слова. Ило убежал и пригнал корову много медленнее, но не хуже, чем лошадь.

Умный песик Ило, что и говорить, но на охотничью собаку несколько не похож. И я очень недоверчиво встретил предложение приятеля-рыбака поохотиться на рябчиков с его собачонкой.

— Ило карош, — твердил Анти, заметив мое колебание, — Ило понимай, Ило так делай.

Анти треплет себя за ухо, хватает за горло, визжит, рычит, почти мяукает, задыхается.

— Кошку задушил Ило, что ли?

— Нет, — кричит, смеясь, рыбак, — вон оттуда ходит сюда такой!

Он кивает на лес, хлопает по дверце курятника, показывает, какие длинные когти, какой хвост.

— Такой курицу хватай, Ило кусай. Ухо больно, ай-ай-ай. Кровь лил, лил.

Какой же хищник приходил из леса, он ли напал на Ило или же желтобровый герой его прогнал? Рыбак не в состоянии объяснить. Он кричит непонятные мне финские слова, а Ило, слыша, что речь идет о нем, ходит, чуть ли не пляшет на задних лапах.

Мы прошли между грядами, перелезли через прясло огорода. Ило, шныривший перед нами, куда-то исчез. Дорога не широка, но удивительно чиста, тверда, камениста. Лес стал по обе стороны сплошной зарослью.

Вдруг тьяканье собачонки донеслось из лесной глубины.

Анти остановился и снял ружье с плеча.

— Пю, — усмехнулся он, — вот, Ило карош: пю!

Что-то фыркнуло, встрепенулось.

В тот же миг рябчик, почти не махая крыльями, плавно пронесся через дорожку и исчез в зеленой чаще.

— Рияй, — кричал Анти, — ругой пю!

И выстрелил сам. Комок сырых перьев упал, безжизненно цепляясь между ветвей.

А я стоял с патронами в кармане. Мне не верилось, что так близко от дома, у самого огорода может быть сторожкая лесная дичь, и я шел с незаряженным ружьем.

— Рияй надо, — улыбаясь, но с упреком твердил Анти, запихивая рябчика в сетку, — Ило очень карош. Ило мэтсо гоняй.

— Ну это врешь, брат. Глухаря ему не достать.

Анти подбежал к сосне и стал на четвереньки.

— Ило так делай: гау-гау! Мэтсо так делай: пш-пш!

Он представлял, как собака прыгает, лает под деревом, а глухарь, вытянув шею, хлопает крыльями и шипит на собаку. Ну, да, я знаю, так делают с глухарем сибирские лайки, умницы-собаки, но такому криволапому песику, где же ему научиться. Не может быть.

Лес дышит могучим благоуханием. За его зеленой стеной, слышно, бьется огромная вода. Водопада не видать, но это его мельчайшие брызги донеслись сюда в румяной свежести утра или капли росы повисли на лапах-ветвях старых елей?

— Стоп, — тихонько командует Анти и торжественно поднимает руку, — мэтсо!

Собачонка взвизгивает где-то раз, заливается лаем и опять визжит.

— Стоп, — повторяет Анти, — смотреть надо.

Он уползает в чашу.

После промашки с пустым ружьем Анти не доверяет моей охотничьей сноровке, я это вижу. Что ж делать, прозевал рябчика, верно. Теперь все в порядке? Я готовлюсь подходить к глухарю, но выползает Анти, машет рукой, смеется.

— Баба-мэтсо, мама-мэтсо, мальчик куус, так делай!

Он вытаращивает глаза, надувается, пыхтит, хлопает руками, точно крыльями, изображая, как глухарка охраняет свой выводок. Он погибает один за другим шесть пальцев:

— Мальчик-мэтсо куус, понимай?

Ну, как не понять: шесть птенцов-глухарят. Что делать?

Стрелять не будем, только посмотрим.

Осторожно ползем под кустами, и тонкие их ветки брызжут, обильно стряхивая холодные капли. Все тихо. Слышно, как пчела жужжит. Где, около какого цветка вьется она на прозрачных крыльях? Это что? Как будто курица тихонько клохчет? Старая крупная клуха: басистый хриплый голос.

Вдруг что-то лопнуло, разорвалось, затрепыхалось в воздухе. То взлетела глухарка, за ней разом, стайей, резко поднялись ее молодые. И громкое квоканье встревоженной птицы слилось с каким-то воем, визгом, рычаньем, лаем. Анти вскочил, побежал, скрылся за деревьями, там грянул выстрел.

— Убил? Во что стрелял, где Ило?

— Опять такой, — орал Анти, мешая финские и русские ругательства, — Ило хватай, убежал! Сатана пергаля!

Он трепал себя за ухо, показывал, какие когти, какой длинный хвост у лесного хищника. Ило кого-то схватил или на него кто-то напал, когда он подбирался к своей добыче? Следов не найти в летнем лесу.

Мы постояли, послушали: молчит зеленая глубина. Пока мы выходили на дорогу, Анти рассказывал мне много, я понял мало. В рассказе, кроме показывания когтей и хвоста, часто повторялось название врага, не очень мудреное слово, но записать его было не на чем.

На дороге мы остановились, подождали. Тут откуда-то, как тень, вынырнул Ило и, виляя хвостом-кренделем, положил к ногам своего повелителя довольно крупного глухаренка.

— Вот, Ило все понимай, — гордо повторял Анти, — мальчик-мэтсо карош, давай сюда. Палякатарилла!

Это он благодарил свою собачку будто бы по-русски, чтобы и я понял.

Впрочем, Ило, не дослушав благодарности, убежал.

А с кем он, Ило, дрался? Я так и не узнал, дома у Анти спросить о том не пришлось. Но я думаю, что и тогда в курятнике ценой разорванного уха Ило добычу у врага отбил.

ХАРИУСЫ

Усаживаясь в тележку на станции Иматра, я всегда подмигивал вознице и спрашивал совсем по-фински:

— Эй суймить?

Анти, щуря крошечные глазки, улыбался, также подмигивал и неизменно отвечал:

— Эй. Суймить эй!

По правде говоря, я не знаю, что это значит: ни «эй», ни «суймить».

Тогда считалось, будто я спрашиваю, клюет ли рыба, Анти же мне отвечает, что нет, не клюет. Но я повторял странные слова, как попугай, и не думаю, чтобы Анти понимал по-русски больше, чем я по-фински.

Это не мешало нам вести длинные и оживленные беседы.

Гостиницу мы давно выпустили в трубу. Это значило, что прямо с поезда я ехал к домику Анти, на берег Вуоксы, с тем, чтобы в свое время есть и спать там, не занимая никакого номера. Впрочем, проезжая мимо гостиницы, мы не забывали подмигнуть:

— Эй суймить?

— Эй, эй. Суймить эй!

При этом мы всегда хохотали.

Возможно, что странные слова означали и не один только клев рыбы.

Обращение с настоящей английской удочкой Анти знал в совершенстве. Он вынимал из чехла этот деликатный инструмент, складывал тщательно и осторожно его части, продевал в кольца леску, проверял, надлежащий ли звук дает при вращении катушка, выбирал из коробки, смотря по обстоятельствам, красную или синюю рыбку. Но в июле, преимущественно в середине этого месяца, бывают дни, когда, подмигнув наиболее ядовито, Анти презрительно хлопает по коробке:

— Эй. Суймить эй! Не нушна.

Мне ничего не стоит изобразить удивление и некоторый конфуз; я их изображаю. Тогда Анти, торжествуя, заявляет:

— Ниррха!!

И показывает мне нечто, похожее на очень гадкого червяка: крючок, грубо зашитый в кожу утря.

Не подлежит никакому сомнению, что бывают дни, когда на самые хитрые и дорогие приманки главная рыба прозрачных вод не обращает внимания, а берет только на «ниррху». Почему? Понять нельзя.

На червяка эти рыбы — лосось, форель — не берут вовсе; притом «ниррха» не висит на леске, подобно червяку на обыкновенной удочке, она вертится очень сильно в струе, идущей за лодкой.

На что она тогда похожа? Как узнал Анти эти дни «ниррхи»? Но он знает их очень хорошо, в остальные же он отдает должное искусным английским рыбкам из шелковой материи.

В двенадцатом часу почти белой ночи, когда мы усаживаемся в лодку, большею частью требуется крупная синяя рыбка — величиной в указательный палец. Анти пробует языком жало каждого из крючков-якорьков, которыми обвешана рыбка, одобрительно покачивает головой и, отъезжая от берега, шепчет мне таинственно и многообещающе:

— Суймить. Лакс суймить.

Ввиду того, что «лакс», несомненно, значит «лосось», пожалуй, есть основание заключить, что «суймить» может значить что-нибудь хорошее. Пусть.

Выехав из довольно широкой заводи, Анти отдает свою лодку течению, и могучая река стремительно несет нас к камню. Этот — величиной с большой письменный стол — плоский, ровный и чистый гранит, слегка выдаваясь над водой, помещается в нескольких метрах выше маленького водопада, каких на Ву-оксе сотни две наверное.

Там, между острыми, кое-как торчащими обломками скал, кипит, крутится, шумит вода, пенится, брызжет, волнуется вечно. Там плавать нам нельзя: такие места не для человека.

Но там любит быть он, лакс.

Мы ездим, опускаясь и поднимаясь, вдоль по течению и поперек, по границе между тем, где можно и где нельзя, а синяя шелковая рыбка крутится там, в кипящей пене.

Сумрачная, облачная, полутемная ночь — наиболее благоприятное время для того, чтобы подsunуть под нос лаксу артистическое изделие фирмы Олькок, знаменитой на весь мир изготовлением рыболовных принадлежностей.

Вдруг легкий толчок сотрясает гибкий конец удилица.

— Рипа, рипа, рипа! — зловеще шепчет Анти.

Но я и без него знаю, что это рыба, и знаю — какая.

Можно смеяться надо мной как угодно, но этот миг, когда берет крупный лосось, на меня производит почти то же впечатление, как выход медведя из берлоги. Конечно, дело только в напряжении охотничьих чувств, в силе ощущения. Ах, эта поклевка из недоступной глубины, жуткое ощущение толчка из иного мира. Лосось берет легко, тянет слабо — так, как будто маленькая рыбка в килограмм пробует, нельзя ли утащить насадку. Но, очевидно, убедившись, что нельзя, или уколовшись о крючок, лосось мгновенно бесится и дергает, как лошадь.

Если не поставить в тот же миг удилице торчком, отпустив вполне катушку, то все изделие знаменитой фирмы летит к чорту. Синяя рыбка остается навеки в пучине безыменного водопадика, а рыболов, повесив нос, вытягивает обрывок лесы; впрочем, иногда ломается и удилице.

Но удилице поставлено надлежаще, катушка свободна и делает — ж-ж-ж-жи! Она должна вертеться идеально: лосось одним броском разматывает, вернее сдергивает с нее ярдов сорок шелковой лесы и останавливается. Вероятно, он в это время сомневается, разбирает, он ли поймал не то, что хотел, или его поймали, что гораздо хуже. Что бы он ни думал, он стоит в водопаде. Напрасно пытаться сдвинуть его с места; верный способ сломать удилице. Но тонкий конец согнувшегося в дугу бамбука, дрогнув, слегка выпрямляется, натянутая, как струна, леска слабеет.

Ага, пошел на уступку! Медленно, дюйм за дюймом сматывается леска на катушку. Из дюймов, однако, образуются ярды, вот их уже двадцать на катушке, вот тридцать... М-ж-ж-жи!!! Опять держись, рыбак! Но, повторив этакую штуку раз шесть-семь, лосось — мужик в сущности простой — ложится брюхом кверху и

позволяет подтянуть себя к борту, откуда свешивается Анти, подцепляет его за бок багром и, положив на дно лодки, заявляет:

— Лакс. Карош. Кило куус.

Сидящий на корме с удочкой в руках счастливый знаток финского языка понимает: лосось весит шесть килограммов. Это — средний размер. Один только раз было десять. Ну, и штука!

Красавица-форель при весе в два кило (кило какс!) задает несравненно больше хлопот. Схватив насадку, она, как пуля, вылетает с ней из воды, выше чем на метр — это на расстоянии тридцати ярдов от лодки. Берет она лучше всего при восходе солнца.

Алмазные брызги, точно искры, сыплются на всем протяжении лески, летят, сверкающим снопом окружая выскочившую красавицу-рыбу, и — бух! Опять все падает в воду. И опять прыжок. Идет, идет, уступает и — шмыг под лодку. Шельма, красавица!

У плоского камня над водопадиком свежесть воздуха и яркость окружающих красок достигают какого-то необыкновенного, невероятного напряжения.

Туда добраться иначе, как в лодке, нельзя: гранитные берега обрывисты и недоступны. И деревья, кусты, трава, покрывающая каменные берега, чисты, совершенно чисты, как в дни юности земли. Тут не было никогда ни пылинки, ни точки сажи, ни клочка дыма. Тут только серые обломки гранитных скал, белоснежная пена вечно бьющихся волн, нежно-изумрудная зелень и розовый блеск солнца над прозрачной водой. Тут, тут могучим, незапятнанно свежим дыханием дает почувствовать себя вся прелесть дивной реки.

Когда солнце начинает выглядывать из-за вершин деревьев, мы едем к домику у заводи.

На огромном плоском камне, сухой буро-зеленый мох лежит толстым слоем: лучшей постели не придумать. Как глубоко в землю вросла наша гранитная кровать! Она непоколебима.

Анти, лежа, расслабленным голосом рассказывает мне истории на воображаемом языке.

— Ругой раз, ругой места, атин утка десять мальчик пил.

Лицо, не знакомое с финским языком, конечно, подумает, что когда-то, где-то мальчик убил десять уток. Это неверно. Надо знать язык. У Анти «мальчик» обозначает все маленькое. «Пил»... Это не выпивка и не убийство, это просто «был». Поняли? Нет? Ну, я-то по-фински мастер: у одной утки недавно было десять утят. Рассказ не блещет глубиной, но автор им доволен, и слушателю лучшего не требуется.

Мне вдруг вспоминается, что сегодня я не видал обычного спектакля, как на заре из прозрачной глубины поднимается серебряный хариус и — бульк! — ловит мошку, скользящую по зеркальной поверхности.

— Хариус, — объясняет Анти на мой вопрос, — хариус очень много мушки тут, хариус спать надо.

При этом Анти хлопает себя по животу и, закрыв глаза, склоняет голову на ладонь, изображая, как будто бы спит объевшийся хариус. Конечно, вздор. Конечно, тот так не спит. Но я понимаю. Вдруг Анти вскакивает:

— Ругой раз, ругой места много-много хариус. Один большой, кило какс. Я так делай...

Не имея больше слов, Анти показывает, как, надев на крючок червяка, он опускает насадку к носу хариуса.

— Хариус эй. Эй суймить. Так делай!

Анти выражает на лице отвращение, мотает головой и, пятясь, изображает хариуса, уклоняющегося от соблазна.

— А я так делай!

И опять хариусу червяка под нос.

Наконец, хариус — не каменный же! — не выдерживает и хватает.

— А я так делай. Хариус так делай. А-ха-ха-ха!

Анти делает вид, что подсекает воображаемой леской, и, извиваясь всем телом, подражает движениям рыбы, вытасченной из воды.

Бедный хариус. Насильно искусили. Бедняга!

— Анти, — говорю я, наслаждаясь этим едва ли не единственным словом, которое я вполне твердо знаю по-фински, — Анти, мы тоже два хариуса: хариус какс. Понимаешь? И... очень много мушки тут... хариусам спать надо, Анти.

Тут я убеждаюсь, что Анти уже спит крепким сном. Мне это все равно, так как я забыл, что я хотел ему еще сказать. Ползут мелкие курчавые облака, водопад вдали шумит, волна под берегом что-то шепчет, и мох пахнет чем-то неуловимо-восхитительным.

Вот-вот еще миг, и я все узнаю, о чем там они шумят, шепчут, чем пахнут, но... все исчезает.

ЛЕБЕДИНАЯ СИДЬБА

I

Как я ни упрашивал хоть разок устроить мне охоту на лебедей, Анти, мой неизменный гребец, приятель и путеводитель, только мотал головой и твердил:

— Нися. За большой белый утка атин раз деньги, ругой раз так делай.

И он показывал, как запирается замок. Это обозначало, что за охоту на лебедя полагается штраф, а при повторении — тюрьма.

Я угощал Анти сигарами, лакомствами, привозил подарки его жене, игрушки мальчику. Ну, щедрый же охотник, то ли еще будет, если свести его на лебедей? Анти вздыхал, шурил крошечные глазки и повторял:

— Нися, никак нися.

Года три я так уговаривал, хитрил и бросил. Нельзя, так нельзя.

Вместе мы плавали по Сайме, огромному бледно-голубому озеру, где в летний жар лодка иногда шуршит по льдине. Мы бродили по необитаемым островам, побывали на многих других озерах, названий которых я не запомнил. Какие груды великолепной рыбы отдали нам прозрачные воды. Каких диковинных длинноносых птиц, не ожидавших нападения, подстерегал я в пустынных уголках. Лебединые станицы виднелись часто, всегда в синей дали.

— Большой белый утка, — поддразнивал, хитро улыбаясь, Анти, — ругой место очень много такой утка. Рилить нися.

Вон что. Значит, ему известны коренные лебединые места. Но что ж делать? Нельзя, так нельзя. Замечательно упрямая дубина этот Анти, никак к нему не подъедешь.

И вдруг ничтожная случайность потрясла скалу, казавшуюся непоколебимой. Анти сдался.

В одну из наших поездок на безлюдный остров я, оставив у огня промокшие сапоги, пошел с ружьем осмотреть песчаную отмель. Анти, поклевывая носом, сидел у костра. Когда я вернулся, мои сапоги сморщенными ошметками дожаривались на углях, Анти крепко спал. Проснувшись, Анти горестно кричал, стонал, плевал, ругался по-фински и по-русски. Видя, что я смеюсь, Анти принялся плакать и со слезами говорил долго, взволнованно, но для меня почти непонятно. В потоке жалобных слов я улавливал только: ехиль, Випури, платиль. Выходило так, что Анти поедет в Выборг, купит там сапоги и мне их сюда привезет.

— Да брось, — сказал я, устав от хохота, — все пустяки бормочешь. В лодке мне сапоги не нужны, до гостиницы босиком дойду, тоже не беда, а там у меня городские ботинки есть. Сапоги были старые, пустое дело.

Не знаю, что понял Анти. Он перестал плакать, только таращил на меня глазенки. Как же так, он проспал, сжег сапоги, а я — ничего.

На станцию провожать меня Анти пришел веселый, улыбаясь хитро и загадочно.

— Я платиль, — повторял он, таинственно подмигивая, — ругой раз платиль ругой место. Когда снег, ветер так делай у-у-у, я тогда платиль. Большой белый утка платиль.

Тут уже я его не понимал. Что такое? Зимой потихоньку лебедя убьет Анти и мне преподнесет. Одолжит, нечего сказать, очень мне он нужен, лебедь.

И я уехал, рассчитывая увидеться с Анти месяца через четыре, когда с его лодки я вновь закину удочку в Вуоксу, огромный прозрачный поток, не замерзающий никогда в обледенелых камнях скалистых берегов.

II

Слово Анти твердо. Едва повисли разорванными клочьями тучи, дохнула мокрым холодом поздняя осень, приехал ко мне в город Анти и привез лебедя. Живого? Убитого? Ни то, ни другое, хуже.

— Шушель, — радостно подмигнул Анти, вынимая из корзины что-то безобразное, какие-то комья грязно-белых перьев, — такой надо делай.

Негодяй, видимо, наслаждался моим смущением. Лебединое чучело? На что такая уродина, куда мне его?

— Такой надо делай, — почему-то торжествуя, повторял Анти, — только равить надо шея, ривой шея не годится, шея надо рямо. Так надо.

Анти надувался, смеялся, выгибался, показывал, как держит шею живой лебедь. Конечно, несколько не было похоже. Но я понял.

— Надо чучелà заказать с правильными шеями. Сколько? Двух довольно?

— Нет. Какс не годится. Какс тьфу!

Анти показал два пальца и почти плюнул на них с отвращением.

— Кольмэ карощ, — сказал он, выдвигая три пальца, — только очень мальчик.

Я давно знал, что у Анти мальчик все маленькое.

— Мало трех, так я четыре закажу.

— Ни, ни, ни, — замахал руками Анти, смеясь и отплевываясь, — вийси шушель, вийси, вийси делай.

— Дороговато выйдет. Ну, да ладно, пять приготовим.

Анти перестал хихикать и подмигивать.

— Я платиль, — произнес он с важностью, — ругой раз сапоги жариль, теперь платиль. Вот.

В корзине у Анти было шесть лебединых шкурок, кое-как набитых соломой.

— Шеи рямо, рямо, — твердил на прощание Анти, — потом бочка сидиль. Когда ехиль, я так делай.

И он показал, как напишет мне о времени выезда на загадочную охоту.

Разве подманивают лебедей на чучела, как уток? Никогда я об этом не слыхивал. Почему два чучела скверно, четыре плохо, подавай ему пять. И при чем тут бочка? Не врет ли попросту Анти?

Я пошел посоветоваться к другу, к старику.

— Лебединую сидьбу я знаю, — сказал он, ухмыляясь в длинную седую бороду, — замечательная охота. Быть может, утонешь. Вероятно, выкупаешься, теперь это приятно. А что замерзнешь до полусмерти, так это уж навверное.

— Зачем же в бочке сидеть?

— Не бочка. Отрез, половина распиленной бочки. Ее конопатят, смолят и опускают в воду, привязав ко дну камень. Туда в нутро надо сесть и сидеть смирно. Понял?

— Как не понять! Значит, волна через край захлеснуть может и перекувырнуться просто.

— Вот, вот, вижу, что понял. И не убьешь ничего.

— Это почему?

— Хитры лебеди. Его еще не видать, только слышно, что кричит, а он уже видит, что у чучела шея чуть-чуть крива: нипочем не сядет. И считать умеют.

— Кто, лебеди?

— Они. Уже не знаю там как, вычитают лебеди или складывают, но чет от нечета различают издали без ошибки. Хоть две дюжины чучел запусти, к парному числу лебединая стая даже не снизится, только крикнет им и — мимо.

— Значит, Анти мне верно говорил.

— Все правильно. Простуда эта осенняя сидьба, мученье, истязанье человека, а не охота. Ты, дружок, лучше не ездил бы.

— Нет, дядя, уж я лучше поеду.

— А ты не можешь заказать своему Анти еще бочку?

— Это для кого же?

— Для меня.

— Да ты простудишься, утонешь, замерзнешь, старый ты чорт.

— Не твоя забота. За чучелами я присмотрю, в порядке будут.

Провожая меня к двери, старый дядя как бы в сторону завистливо бормотал:

— Везет же дуракам счастье. Ведь вот, птенец, ничего не знает, а на лебединую сидьбу едет.

III

В тот день, когда на мое имя пришла телеграмма с одним словом «ехиль», непонятым для всех, кроме меня, в этот день старого дядю заняли неотложные дела. Я уехал один, увезя шесть больших ящиков. В каждом на деревянных распорках, на гвоздях, проволоках, тесемках, не знаю еще на чем, неподвижно помещалось по лебединому чучелу: пять на выставку, одно про запас.

К Анти и от него на место охоты долго ехали под проливным дождем. Но меня беспокоило не то.

А что, если сломались, погнулись драгоценные шеи?

Все свершилось благополучно.

— Карош, — успокоительно бормочет Анти, заглянув в ящики, — сатись, ехиль.

Куда-то в серую муть озера скользит наша лодка. Достаточно ей чуть-чуть покачнуться, чтобы рухнул высоко нагроможденный на нее груз, но на веслах мастер своего дела: лодка плывет, не дрогнув. Я не вижу ничего, кроме серой мути. Рысьи глазки Анти что-то различают.

— Стоп! — тихонько приказывает он сам себе и складывает весла.

Что-то царапает по дну лодки. Затоплены ли тут кусты, водоросли торчат пучками?

Анти тянет какие-то бечевки, цепляет их там к чему-то в воде и, осторожно стаскивая ящик за ящиком, вынимает, привязывает за лапы чучела, спускает их на воду.

Пятерка лебедей плавает, гордо держа шеи.

Опять скользим куда-то в серую муть.

— Тут саари, — бормочет Анти, когда лодка уткнулась в обрывистый берег, — мальчик саари, я тут сидиль, ты ругой место рилай.

Пока он уносит куда-то ящики, я соображаю. Это островок, где спрячется Анти во время моей стрельбы. Значит, тут и бочка? Но отсюда мне не видно чучел. Значит, не тут.

Анти возвращается. Кривая улыбка морщит его губы.

— Ежели лучится что, — почти шепчет он, — надо так делай.

И вдруг дует в коротенькую дудку. Пронзительный звук вырывается так резко, что я вздрагиваю. Анти все с той же улыбкой вешает мне на шею свой не то рожок, не то свисток.

Понимаю: это на случай, если пойдет ко дну проклятая бочка.

Снова плывем. Пять белых шей высовываются над серой зыбью волн. Лебеди?

— Шушель, шушель, — давится смехом Анти, — очень карош шушель.

От этой рыси не укрылось, что я схватился было за ружье.

У борта лодки что-то плавает, какая-то кадка, наполовину полная водой.

— Сюда, — указывает на нее Анти, — тихо, тихо надо. Ригать нися. Я сам лутчи.

Он упирается багром в дно кадки, налегает грудью на багор и, с непостижимой легкостью отделившись от лодки, переносит свое тело в кадку так плавно, что они едва качнулись, лодка и кадка.

Где уж мне так прыгать! Вяпаюсь, надо полагать. Но не бросить же тут всю затею?

— Сичас, я сичас, — бормочет Анти, стоя почти по колена в воде.

Он, проворно действуя ковшиком, вычерпывает из-под ног дождевую и наплескавшуюся воду. Кадка пуста. Анти вешает черпачок на гвоздь, запасливо для того вбитый в стену кадки, и, упершись багром в лодку, переносится в нее с прежней легкостью.

— Так делай, — говорит он, передавая мне багор, — тихо, тихо делай.

Ну что ж. Купаться, так купаться. Ух!

Отскочила лодка, черпнула краем кадка, но я в ней устоял на ногах.

— Ничего, — одобрил Анти, — кауха бери, выливай. Руби, ежели лучится.

Что рубить, чем рубить, это еще что? Ах, да: это трубить сигнал бедствия в случае чего. Надеюсь, что до того не дойдет.

Прежде чем я кончил работу черпаком, лодка с Анти исчезла. Чучела плавают в полсотне шагов. Мелкие волны плещут кругом, через края пена лезет в кадку. Дождь давно перестал, даль прояснела, но что-то белое летит над водой. Рои мух, пух? Что за мухи, когда зубы начинают стучать от холода, откуда тут взяться пуху? Снег. Никого и ничего. Тишина.

Под ногами опять хлюпает. Течет бочка, что ли? Она под легким колебанием воздуха наклоняется отвратительно, что же она сделает под порывом ветра? Не утону, понимаю, но — плохое удовольствие окунуться в ледяную воду. Сил нет терпеть. Как глупо мерзнуть, сидя в бочке над зыбучей глубиной. Бросить все? Рука уже тянулась к сигнальному рожку.

Вдруг где-то вдали прозвенел серебристый звук трубы.

А, летят. Забыто все: холод, снег, вода, бочка, все.

Бурно, оглушительно налетает лебединая стая. Свистящим ветром хлещут огромные крылья. То, что издали серебристо тешило слух, тут терзает его, орет железным лязгом.

Лебеди несутся так низко, что мне хочется привскочить в кадке, достать стволами ружья до животов с прижатыми черными лапищами. К чему же это? Невольная бессмыслица. А кадка от скачка, конечно, кувыркнется. Стрелять? Как-то чересчур странно выпалить в птицу, распростертую над самой головой. Нет, решительно снизившаяся стая исчезла лишь на миг, она вернется, сядет. Ага, уже трубят.

Фу-у! Метут ли воду распущенные хвосты, лапы ли, пробегая, шлепают? Волна встает и плещет, когда с налета в брызгах плюхает пернатая громадина. Сидят лебеди. Бей? Нет, погоди, не разобрать, кто там на зыби живой колышет-

ся, а кто соломой набитый. Глупее глупого запалить в чучело. Но вздрагивают, отряхиваясь, хвосты, наклоняются шеи. Лебеди пьют.

Тогда гремят выстрелы. По всплеску картечи видно, как сеет град смерти дальнбойное ружье. Пять раз ударила скорострелка. Бьются, вытягиваются, замирают длинные пернатые тела. Лебеди встревоженно оглядываются. Они поражены, но сидят. Умницы, умеющие считать, не понимают, что случилось. И вдруг видят: а, вон оно плавает, откуда весь этот ужас. Тогда с диким, страшным криком взметывается, исчезает лебединая стая. Подплывает лодка и, собрав изумительную добычу, принимает из бочки мокрого насквозь, полумертвого от холода, но вполне счастливого стрелка.

ДЕЛА СОБАЧЬИ

МОИ СОБАКИ

На двенадцатом году моей жизни я начал охотиться, воруя для того ружье моего старшего брата, очень скоро попался на месте преступления, был судим семейным судом и получил строжайший выговор с указанием на всю гадость моего поступка. Впрочем, судьи, в том числе и моя мать, все до одного были страстные охотники. Они знали, что преступник, пошедший по этой дорожке, неисправим. Поэтому мне вручили в собственность ружье со всеми принадлежностями: охотья, — делать нечего, — но не воруй.

Увы! Охота без собаки на уток однобока, а на болотную и лесную дичь хро-мает на обе ноги. И я подачками сманивал за собой Бокса, старого сеттера моего отца. Четвероногий плут делал вид, что он меня слушается, до тех пор, пока у меня оставались для него лакомства. Он шел со мной, отыскивал дичь и делал стойку. Но убедившись, что он все угощение съел, и у меня больше ничего нет, уходил домой равнодушно и самостоятельно. Старый жулик на мою охоту смотрел сквозь пальцы: так — шалости, контрабанда.

Затем я покупал копеек за двадцать, нанимал за пятак собак, подманивал бродячих. Случалось попадать на мародеров, нахально пожиравших убитую мною дичь. Один гордон, презренную харю которого я ненавижу более сорока лет, почему-то усвоил вкус отгрызать только головы у моих уток. После выстрела исчезало все: нет ни утки, ни собаки. Прислушиваюсь: хруст и чавканье в трущобе. С опасностью для жизни лезу туда через трясины, и на широкой кочке подлая морда облизывается над безголовой уткой!

Что делать? Приходилось якшаться с подонками собачьих пород. Они умели чуют, по ним можно было хоть кое-как подготовиться к взлету дичи, а шататься вслепую уж очень тяжело.

Из множества случайных собак, с которыми я охотился всю юность, подавляющее большинство годилось только на виселицу, но немногие из них не лишены были некоторых достоинств. Среди них Кронид, беспородный песик, слегка напоминавший обликом пойнтера, явился яркой личностью, определившей мое собачье мировоззрение.

Кронида я купил за сорок пять копеек у пьяницы-охотника, который бил его чем попало, за что попало и даже ни за что и, конечно, вовсе не кормил. В избушке, где я жил на охоте, Кронид получил соломенный матрасик, обильный корм, и никто его не ударил. Казалось бы, — не житье, а рай. Кронид убежал, как только я оставил его одного. Часа через два тот же охотник, качаясь и хихикая, предлагал мне купить собачку.

— Да ведь это Кронид?

— Правильно. Кронька, он самый.

— Так я же его купил?

— В-верно. Только он, значит, убежавши опять ко мне и, значит, мой.

— Сколько же за него?

— Полтинничек. Да еще тогда пятак недостаало. За вами, значит, хи-хи!

Я заплатил. Кронид дня три отлично исполнял свои охотничьи обязанности, затем исчез. Пьяница опять привел его и опять продал. Вот нашел дурака! Что ж, у меня фабрика полтинников, что ли? И обиднее всего: что за сласть Кронидке там, у пропойцы, где бьют и не кормят.

Я не спускал глаз с доброго, очень послушного песика и скоро подсмотрел разгадку его исчезновения. Заслышав протяжный сильный свист, несшийся откуда-то с огородов, Кронид даже бросал чашку с кормом, убегал и пропадал. Какой смысл его бить и за что?

Я заплатил еще полтинник и занялся Кронидом. Я гладил, кормил его, поминутно называя по имени, играл, возился с ним, твердя все время: Кронид, Кронид, Кронид. Он лежал на солнце перед избушкой, когда раздался призывный свист, и уже вскочил, собираясь бежать, но я высунулся из окошка и закричал:

— Куда, Кронид? Назад, Кронид!

Он дрожал, поглядывая в сторону свиста. Я выбежал к нему, приласкал его, поддержал его колеблющуюся темную волю. Он остался.

Власть свистка над ним кончилась, прекратилось и выманивание полтинников, но мне этого уже было мало. Я призвал бывшего хозяина моей собаки и предложил подойти, свистать, звать как угодно, и когда Кронид пошел было на зов, я только сказал:

— Кронид, ко мне. Домой, Кронид!

Он вернулся, виновато виляя хвостом, к моим ногам. Пьяница с ругательствами ушел, заявив, что Кронька от рук отбился. Он был мой.

Порядочная лягавая собака должна только отыскивать дичь, в виде некоторой уступки разрешается ей и подавать птицу, но зайца даже замечать она не имеет права: заяц — дело гончих. Кронид незаконно и очень мило совмещал достоинства всех пород. Он чрезвычайно уродливо стоял над дупелем, добросовестно ловил подбитую утку и настойчивым и мерным лаем гнал зайца. При мягком его характере мне такая разносторонняя талантливость очень нравилась; мы проохотились бы вместе ряд весьма приятных лет, если бы в первую же после нашего знакомства зиму милейшего песика не съели волки.

Я пожалел его искренно, тем более, что встал перед задачей: мне необходима моя собственная настоящая серьезная собака. К тому времени мне шел уже девятнадцатый год, я надел студенческую фуражку и я знал охотничью науку много лучше тех, которые были прописаны в моем аттестате зрелости. На этих основаниях один старый охотник удостоил меня чести: подарил мне щенка из ожидавшегося потомства его знаменитой Дианы.

Если бы изучению юридических наук, для чего я записался в университет, я посвятил столько забот, хлопот, внимания и труда, сколько отдал воспитанию своего щенка, то, несомненно, я сделался бы весьма замечательным законовелем. Но судьба оставила меня при собаках.

Мой Дик, родившийся в самом начале весны, рос в наиболее благоприятных условиях: все время на ярком солнце среди густой травы. Я приготовлял для

него тщательно отсеянную костяную муку, кормил его свежими сырыми яйцами, растирая их скорлупу в порошок, варил для него морковь.

— Глупостями занимаетесь, — ворчал иногда старый охотник, — яйцами собак не кормят. Куриного вора готовите.

Нет, мой Дик никогда ничего не украл, а что мое кормление не было глупостями, стало очевидным очень скоро. Дик живо перерос всех своих братьев и сестер, шутя отшвыривал их от чашки с кормом и первый уморительно залаял басом, когда те еще только пищали.

Богатырь, красавец, умница мой Дик на болоте оказался дурак-дураком. Он взял сунутого ему в рот еще теплого дупеля и весело понес за мной, как тряпку. Никаких чувств!

— На осину, — злорадно сказал старый охотник, когда я с ужасом поведал ему о первом выступлении Дика, — вырастили по-ученому орясину. Позор для всего рода моей Дианы.

— В цирке можете свою собачку показывать, — ехидно утешали меня другие, — большие деньги составите.

Действительно, Дик по моему знаку мог снять шляпу с кого угодно. Он отлично изображал, как собака с отвращением отказывается от лакомства, предлагаемого старухой (из левой руки), и радостно хватает тот же кусок, если сказать, что он от молодой красавицы (правая рука). Дик устраивал целые представления, показывая, как собака лежит мертвой, хотя муха вьется около ее уха, а осы жужжат у ее носа этак: дзынь-дзынь. Проходит даже бык и собаку рогом в бок тык — нет, издохла собака. Вдруг является волк и собаку за хвост толк... Ну, тут собака вскакивает с веселым лаем!

Из скромности я умалчиваю о том, кто исполнял ответственные роли мух, быка и волка; зрители же всегда с восторгом приветствовали главного актера, выносившего на плечах всю пьесу.

За зиму Дик окончательно сложился и окреп, совершенствуясь в науках.

Он отыскивал и приносил щетку, которой вычесывали его шерсть, и, толкая в колени головой, так настойчиво, так ясно смотрел умными глазами, что ни у кого не хватало духа отказать такой милой собаке в ее просьбе: все брали щетку и гладили ею Дика. И короткая гладкая шерсть его всегда блестела, как шелк. Дав Дику в рот бумажку, я говорил:

— Снеси письмо маме!

Он ходил за ней, тыкаясь холодным носом в руки до тех пор, пока она не брала бумажки. Иногда наоборот я кричал:

— Дик, принеси записку!

Он опрометью кидался к маме и не успокаивался, пока не получал бумажки.

— Дрянь у меня собака, — говорил я мрачно, — тьфу! Вот какая собака. Повешу я собаку, прогоню, продам собаку. У-у-у!

Я был с самым печальным видом. Дик смотрел на меня, недоумевая. Это повторялось очень часто и довольно долго.

— Будет выть, — уговаривали меня домашние, — повыл и будет: надоело. У собственной собаки хлеб отбиваешь.

И вот однажды, едва я завел похоронную волынку о продаже подлой собаки, Дик жалобно взвыл. Я расцеловал его, накормил всякими лакомствами и сплясал с ним пляску диких, что доставляло ему величайшее наслаждение. С тех пор номер с вытьем над продажей собаки проходил без осечки и неподготовленных зрителей ошарашивал наповал.

Однако в поле Дик продолжал держать себя как болван. Гремящий трепет тетеревиного взлета не производил на него никакого впечатления. Утка, запах которой, по словам охотников, так горяч, что перебивает у собаки чутье к более благородной дичи, утка, ни живая, ни мертвая, ничуть не волновала Дика.

Со стыдом, с отвращением я нанимал тайком всяких подозрительных личностей собачьего рода, брал на охоту заведомых негодяев-собак: воришек, бродяг и бездельников. Что же скрывать? Я был с ними груб. Ходи тут с разной дрянью, а мой чудесный Дик, разве только говорить не умеющий, занят тем, что подает поноску уличным мальчишкам. Это была его страсть, род сумасшествия, худший его порок, от которого отучить его не удалось и который давал столько поводов для насмешек!

Я страдал глубоко, тайно. Уже завелась некая Лэди, светлошоколадная собачка, нанятая на улице. Она по болоту неслась так, что за ней надо было бежать, неслась без стойки, невежественно размахивая хвостом, но, приближаясь к бекасу, она очень выразительно оглядывалась, как бы говоря: «Вот, вот он тут!» В этом была своеобразная прелесть, и я... и Лэди... и мы с ней... Ну, словом, — этаким стыд! — шли переговоры о приобретении Лэди в мою собственность, да, да!

С Диком я купался, гулял. Картина, а не собака! Но червяк обманутых надежд точил мне сердце: балаганный пес, не способный на благородные охотничьи чувства. В глубине моей души загнездилась глухая неприязнь. На закате жаркого июльского дня я безнадежно гулял с Диком под деревней и, направляясь домой, по привычке свистнул. К удивлению, Дика в тот же миг у ноги не оказалось, тогда я оглянулся и застыл. Дик стоял на стойке. Я, затаив дыхание, подошел к нему: сомнений нет. Он мелкой напряженной дрожью дрожал от головы до кончика хвоста, как-то позеленевшие глаза его блестели, ноздри жадно втягивали воздух. Я проследил направление его пылающих глаз. В полузакрытой скошенными стеблями ямке, смешно приподняв короткий носик и, видимо, ничуть не подозревая висевшей над ним гибели, спокойно сидел перепел.

Сам замирая от смутного волнения, я погладил Дика, успокоил его, отозвал и побежал с ним домой, там схватил ружье и вернулся на то же место. Тот ли перепел продолжал сидеть в своей ямке, подвернулся ли другой, я не знаю, но Дик отчетливо, по всем охотничьим законам повел, сделал стойку и по приказу «пиль!» шагнул вперед. Перепел вылетел, упал убитый, и над ним, над мертвым, опять дрожа, стал Дик.

Болван, циркач, балаганный пес, весь позор, все муки, — все отлетело в прошлое. Налицо была во всем великолепии могучая охотничья собака. Какая дверца внезапно открылась в сознании Дика? Откуда вдруг налетела на него волна страсти, потрясшей все его существо? Где, почему таились три года охот-

ничьи чувства, бесконечно давно врожденные собаке? И почему дремавшую страсть пробудила ничтожная пичужка в сухой ямке жнивья?

Все это собачьи тайны.

После происшествия с перепелом Дик повел себя так, как будто он всю жизнь только и делал, что охотился. И он всех их видел, всех знал, со всеми их уловками и хитростями имел дело, — так он за них принялся, старый опытный пес.

По тем выкрутасам, какие выделявали задние лапы Дика, я видел, что из кочек болота не бекас, сверкая брюшком, вырвется с веселым чмокающим криком, а вылетит, степенно зашелестев крыльями, задумчивый серый дупель. Утки Дика не разгорячили как-то особенно, ничуть не нарушили его чутья. Обеспечившись двумя-тремя кряквами, мы прямо из болота шли искать тетеревей, и — пожалуйста, хоть за деньги нас показывайте: так все делалось точно, отчетливо, мастерски. Если мне случалось стрелять по высоко летящей утиной стае и Дик после выстрела кидался куда-то бежать, я садился и спокойно ждал, что он принесет мне утку: значит, я попал, хотя думал, что промахнулся. Он видел много лучше меня. И куда он бегал за улетевшей стаей? Для утки, подбитой явно, спасение было немыслимо, он ее настигал.

Как? Случайно мне удалось увидеть. Я сшиб красавца-селезня, летевшего высоко над чистым озером. Он упал на спину, голова его, запрокинувшись, окунулась в воду, и было видно, как слегка шевелятся красные лапы, но едва подплыл к нему Дик, селезень нырнул. В то же мгновение исчез и Дик. Я в ужасе смотрел на круги, расходившиеся по зеркалу воды. Утонула собака? И что предпринять? Проклятый селезень, и что за несчастная мысль стрелять над озером.

Вдруг с плеском вынырнула голова Дика с селезнем в зубах и, осмотревшись, с фырканьем поплыла к берегу.

Э, нет, утки — селезни, от этакой собачки, которая ныряет, вам никак не уйти! И когда Дик, встряхнувшись, положил селезня к моим ногам, мы, расцеловавшись, тут же сплясали пляску диких и не по-домашнему, то есть щадя окружающие предметы, а по-настоящему, как, надо полагать, плясал ее первобытный человек, едва успевший подружиться с волком.

После того как Дик «пошел», для меня отпала необходимость в самой тяжелой и черной работе. Для чего мне лезть по трясине, по кочкам кругом лужи? И лазить по зарослям, шарить по кустам я не желаю, вытаптывать по всем направлениям болото не мое дело. Я останавливаюсь на краю и говорю своей собаке:

— Ну-ка, брат, Дик, поищи, осмотри, какие они там такие сидят, а? Шутни-ка их сюда!

Я не знаю, конечно, в каком виде эти или приблизительно такие слова входили в сознание Дика, но что он их в точности исполнял — это вне какого бы то ни было сомнения.

Дик шел, куда я указывал, вынюхивал, высматривал и, весело помахивая хвостом, пробегал туда и сюда, как бы говоря своим беззаботным видом:

— Смотри: пусто, тут никого нет, никакой осторожности не требуется!

А если кто-нибудь тут есть?

Тогда он показывал это по-разному. В тумане утренней зари на ягоднике, осыпанном росой, Дик неожиданно замер на стойке, сторбился как будто в ужасе, и вся шерсть его поднялась дыбом. На медведя напоролся, что ли? Вдруг: бу, бу, бу! С громовым треском взорвался глухарь. Птичка тоже! Весит чуть ли не полпуда и летит бомбой. Это какое угодно воображение взволнует, всякую прическу испортит.

От простой работы Дик без всякого усилия шагнул к вершинам охотничьего искусства.

Промотавшись значительную часть утра в поисках тетеревиного выводка и убедившись, что он переместился, я прилег под кустом и с некоторой досадой сказал Дику, что я устал, он же не собака, достойная уважения, а не годная ни на что свинья. Такое запутанное ругательство он, очевидно, не мог понять и, не опасаясь, что я его обидел, я стал сладко дремать под шумок старых сосен. Вдруг чувствую, что холодный нос Дика тычется мне в лицо. И лизаться лезет, свинья. Да пошел вон, что за нежности собачьи? Он отступает, бежит в лес, видимо, беспокоится, возвращается и опять лезет с нежностями. Ну что привязался, чего тебе нужно? Видя, что я встал, он, радостно размахивая хвостом, бежит, но останавливается и смотрит, иду ли я за ним. Ах, вот что! Тогда уже я понимаю, беру ружье, мы идем, находим выводок, громим его и, набив сетку молодыми тетеравами, пляшем нашу любимую пляску.

Раз в жизни я видел собаку, которая в подобных случаях прямо схватывала своего господина за полу, за рукав, за штанину и тянула за собой. Такому приему я пытался обучить Дика, он почему-то не пожелал им воспользоваться; я не допускаю, чтобы он не понял, — Дик, понимавший все. Например, зимой вечером, сидя у своего стола, я читал, а Дик спал в углу той же комнаты.

Вдруг я тихим спокойным голосом спрашивал:

— Нет ли тут где-нибудь хорошей, умной собаки?

В тот же миг из угла слышалось короткое частое похлопывание хвостом по подушке: есть, есть тут такая собака.

— Подошел бы кто-нибудь, — продолжал я равнодушно, — приласкался бы. Скучно так.

Тогда около меня немедленно являлась собачья голова и ласково толкалась мне в колени.

Уходя в город, я почти всегда брал Дика с собой, но иногда приходилось оставлять его дома. Тогда я при выходе говорил:

— На место. Понял? На место!

Он огорчался чрезвычайно, но понимал, несомненно, понимал ясно: он оставался дома. Если же я таких слов не произносил, а уходил потихоньку от Дика, то, где бы я ни был в городе, мой четвероногий друг отыскивал и настигал меня непременно. Иногда он не мог проникнуть в дом, где я находился. Мне говорили:

— Там ваша собака у крыльца.

Я выглядывал в окно и видел, что Дик сидит у двери спокойно и твердо: он знал, что мой след кончается тут, у того дома, и ждал. Несколько раз я пытался его обмануть, уйдя, например, через сад, в переулок. Напрасно. Дик, устав

ждать, шел широким кругом около предательского дома, все-таки пересекал след обманщика и догонял его, всегда радуясь и ласкаясь. Он все, все понимал, мой милый, верный друг. Вот его некоторые чувства и способности остались для меня непостижимыми. Однажды, возвращаясь с очень отдаленной охоты, я, подходя уже к городу, заметил, что потерял свои ключи, связку ключей на стальном кольце. Чрезвычайная неприятность, сколько замков придется взломать. Сейчас переодеться даже не во что: белье заперто. Я тут припомнил, как что-то выскользнуло у меня из кармана, когда я сел отдыхать по выходе из болота: там и вывалились проклятые ключи. До того места несколько верст, ночь, болото. Мыслимо ли найти?

— Дик, — сказал я почти безнадежно, — я потерял. Поищи, братец.

Я потрепал его по голове, и при слове «потерял» он ринулся в темноту.

На горе в городе мелькали, маня, огоньки. Там ждали меня чистая постель, вкусная еда, втройне очаровательные после целого дня лазанья по болотам. Уйти скорей домой, Дик ведь все равно найдет дорогу? Нет. Дик, очевидно, мне ничего не скажет, но слишком низко бросить его одного в темноте болота, не может быть, чтобы он этого не почувствовал, когда, вернувшись, меня здесь не найдет.

Я в тучах комаров сидел у дороги голодный, мокрый, грязный до ушей. С высокой колокольни собора на горе два раза летели унылые звуки отбиваемых колоколом часов и замирали где-то далеко за туманной поймой. Вдруг шлепанье быстрых лап в придорожной грязи, стремительные прыжки и фыркание, и Дик, задыхающийся, радостный, гордый, и ключи у него во рту, наполненном пеной.

— Ну, Дик, ну, милый, — твердил я в восхищении, — ну как ты мог их найти? Ну, прелесть моя, как ты нес их, железо в зубах, ведь так противно.

Я положил ружье и, несмотря на темноту, мы немножко прошлись с Диком в дикой пляске: так у нас с ним полагалось в исключительных случаях жизни. Отплясав, мы расцеловались и пошли домой. Дик бежал впереди с самым равнодушным видом. Откуда он взял сил во весь мах нестись два часа после целого дня беготни, как ухитрился найти ночью в болоте ключи, нечто маленькое, по-нашему, по-человечьи, даже не пахнущее ничем? Это опять собачьи тайны.

Слава о необыкновенной, удивительной собаке разнеслась скоро и широко. Всех наших завистников и врагов, когда-то промывавших кости балаганному псу, мы стерли в порошок. После многих изумительных подвигов твердо было установлено, что где прошел Дик, там искать более нечего, и, наоборот, Дик может найти многое после разных этаких чистоплюев, имеющих дипломы и медали.

Порядочная лягавая собака не имеет права лаять во время охоты и не смеет обращать внимания на зайца. Глупого лягаша обычно бьют, сильно бьют убитым зайцем для того, чтобы указать на все неприличие этой добычи; если так не сделать, собака приучается гонять, вспугивать всякую дичь, утрачивает стойку, гонит «в голос» летящую птицу, делает все это без толку, получается не то гончая, не то лягавая, а в сущности ни то, ни другое, нечто никуда не годное.

Дик, едва начавший охотиться, бросился было за лопухим, неожиданно выскочившим перед ним на вырубке.

— Куда? — закричал я. — Назад, Дик, не сметь! Назад, негодяй.

Он застыл на расставленных для прыжка лапах. Как же так? Ведь сильно пахнет дичью, а почему-то нельзя, не надо.

— Не сметь, — сердито повторял я, указав туда, где заячьи лапы, удирая, поразбросали иглы и веточки хвои, — не сметь, не сметь. Понял?

Да, он понял. Вполне, совершенно понял, больше не потребовалось ничего ни малейшего окрика. Но остаться равнодушным к запаху зайца, — нет, этого Дик не смог: зачуяв этот, очевидно, соблазнительный запах, он всегда совсем особенно ставил уши. Убедившись, что Дик в правилах лягавой собаки стал непоколебимо тверд, я повалил крупного русака, выскочившего в болоте, где мы искали дупелей. Как изумился, как недоумевал Дик! Этакая непоследовательность: запретил искать зайца, а сам стреляет. Вот тут и пойми, как быть порядочной собаке.

Дик, впрочем, не затруднился нисколько. Он с тех пор зайца уже не пропускал. Он делал стойку над каждым пушистым плутом, притаившимся перед ним, но все, от кончика слегка помахивающего хвоста до ушей, поставленных торчком, все в Дике выражало явную насмешку: вот тут она, эта и дичь и не дичь, тут оно, странное существо, которое искать и запрещено, и заманчиво, и как будто должно.

Увидев, как Дик «разделявал» болото, а я, стоя на краю, только показывал пальцем, куда итти, один заезжий барин в восхищении предложил мне за Дика сто рублей. Для студента, не знавшего, на какие средства добраться до университета, это была огромная сумма.

— Дрянь у меня собака, — сказал я, злобно смотря на Дика, — тьфу, собака. Повешу я собаку, прогоню, продам собаку!

В ответ раздался протяжный вой.

— Да это что же такое? — в недоумении проговорил заезжий богач. — Он все понимает. Я двести за него дам. Идет?

— А если он с вас шляпу снимет, дадите триста?

— Пятьсот дам. Не может быть, не достанет.

— Эй, Дик!

И я сделал условный знак. Дик прыгнул и снял шляпу с очень высокого барина. Тот долго не хотел понять, как это нищий студент может не продать собаку за бешеные деньги.

А нам с Диком, что нам деньги? Мы лучше спляшем. Мало ли нас еще ждет этаких каких-нибудь необыкновенных случаев в жизни!

К тому времени, как молодые утки начинали летать, мы переселялись из городишка в деревню, в крошечную избушку. У нас обоих постелями служили матрацы из одного и того же холста, набитые одной соломой. Лазая за утками, мы оба одинаково пачкались — до ушей. Когда мы приходили домой, я умывался, а Дик вылизывался, — тут замечалась некоторая разница. Затем мы ложились спать и, едва потушив свечку, я чувствовал, как около меня, чуть шурша, осторожно становились лапы.

— Ты здесь зачем?

Свечка вспыхивает, но около меня никого нет, на маленьком же матрацике лежит очень умная собака и чуть-чуть похлопывает кончиком хвоста.

— Грязная псина, — говорю я, сдерживая смех, — не смей сюда лазить. Ведь у тебя такой же матрац.

Я тушу свечку, и в тот же миг около меня осторожное шуршанье — псина опять здесь. Я не могу рассердиться и приказать серьезно. Негодяй это чувствует. Сколько раз я ни зажигал бы свечку, дело кончается всегда одинаково: мне надоедает эта гоньба, я засыпаю, и негодяй всю ночь спит около меня. Утром он бел и чист без всякого умывания, но моя простыня вся в болотных узорах.

— Смотри, свинья, — говорю я с досадой, — видишь, что сделал? Право, свинья.

Свинья виновато болтает хвостом. Не драться же за такие проказы. В городском доме Дику, повидимому, в голову даже не приходило забраться на не принадлежащую ему постель.

Дик меня любил, когда был комнатной собачкой и балаганным псом. Но после того, как мы с ним прошли по озерам, лесам и болотам, детская любовь Дика перешла в ничем непоколебимое обожание. Спал ли я или только прикидывался, что сплю, вход в мою комнату был воспрещен всем, кроме моей матери. Остальным показывались зубы, великолепные сверкающие зубы. Огромный пес лежал у порога смиренно, даже не рычал, он только показывал зубы — желание переступить порог пропадало у всех.

Дик иногда как будто даже и не замечал, что чужой вошел в дом. Но, когда этот пришелец желал выйти из дома и шел один, то при выходе его непременно встречал откуда-то взявшийся огромный пес и добродушно загораживал дорогу. Не надо было пса толкать, он тогда мгновенно превращался в зверя и, взяв за горло, опрокидывал дерзкого. Таких случаев повторялось несколько, все они, конечно, сопровождались криками, скандалами, неприятностями. Дик, видимо, не понимал, за что на него кричат, в чем упрекают. Ведь он отпустил чужого, едва прибежали свои, он не укусил, даже не сердился, за что же его бранить? Ко мне приходили охотники, которых Дик отлично знал. Все равно: при входе привет, радостное помахивание хвостом и ласковый взгляд, все, как полагается добродушному знакомому. При выходе без провожатого хвостом-то псина знакомому слегка помахивает, но смотрит хмуро и прохода не дает никому.

— Пусти, Дик! — кричал я, выглянув из окошка.

Он отходил в сторону, явно недовольный: ну что же, нарушайте правила, выпускайте так, зря, без присмотра.

Вся дичь везде, по убеждению Дика, принадлежала мне. Поэтому, с кем бы я ни охотился, Дик немедленно отнимал птицу, убитую из-под другой собаки, задавая ей еще иногда при этом трепку, и приносил дичь мне. Я пробовал отучить его от такого взгляда, он отказался повиноваться. В остальном моя воля была для него высший закон. Не требовалось ни криков, ни угроз, ни пронзительных свистков. Он шалил, повесничал, в особенности когда мы только что выходили из дома. Когда мне надоедала эта беготня или на потеху зрителей, я срывал тоненький прутик и показывал его Дику:

— Видишь? Вот я тебя, повеса, ты у меня пошляйся!

Он шел тогда точно привязанный к моим сапогам до тех пор, пока не падал прутик, прикрепленный к моему поясу.

Ах, негодяй, ах, шут гороховый! Он в жизни своей не получил ни одного удара и с прутиком просто паясничал. Или тысячи лет побоев его предкам, бессознательной мукой отозвавшись в его памяти, сковывали его волю при виде руки, берущей орудие истязания?

Мучился он недолго: как только я ронял или бросал страшный прутик, Дик опять беззаботно бежал повесничать. Впрочем, воспоминания человека о том, что было тысячи лет назад, также легки, мимолетны, почти неуловимы.

На охоте даже чужой крик меня раздражал, я всегда говорил тихо, иногда шептал, показывал пальцем, — Дик шел и исполнял приказание. Он покорно и неустрашимо обыскивал самые глухие, непролазные трупобы, он без колебания погружался в ледяную грязь. Я не сомневаюсь, что, если бы потребовалось, Дик по одному моему слову прыгнул бы в огненную бездну. За что такая любовь, такая преданность? Не за кусок же хлеба и не за то, что я его не бил, я стал солнцем его жизни. Ведь не мог же он знать, что я его ни за что не продам?

В Петербурге, где я проводил большую часть зимы, я Дика держать не мог никак и оставлял его в провинции у матери. За два-три дня до отъезда моего от туда, при появлении первого чемодана, Дик начинал ходить за мной неотступно, не спуская с меня глаз, и вздыхал.

— На вас смотреть мука, — жаловалась мама, — взгляды, стоны. Уезжай скорей!

Он носил за мной мои вещи. Если я брал от него одну, он приносил другую, слюнявя их немилосердно; потом ему уже давали платок или полотенце, он так и ходил с тряпкой во рту весь день.

Тайну моего исчезновения он, конечно, понять не мог, несколько дней после моего отъезда вздыхал и пищал, затем вдруг чрезмерно успокаивался, чтобы не сказать — опускался. Все время моего отсутствия он скучал, все спал, мало ел, штуки показывал вяло и не все. Однажды мама пошутила, всунув ему в рот известное письмо ко мне. Он носил, носил его, видимо, усиливаясь понять, что ему делать, и горестно заснул на своем матрасе с бумажкой во рту. Больше этой шутки не повторяли: так он был жалок.

Разлука была тяжела, но встречи наши восхитительны. При моем появлении весь дом наполнялся громовым радостным лаем. Меня Дик слюнявил с ног до головы, против этого напрасно было спорить, и я не без удовольствия покоялся.

— Ну, становись драться, собака, — говорил я, раздеваясь до рубашки, — иди, жри своего хозяина, доказывай, что ты зверь!

Он кидался на меня с восторженным оглушительным лаем, зверски рычал, хватал меня за что попало сверкающими челюстями, не причиняя никакого признака боли. Я толкал его, колотил изо всей силы кулаками по спине и бокам, что, видимо, доставляло ему большое удовольствие. В самый разгар возни я кричал:

— Ложись зайцем!

Он мгновенно укладывался русачьей лежкой, то есть подогнув под себя лапы и держа высоко голову.

— Совсем ложись!

Он валился на бок.

— Совсем, совсем ложись. Телятиной валяйся!

Он раскидывал в стороны лапы, клал голову ухом на пол и, хлопая хвостом, весело посматривал на меня: больше он при всем желании никак не мог лечь.

— В цирк, в цирк обоих, — кричала мама, смеясь до слез. — Странствующие артисты какие-то, клоуны. Уходите, сил больше нет!

Я в изнеможении шел умываться, а Дик — на свой матрац, не очень довольный: он в эту игру мог играть сколько и когда угодно.

Представлений мы давали много, но на охоте не шутили и плясали редко, лишь в чрезвычайных случаях. С возрастом Дик не утратил ни добродушия, ни веселости, только задривок у него стал, как у откормленного теленка. На десятом году жизни Дика я получил известие, что Дика укусила случайно забежавшая собачонка и ввиду несомненных признаков бешенства Дика пришлось усыпить. Я не стыжусь признаться, что плакал над этим письмом.

Прощай, мой милый, верный друг! Твой облик безукоризненно чист в моей памяти, на нем нет ни малейшей черной точки неблагодарности, ни мимолетной тени подлости, предательства, обмана. Про многих ли из людей можно это сказать?

Прощай, Дик. В каких-то темных извилинах мозга, в каких-то тайниках жизни твой ум, повидимому, граничил с умом человека, но верность и преданность твои были, несомненно, собачьи: в этом их высшая похвала.

ЗНАКОМЫЕ СОБАКИ

В длинном ряду знакомых мне собак Бокс и Норма, две собаки моего отца, стоят первыми.

Без Бокса я себя не помню. Во время первых лет детства другие собаки появлялись и исчезали, не оставив ясных воспоминаний. Бокс отпечатался в моей памяти целиком, отчетливо. Взгляд его больших карих глаз был великолепен: он светился добротой и лаской, чуть-чуть посмеиваясь. Мы, дети, носили Бокса вниз спиной, взяв четверо за лапы, а пятый за хвост. Несли, конечно, неровно, маленький держатель хвоста не поспевал за остальными, а иногда еще нарочно раскачивали. Бокс терпел как эту муку, так и много других безропотно. Если ему надоедали уж слишком, то он со вздохом освобождался и уходил, но никогда не огрызался. Благовоспитанность его доходила до крайности; он всем подавал лапу, всем поднимал платок или салфетку, приносил все, что ему бросали; под конец жизни он всем служил, сидя на задних лапах и перебирал позаячьи передними. Он, впад в детство, по собственному почину перенял эту штуку у комнатных собачонок и не понимал, что он, крупный сеттер, глупо и жалко смешон в таком положении. От охоты его еще молодым отставили за то, что, найдя выводок тетеревей, он не только их вспугнул невежественно и глупо,

как дворняга, но даже залаял на них: очевидно, он выжил из ума. Тогда он в отставке занялся тем, что делал искуснейшие по всем правилам стойки среди двора над воробьями, голубями, даже над курами. Видя сборы на охоту, он не волновался нисколько, и ясный взгляд его великолепных глаз спокойно посмеивался добротой и лаской. Он жил изяществом своего обращения, друг всех детей, добряк красавец-пес, в расцвете жизни оставшийся не у дел, которых он никогда не понимал как следует.

Милейший Бокс. Образ так его ясен при всем ничтожестве его личности!

Норма явилась на смену не только Боксу, но и всем прочим собакам, ее не сменил уже никто и, кроме Нормы, отец ни с одной собакой более не охотился. Норма решительно не принадлежала ни к какой породе. Морда у нее была какая-то четырехугольная, слегка кривые мускулистые лапы удивительно легко носили туловище — широкое, плотное, длинное. Когда она шла по полу, длинные когти ее лап стучали громко.

Общим обликом Норма напоминала скорей свинью, чем собаку. Но с необыкновенно широкого лба ее светложелтые небольшие глаза смотрели так умно, так уверенно умно, что все ее внешнее безобразие забывалось немедленно. Норма никогда не играла ни с кем, даже с собственными щенятами, но к детям относилась снисходительно. Я лазил к ней в чуланчик, где она приносила щенят, и разбираю, раскладывал их по белой рогожке, устилавшей пол чуланчика. Меня занимало, как они, скуля, ползали, мягкие, теплые, бело-розовые существа, мне нравился особенный терпкий там запах. Взрослому за подобную дерзость Норма оторвала бы голову, на меня она только бежала жаловаться отцу и, пища, приводила его, чтобы он за нее заступился. Если я для чего-то уносил щенка, она с писком шла за мной, толкала меня носом до тех пор, пока не отнимала своего детеныша.

Мой младший брат однажды кормил Норму сахаром.

— Ты не грызи, — уговаривал он, суя ей в рот кусок, — ты только соси: зубами не надо.

Она спокойно смотрела на то, как крошечный мальчишка возился ручонками в ее сверкающих челюстях, и затем, сочтя, что он достаточно ее угостил, отправил сахар в свой рот. Но шуток, игры она не понимала совершенно.

Она явилась в наш дом невежественной грубой деревенской собакой, прожила в нем двенадцать лет и не приобрела никаких познаний, не смягчилась ничуть, не отвыкла ни от одного из многих своих пороков. Мой отец, купив ее за какие-то гроши, привез домой с одной из своих охот. Почему, как поняла это Норма? Она не только немедленно признала над собою полную власть этого человека, которого до тех пор не видела, но сознательно и твердо, как все, что она делала, навсегда слила свое существование с его жизнью: она знала и любила только его, остальных презрительно терпела.

Когда к крыльцу подкатывала охотничья тележка, Норма уже лежала спокойно под ее козлами: это место принадлежало ей по закону, не пустить ее туда или выгнать оттуда мог только один человек. Он, наоборот, очень удивился бы, если бы ее не оказалось там, но для чего-то всегда произносил:

— А, ты тут, толстуха? Ну, поедем.

Крупный старый белый, как молоко, конь медлительно бежал, неся, как перышко, плетушку с огромным толстым охотником, с огромной толстой собакой. Достигнув болота или перелеска, толстяки, не торопясь, принимались за дело.

Норма, ползая на животе между кочками или высокой травой, ухитрялась подобраться к самой птице.

— Пиль! — произносил охотник. И Норма, слегка подавшись вперед, выпугивала дичь.

— Давай сюда! — иногда менялся приказ.

Тогда толстая туша собаки привскакивала, точно ее подбрасывала пружина, и сверкающие челюсти ловили едва взлетевшую птицу.

Худший порок для охотничьей собаки!

Тетеревенка в пуху и старого дупеля Норма ловила одинаково без осечки, делая это так нежно, что подавала их ничуть не поврежденными. У дупеля хоть имеется хвост, есть за что его поймать, но как она ухитрялась схватить, не помяв бесхвостого пухового тетеревенка?

— Пойдем, Норма, — иногда говорил охотник, выпуская на волю птенца, — мелки еще тут тетеревята, пойдем к другому выводку.

Чаще он совсем ничего не говорил, они спокойно молча продолжали охоту, совершенно неприличную с точки зрения строгих охотничьих правил.

Вход в ту комнату, где спал толстый охотник, воспрещался всем безусловно: на пороге лежала толстая собака и смотрела спокойно, твердо, ясно. Как, неужели кто-нибудь посмеет? При попытке войти в комнату собака даже не ворчала, а лишь слегка показывала зубы: не было случая, чтобы кто-нибудь посмел. Прикосновение к каким-либо вещам охотника также запрещалось кому бы то ни было. Однажды я, уже двенадцатилетний стрелок, имевший несколько утиных душ на своей совести, потянул набитую дичью сетку отца, спавшего в сарае на сене. В тот же миг мою руку схватили железные клещи, и Норма запищала обиженно и виновато. Я в бешенстве дал ей пинка в толстый зад. Она не шевельнулась, не сжала зубов сильнее.

— Дурак, — сердито сказал проснувшийся отец, вклепив мне подзатыльник, — разве можно такую собаку бить? Она много умнее тебя. Пусти его, Нормочка. Молчи, молчи: ничего.

Она выпустила мою руку, продолжая пищать.

У нее, кроме писка, кажется, не было другого голоса: она не лаяла, не выла, не визжала, писком же выражала все очень красноречиво.

Никто, кроме повелителя ее жизни, не мог ее кормить: она отказывалась есть все время, пока отец отсутствовал из дома. Когда ее отмыли от грязи, она стала белая с крупными светложелтыми пятнами и к широкому сложению очень скоро присоединила большую упитанность, но почему-то сохранила отвратительную привычку лазить по помойным ямам и часто являлась выпачканной до ушей.

— Свинья, — сердито говорил отец, — свинья, а не собака. Пшла на место!

Она, лежа на своей подушке, обиженно пищала час, два.

— Молчать! — кричал отец.

Она сбавляла голос, пищала тихонько, горько, но не переставая пищала, хоть бы ее убили.

— Ну, иди мириться, вот скотина! — произносил отец, как будто в бешенстве, на самом деле в восторге.

Норма, уловив в бранных словах оттенок ласки, вскакивала, подбегала к повелителю, тыкалась носом ему в руку — она не лизала и терпеть не могла, чтобы ее гладили — и, убедившись, что он более не сердит, радостно пища, убежала гулять. У нее нервы, понимаете, она расстроена и, когда все прошло, — вот тогда она может справиться все свои дела во дворе.

Для того чтобы выйти из дома или вернуться в него, она ничьего позволения, ничьей помощи не спрашивала. Она, разбежавшись, ударяла передними лапами в дверь так, что та распахивалась настежь. Возвращаясь, Норма тянула зубами за войлочную-клееночную обшивку двери и, отворив, также оставляла ее настежь. Зимой это было нестерпимо, а дверная клеенка в клочьях неприятна всегда. На Норму жалобы, над Нормой суд, улики налицо: безобразничает и обрывает дверь. Обвиняемая, призванная к ответу, пищала жалобно и по справедливости заслуживала наказания, но верховный судья относился к ней явно пристрастно, он покрыл несомненное преступление. К внешней стороне двери приделали широкий и мягкий ремень, чтобы Нормочка, потянув, могла отворить дверь, не повреждая обивки. Она так и делала: дверь кто-нибудь затворит. Нахалка знала, что у нее есть могущественный покровитель, и ни в грош не ставила остальных обитателей дома.

Кроме лазанья в помойные ямы, она, пресыщенная отборным кормом собаки, любила шататься по мясным лавкам на базаре, и там ей насмех давали подарки, которых даже ее роскошные челюсти не могли осилить сразу. Баранью голову с рогами или огромное бычье ребро Норма волокла к себе на место и — попробуйте ее остановить. Не угодно ли видеть страшные зубы?

— Что за гадость? — притворяясь сердитым, говорил отец. — Неси прочь сейчас.

Она покорно уносила богатый подарок и равнодушно бросала его, но не принести, не погрызть не могла.

Тот мужик, который продал Норму отцу, бывал у нас в доме. Норма его не то что не узнавала, — нет, она не хотела его знать. Мало ли их тут шляется, посторонних лиц. Ее желтые глаза смотрели холодно и строго, когда бывший хозяин пытался с ней любезничать. Если он уж очень приставал, то она, пища, бежала к отцу, совалась носом в его руку и, громко пища, возвращалась на свое место. Что в самом деле, лезут с пустяками, покоя нет: вот где ее господин.

Он, властитель ее жизни, платил ей полной взаимностью и до конца жизни ни с одной собакой более не вышел в поле.

Когда он умер, Норма четверо суток ничего не ела, не пила и не выходила с своего места. Кажется, она и не спала. Она лежала с мутными страшными глазами молча и дрожа.

Я не любил ее. Мне не нравилось, что собака — какая бы там она ни была — меня презирает. Но из учтивости я не мог не уважить ее горя, и я приносил ей чашку то с кормом, то с водой. Она, не трогая ничего, смотрела, все

дрожа, как я перенес в свою комнату отцовские ружья, сумки и стал развешивать их по стене. Вдруг Норма встала с каким-то стоном, подбежала ко мне и — о, чудо! — лизнула мне руку, вернулась к чашке с водой, жадно напилась и убежала гулять. Когда она, освеженная, с просветлевшими глазами, возвратилась со двора, она подошла ко мне, ткнула меня холодным носом в руку и ушла на место, жалобно и громко пища.

Что ж делать, надо как-нибудь жить, нужен и господин какой ни на есть. Она сознательно и отчетливо перенесла на меня все знаки власти: нельзя в мою комнату никому входить, нельзя брать мои вещи и под страхом немедленного растерзания запрещается меня трогать, хотя бы за рукав. Только от меня Норма принимает пищу, только меня слушается, — ну, признала она меня во всех правах наследства. Но из нашей охоты ничего не вышло. Норма привыкла, чтобы на охоту ее возили в экипаже, а я шагал пешком иногда двое суток подряд. Где же ей с ее толщиной предпринимать такие прогулки! Попытка посетить ближайшее подгороднее болотце закончилась тягостной неудачей. Вместо одного болотца прошли три, заглянув в перелесок — все это на рысях, со всем пылом шестнадцатилетней страсти. Норма пыхтела, задыхалась, стонала. Когда я убил над рекой утку, Норма, вместо того чтобы кинуться за ней в воду, повалилась на берегу, высунув язык.

— Подай! — кричал я, указывая на утку.

Норма, не двигаясь, смотрела на меня умоляюще, а утку уносило течением. Что же, мне самому за ней плыть, для чего же мне собака?

— Сейчас принеси! — орал я в бешенстве. — Вот проклятая туша.

И я столкнул старую толстую собаку с крутого берега в воду. Норма подплыла к утке и вернулась, не взяв ее. Нет, она двенадцать лет брезговала этой птицей, покоряясь воле своего повелителя: они охотились только на красную дичь, а утку презирали. Норма предусмотрительно вышла на берег в отдалении от меня.

Что же делать? Я разделся, сплавал за уткой и вернулся, грозя Норме кулаком. На пути домой она, как я ни звал ее, не подходила ко мне ближе, чем шагов на пять, на шесть. Она поминутно ложилась на дорогу, поднималась со стоном и плелась за мной. Брызги воды текли и по ее четырехугольной морде.

Конечно, вода. Невыносимо думать, что то могли быть более соленые капли.

Мне было очень стыдно. Дома я старался всячески загладить свою грубость, но полного прощения не получил никогда. Норма больше не подбегала ко мне, толкая холодным носом в руку, а когда я к ней подходил, она смотрела на меня боязливо и пищала жалобно: не бить ли пришел, подлец?

На охоту мы, конечно, больше не пошли, но совместное существование продолжалось: куда же деваться.

Весной Норма принесла одного черного мертвого щенка. Это Норма-то, неизменно поражавшая тем, что около ее переполненных молоком сосцов обычно ползало с десятков бело-розовых, точно поросята, щенят.

Норме было много лет, но могучее здоровье ее оставалось непоколебимым, она попрежнему пила, ела, не обнаруживала никаких расстройств, но...

что-то сломалось в тайниках ее жизненной машины, в незримой глубине ее огромного существа.

Когда я услышал, что под городом на железной дороге поездом убило пеструю не то свинью, не то собаку, что-то больно схватило меня за сердце: я сразу понял, что это с Нормой случилось несчастье. «Проклятая туша», прикрытая рогожей, лежала в огороде при железнодорожной будке.

Зачем она, не покидавшая дома иначе, как для посещения мясных лавок, очутилась на железной дороге? Как с отличным слухом среди бела дня попала под поезд? Никто не видал, как это случилось. Предполагать, что все было сделано сознательно, нарочно, — нет, это слишком сложно, тяжело и... стыдно. Тогда у кого-то не будет никаких оправданий, кто-то окажется явно виновным в крайней грубости, если не в жестокости, кому-то придется просить прощения у тени давным-давно околевшей собаки, что, конечно, недопустимо глупо. Проще, удобнее и покойнее думать, что «это» вышло случайно.

РАЗНЫЕ СОБАКИ

Овчарка

Сторожевая собака, кроме дома, обязана охранять и домашний скот. Занятая около стада собака стала называться овчаркой, хотя бы стерегла она коров и лошадей, а не овец. Такой собаке очень много дела. Стаду угрожают, кроме двуногих воров, четвероногие, а иногда и крылатые хищники. Случается, что овца принесет ягнят в поле, и пастух, занятый чем-нибудь, далеко от нее, не сразу это заметит. Глаз ястреба видит это с невероятного расстояния. Откуда-то с вершины далекого дерева срывается огромная бурая птица и вихрем налетает на беспомощные маленькие существа. Овца-мать только фыркает, угрожающе топает в отчаянии, а сделать не может ничего, и бурый хищник унесет ягненка, если жалобное блеяние овцы не будет услышано собакой. Обычно она слышит. Она несется на защиту с лаем, с визгом, чуть не кувыркаясь от бешенства, и пернатый разбойник, иной раз уже запустивший когти в маленькую курчавую спину ягненка, спешит, бросив добычу, выкарабкаться из беды: чуть он опоздает подняться на воздух, от него клочья полетят.

На волка собака в одиночку не кидается, понимая, что он с ней может покончить вмиг. Она вопит, ревет необыкновенным воем при появлении волка. Но если она видит, что пастух бежит к ней на помощь, то даже некрупная собачонка бешено лезет на драку с могучим серым зверем. Однако драка с волком — последнее дело, это когда он уже натворил бед. Собака обычно предупреждает нападение. Она останавливается перед жеребенком или поросенком, выбежавшим в сторону от стада, лает так упорно, так кидается и угрожающе рычит, что неопытный детеныш испуганно бежит в середину стада, куда хищник никогда не осмелится сунуться, зная, что там его забьют копытами и рогами.

Иногда овца, коза, теленок, случается, даже взрослая глупая корова, заплутавшись, стоит в кустах в болоте, не зная, куда деваться. Вдруг является собака

пастуха и настойчивым лаем гонит растерявшуюся скотину на настоящую дорогу.

Овчарки все лохматы, грязны, злы. Им некогда следить за чистотой и гладкостью их шерсти. Непонятно, когда они спят: днем дела не обобраться, а ночью ни минуты спокойной нет, разве на заре удастся подремать у потухающего костра.

Собака пастуха большей частью крупна и сильна.

Собака-сыщик

На службу по раскрытию преступлений, на охоту за убийцами и ворами собаки привлечены недавно, у нас в СССР всего лет двадцать пять, но за эти два десятка лет они успели натворить много поразительных дел. В этой страшной охоте дичью служит человек. Дерзкий, озлобленный, почти всегда вооруженный преступник готов на отчаянное сопротивление, способен убить своих следователей. Обыкновенная охотничья собака тут не годится: она слишком слаба, мягкосердечна, боязлива перед человеком. Ищейка, уголовно-розыскная собака, смело берет за горло преступника, хотя он, случается, стреляет ей в морду, бьет насмерть чем и по чему попало. Неустрашимую свирепость этих собак всячески поощряют, укрепляют, воспитывают. Лет сорок назад в маленьком германском городе чиновник по фамилии Доберман занялся воспитанием такого рода собак. Он взял пинчеров-крысоловок и отбирал из них самых крупных, умных, особенно злобных, наиболее свирепо душивших крыс. Отборных воспитанников своих он, кроме всего прочего, натравливал на чучело человека, приучал не бояться выстрела или удара. Ему удалось вывести свирепую породу, носящую его имя.

Доберман-пинчер — среднего роста, черная с коричневыми подпалинами собака, узкомордая, почти бесхвостая. Ее гладкая шерсть лоснится как шелк, ее стройное тело красиво, глаза блестят умом, она понимает много слов, очень опрятна, чутка необыкновенно. Отличная домашняя собака. Только у нее маленькое неудобство в характере, не совсем пригодное в домашней жизни: милая собачка, рассердившись из-за пустяка, может разорвать своего хозяина.

По бревенчатому срубам доберман-пинчер взбирается во второй этаж дома не хуже кошки, а в темное, зияющее разбитыми стеклами окно лезет лучше, чем кошка. Перемахнуть через трехаршинный забор такой собаке ничего не стоит. Если забор слишком высок, она живо-живо карабкается по нему, как-то извиваясь какими-то зигзагами, и, добравшись доверху, спрыгивает с двухсаженной высоты: ее лапы действуют, как пружины, все мускулы точно из стали.

Подобными способностями обладает и другая порода собак-сыщиков — немецкие овчарки. Они одеты пушистой шерстью, у них уши стоят, как у волков, на которых они слегка похожи общим обликом. Но взгляд у овчарки добрый и характером она много мягче, чем доберман-пинчер. Впрочем, при преследовании преступника овчарка также неумолимо свирепа.

Собачьи знаменитости, завоевавшие себе славные имена раскрытием громких преступлений, есть из той и из другой породы, так что не решено, какая из них лучше.

Как узнает собака преступника?

Она ищет его чутьем по следу. Ее обучают только тому, что какого-то преследуемого человека надо не бояться, а хватать. Остальное — дело сообразительности собаки. Хорошая ищейка, обнюхав место преступления, иногда резко прекращает поиски и слегка смущенно подходит к ноге своего проводника: значит, следа нет, он потерялся, выдохся.

Большую часть, однако, чувства собаки — быть может, нам не вполне понятные — подхватывают какие-то признаки, для человека не уловимые. Ведь вор унес украденные вещи, убийца, застрелив человека, быть может, не прикоснулся к своей жертве. Ведь преступник исчез, не оставив после себя, повидимому, ничего.

Так представляется человеку, но собака как-то чует какие-то остатки невидимых прикосновений, она, не колеблясь, несется по следу преступника, выискивая, улавливая запах, чем-то ее поразивший, там, где прошли десятки людей. Недавно в одном из пригородов Ленинграда ночью украли телефонные провода больше чем с двух километров. Это значит, что медная проволока, снятая со многих столбов, исчезла. Воровская работа производилась высоко над землей. Снятую проволоку увез автомобиль. Его колеса оставляют широкий след, но ведь они обтянуты шинами, пахнущими только резиной. И как объяснить собаке, что произошло тут на столбах и что пропало? Автомобилей проезжает много, и от всех одинаковые полосы — следы резиновых шин. Преступники исчезли, не забыв, не оставив ничего. Безднажно искать. Собака не отказалась от расследования. Она попрыгала, повертелась около двух-трех обокраденных столбов и быстро побежала по дороге. За ней на велосипедах, на мотоциклетах неслись агенты. Они обгоняли, встречали автомобили, трамваи, ломовые подводы, множество пешеходов. Собака, не обращая ни на что внимания, бежала так прямо, как будто ей твердо известно было, куда она бежит, и вдруг исчезла. Ее злобный настойчивый лай послышался под мостом. Подоспевшие агенты нашли ее около груды сложенных проводов, казалось бы, не имевших даже запаха.

Четвероногий сыщик уверенно врывается в дом, иной раз прыгнув в окно. Собака врывается в многолюдную толпу и, уставившись пылающими глазами на избранное ею лицо, лает на него особенно бешено, пронзительно.

Самые упорные, закоренелые преступники обычно сдаются перед таким обличителем: собака не врет, не ошибается, она твердо знает, что знает.

Собачьи команды

Скуп и темен рассказ древней земли о дружбе человека с собакой. Неохотно показывая всегда вместе их черепа, старуха смутно шепчет лишь о том, что собаки всех пород каменного века были крупнее современных. Итак, удобнее всего признать, что с человеком собака была всегда. Используя давно своего бескорыстного друга во всех отраслях жизни, до цирковых представлений включительно, человек планомерно на военную службу привлек собаку каких-нибудь лет сорок.

Когда дикарь с дубиной шел на бой с врагом, собака, конечно, была тут. Орды гуннов, несомненно, сопровождались множеством собак. Известно, что английский король Генрих VIII прислал испанскому королю Карлу I в помощь против Франции четыре тысячи воинов — каждый с боевой собакой. Но травить собакой вооруженного человека не все ли равно, что есть жареного соловья?

При завоевании Кавказа перед нашими сторожевыми линиями устраивались землянки, в которых поселяли собак, приученных кидаться на людей в черкесках. Это, конечно, уж более подходяще к собачьим способностям.

И, конечно, не было человека, который бы этих способностей когда-либо не знал, но только германский полевой устав 1886 года впервые предусматривает случаи применения собак на войне. Вот когда начинается военная служба собаки!

В чудовищную бойню 1914 года немцы вступили, имея десять тысяч обученных военному делу собак. Наши военнопленные и разведчики на себе испытывали всю тяжесть работы этой четвероногой армии.

Сторожа-человека можно напоить пьяным, подкупить, обмануть, незаметно к нему подкравшись, убить, но если караулит хорошо обученная собака, — нет, пожалуйста на свежую воду.

При движении войсковой части впереди ее идет секрет. Как бы он ни смотрел, как бы он ни слушал, не может он догадаться о присутствии за сто шагов перед ним в лесу десятка неподвижно лежащих в кустах людей. А собака о том скажет: поставит сторожку уши и тихонько заворчит (дура залает, но такую на осину!).

Три минуты километр собака пробегает без труда и очень хорошо знает, кому отдать записку, вложенную в ее ошейник. Угодно? Она может с запиской же вернуться. И попробуйте ее поймать или застрелить, когда она несет с донесением. Собака вполне сознательно прокладывает телефонный кабель, то есть не то, чтобы она понимала, какой системы, как и почему будет звонить телефон, — нет, довольно того, что она внимательно следит, правильно ли разматывается проволока с катушки, укрепленной на ее вьюке. Надо видеть, как, смущенно повизгивая, собака зовет сапера в случае какой-нибудь неисправности в размотке!

Однако кабель может быть оборван, что почти всегда случается в то время, как в передовой цепи замолчал пулемет или стрелки с бешенством отчаяния смотрят на свои винтовки: нет патронов. И тут в кисейном халатике защитного цвета является, помахивая хвостом, друг — принес вьючок, в котором пулеметная лента или двести пятьдесят патронов. Немного, конечно, но ведь можно вернуться, сбегать хоть десять раз все с тем же радостным видом и все в тот же счет. Единственно, чего не терпит военная собака, это пинка, которым так часто без всякой вины угощает своего друга человек. И ругать военную собаку зря нельзя. Потрудитесь быть всегда, товарищ, ровны, точны в ваших приказаниях, наказывать только за неповиновение, непременно ласкать и хвалить за исполненное дело, — тогда за вас в огонь и в воду, и под пулемет, и под прицельную стрельбу!

В случае же ругани или побоев собака немедленно «сбивается»: не то чтобы она отказывалась от службы, нет, это не в натуре собаки, но собственно военной собаки уже более нет, и раз работа ее значительно сбилась, это уже только обычная полковая собака: Шарик, Жучка, Вислый Платона Каратаева.

К раненому военно-санитарная собака идет часто еще под огнем, несет простейшую перевязку, несколько капель питья — жажда прежде всего мучит тех, кого повалила пуля. После боя, когда уже человек обыскал поле смерти, подобрал, как казалось, все жертвы собственного безумия, работа собаки особенно важна: четвероногий брат милосердия отыскивает тех, кто незамеченные лежат без сознания или не могут дать о себе знать. Четвероногий санитар в таком случае берет в рот бринзель (доскут, прикрепленный к ошейнику) и во все четыре ноги несет на медпункт, там знают, что это значит, а собака покажет дорогу.

Прежде собаки-санитары брали у раненого фуражку. А если она потеряна в бою, если на голове металлический шлем? Тогда явился бринзель. Беспорядочно бегая по полю, даже лучшая собака могла невольно пропустить раненого — теперь одна собака идет зигзагом, а другая ей навстречу: ни пяди земли не останется необысканной.

НА ЛАДОГЕ

ГОЛУБАЯ ПУСТЫНЯ

Тишина. Слышен лишь отдаленный крик незримых чаек да мелкие волны, набегая кое-где на камни, чуть-чуть плещутся. Линия плоского берега, загибаясь дугой, уходит куда-то вдаль, а прямо, насколько глаз хватит, лежит и дремлет сапфирно-синяя водяная гладь.

Рыбак, меня приютивший, и я — мы бредем, сняв сапоги, по мелкой теплой воде к лодкам.

— Сига продаем по восемь, щуку по четыре, окуня по полтора рубля...

— За пуд, живьем?!

— Да-да. Знаем, что дешево, да больше никто не дает. Судак опять же пять-шесть гривен. Осетрина, ну, та десять рублей.

— Еще что. Откуда же тут осетр? Это не озерная рыба.

— Не знаю уж, какая там рыба, а только третьего дня шестипудовый к Василию Матвеевичу вперся. Мы мимо него шли, кривой мережу чинит. Можете сами спросить. Да вы напрасно сомневаетесь: у нас всякая рыба есть.

И безграничная голубая гладь воды чуть плещет мелкими волнами, точно шепчет: «тут есть, есть, все есть».

Я верю. В ботнике я слушаю странный рассказ о том, как огромная рыба необыкновенного вида пришла из неведомых глубин на мель и для чего-то с большими усилиями влезла в мережу, в которой уже не могла повернуться, оставив висеть снаружи свой треугольный хвост.

Тут был спец по ловле осетров, он года три как умер, так он иначе не ловил их, как на мелком месте: насекомое такое, вроде паучка махонького, в это время ест осетра, он и идет на мель о гальку тереться. А зачем в мережу лезет, это уж его дело. Этот шестипудовый осетр случайно попал, надо знать места, где они ходят: хитры, подлецы. Верно, нездешняя это рыба, их тут не ловят.

Хорошая рыба теперь от теплой воды вся вглубь ушла.

В прозрачной воде кругом видны бесчисленные стаи существ, называемых так презрительно: это мальки, юное поколение разных пород. Через два-три года, если не выловят их чайки, не выплеснет предательски на берег волна, если уцелеют они от тысячи смертей, это будут сиги, окуни, судаки с какой-то ценой за пуд живьем, сейчас это нечто, не имеющее никакого значения.

Иногда стая мелочи стремглав брызжет в разные стороны и даже рассыпается серебряным дождем, выскакивая на воздух: это значит, что щурята нынешней весны, щуки величиной в палец, охотятся на своих сверстников.

Большая лодка это уже дом рыбака. Тут есть каюта для спанья, очаг для варки пищи, склад для провизии и одежды. Со всех этих, вероятно, морских слов, надо сильно сбавить при переводе их на сухопутный язык. Каюта — ящик вроде гроба; улегшись в нем и закрывшись крышкой, не очень толстый человек может поспать даже в дождь и ветер. Очаг — полуразбитый чугунный котел,

наполненный песком. Одежда — лохмотья тулупов, но замечательнее всего пища: соленая треска! А где же своя рыба?! Случается, варят и из свежей, да некогда с ней возиться: чистить ее надо, а эта проще, вкусней и сытней.

Для чего лодка укреплена шестью на такой глубине, ведь тут метра два с лишком будет? Рыбак, посмеиваясь, подмигивает на лазурное озеро:

— Вы думаете, оно всегда такое? Не только на час, на минуту ему поверить нельзя: так ни с того, ни с сего трепанет, что от лодки и щепок не соберешь. Подальше от камней ставим. Подлее этого озера на свете нет.

Приходится верить. А оттуда, из бездонной синевы, так дивно, так ласково-нежно веет чудесной свежестью, что кажется непонятным, почему вдоль берега все амбары, покосившись, лежат на боках. Это с неделю назад, нагнав воды, ласковое дуновение пошалило. А два года назад по деревне шли волны, люди на крыши вылезали и коров загоняли, птицу погубило всю. Тонут рыбаки, конечно, редко, но, бывает, тонут — без этого нельзя. А вот, чтобы подхватить да протаскать суток трое-четверо, это сплошь да рядом: и рыбу в садке всю забьет волной, и самим все кишки вымотает. Случается, и по две недели таскает. Хорошо бы вместо паруса завести мотор, понятное дело, да где его возьмешь?

То, что издали над синим зеркалом воды под лазурью неба кажется белоснежным крылом чайки, вблизи оказывается грубым серым полотнищем, заплатанным не раз. Ветра как будто бы нет, но что-то надувает треугольный парус, наша лодка бежит, и пенный след шелестит за ее кормой.

Рыбак, убедившись, что мне можно доверить рулевое весло, держит только веревку паруса, и от нечего делать охотно рассказывает что придется. Различные, но однообразные впечатления, точно вереницы волн, мелькают одно за другим. Налимы? Конечно, у них есть. У них все есть. Паршак есть: так, рыбка вроде бычка. И бычок есть. Совсем как морской, только побледнее. Налим тут мелкий, он им ни к чему, так, разве себе на уху. Крупный налим ловится ближе к Онежскому озеру, в озере Шала, там до полупуда налим не редкость. Гуси? Нет, здесь не живут, летит много их, но гнезд не делают, а вот лебеди тут недалеко, в озере гнездятся. Глухое озерко, кто же его знает, как оно называется. Ребята, кажется, знают, да вот их четвертые сутки нет: за судаками побежали. Как побежали, куда? В озеро: у них больше некуда. Судак, который стоящий, теперь километров за двенадцать от берега ловится, ближе нет. Крючки ставят. Да, тысячи три крючков на рыбку, на маленькую. Вот она самая покрута-то и есть, мелочь, что около берега бегают. Солят, конечно, ее: соленую берет очень хорошо, а тухлую ни под каким видом. В мережи судак теперь кончает итти. А с весны начинает лов щука, за ней язь, потом окунь, плотва, лещ и уж тогда судак. Да, всякой рыбе свое время. Щука шляется всегда. Вот и сейчас мережу вынем... Э, нет. Вертай назад!

И не успел рыбак переставить парус, как нас уже «трепануло». Лодка клюнула носом, откачнулась, слегка черпнула бортом и понеслась. А солнце ласково смеялось в безоблачной лазури.

— Держись! — даже сердито кричал рыбак. — Круче держи, прямо на колокольню! Беда будет, коли утащит: голые мы, замерзнем.

А кругом все блещет в палящем зное.

Гряды за грядою, почти черные волны бешено толпились вокруг лодки, скакали и, злобно шипя, пенились за ее кормой. Мы в несколько минут пролетели то расстояние, которое лениво проплыли в течение двух часов, и на большой лодке лихо подкатили к ботнику, отчаянно трепавшемуся на цепи у своего колышка, покрытого водой: тут образовалась глубина.

Очевидно, не здесь, а где-то в невидимой дали что-то случилось, налетел какой-то шквал, сюда по лазурным волнам воздуха и воды приславший отголосок своего могущественного гнева.

А тех, которые побежали туда, в голубую глубину водной пустыни ставить крючки на судаков, их там, быть может, уже схватило, потащило, треплет?

— Все может быть, — спокойно сказал рыбак, когда я выразил свои опасения, — всякое бывает. У Василия Матвейча, того самого, к которому осетер-то залез, вон он, кривой, мережу чинит, так у него с месяц назад этак-то парнишку смыло. Перекувыркнуло их так-то вдруг. Двое старших покрепче, те уцепились, удержались, а меньшенького-то, семнадцатилетнего, смыло. Подлеющее озеро.

Я имел в виду расспросить Василия Матвеевича подробнее об осетре, но теперь не решился и прошел мимо пожилого рыбака, спокойно обрезывавшего какие-то веревочки на мереже.

НА ПАРУСЕ

С грязной и рваной тряпкой вместо паруса, с косым и рыжим мальчишкой в качестве кормчего скользит по мутной глади канала большая лодка, наполненная печеным хлебом. Я помещаюсь среди еще теплых, вкусно пахнущих короваев, и мысли мои естественно принимают такой ход: короваев около семидесяти, каждый из них весит фунтов двадцать; если за доставку их какому-то Кондрашке рыжий кормчий имеет получить с него, как я слышал, рубль, то с меня, из расчета шести пудов, причитается копеек шестнадцать. Значит, если в круглых цифрах я дам двугривенный, то будет хорошо? Однако кормчий, выслушав мои соображения, презрительно и злобно плюет на воду. С Кондрашки получать нечего: он умер лет сорок назад. На косе, где жил какой-то рыбак Кондратий, теперь помещается кооператив, который по условию ежедневно платит за доставку хлеба из пекарни. Проезжающих тут вообще не бывает, таксы, значит, никакой нет, и с меня, по его, рыжего парня, мнению, меньше трех с полтиной взять нельзя. Тут плюю на воду я: попался, делать нечего. Не тащиться же в обход по каким-то полоскам земли, по мосткам и отмелям в поисках какого-то Кондрашки.

Пыхтят буксиры, разгружаются баржи, привезшие тысячи пудов муки, сахара, соли. Кому? Населения нет. Судовщикам? Непонятно: на буксире, считая грязных баб, всегда развешивающих лохмотья, всей команды человек восемь, да на влекомой им барже двое, а везет баржа пять тысяч пудов.

Кому же их есть?

Так нет же, судовщики — все, кто идет по воде: сплавщики леса, заготовщики дров, рыбаки, все, кто на плотках, на лодках, на соймах³ плывут по рекам, по озеру без буксиров, а по течению, на парусах по ветру. Таких тут много.

Тряпка, исправляющая должность нашего паруса, вдруг беспомощно виснет, и лодка, слегка крутясь, останавливается. Тогда рыжий мальчишка берет дырявый же ковшик, плещет воду на тряпку, и пока мельчайшие промежутки ткани заполнены влагой, тряпка опять слегка надувается, и лодка вновь скользит по воде. На косе, которой неведомый Кондрашка когда-то передал свое имя, бойко торгует обычный деревенский кооператив, замечательный только тем, что в течение часа из двух-трех десятков посетивших его покупателей никто не спросил хлеба. Оказывается, это — жители, они хлеб пекут сами, а покупают его судовщики. Опять? Нельзя ли посмотреть на эту породу? Нет. Сейчас никого из них не видать, а идут судовщики артелями, вот этого хлеба, что мы привезли, на четверть часа нехватит, как начнут брать: резать не приходится, меньше коровая не берут.

На подмостках, изображающих пристань, подюжины лодок, готовых отвезти меня куда угодно. Тут уже я диктую свои условия рыжему мальчишке: за два километра содрал, негодяй, с меня три с полтиной, так теперь за двадцать километров не хочешь ли полтинник? Мальчишка соглашается без малейшего возражения, переставляет свой рванный парус с большой лодки на маленькую лодчонку, и, хотя ветра как будто бы нет, мы несемся по синей глади огромной реки, имени которой я до сих пор не слышал. Это — Паша. Она шириной с Неву, глубокий поток могучих волн в прелестных свежеселеных берегах. Вот они, дровяные недра! Вот откуда, вот из глубины каких лесов плывут в течение четверти года березы, разрезанные на куски, для того, чтобы согреть в остальные три четверти года население миллионного города.

Дрова, дрова, везде дрова... Штабеля дров необозримыми рядами стоят по берегам. Дрова плывут в баржах, на тонках, плывут молём, то есть прямо по воде, и наполняют «запани», то есть пространства, отгороженные от течения реки бревнами, которые попарно связаны между собой цепями. А, теперь понятно, что за саранча, эти до сих пор незримые судовщики! Вон они вытаскивают дрова из запаней, вон они «корят»⁴ балансы и пробсы⁵, кладут новые штабеля белоснежных поленьев.

Ну, действительно, судовщиков тут достаточно для поглощения этих тысяч мешков муки и сахара. А там, в глубине леса, не видной с воды, там еще сколько «судовщиков» пилят, корят, раскалывают, укладывают в поленицы?

Вдруг мягкие серые хлопья наполняют воздух. Мелкие желтовато-серые бабочки, трепеща прозрачными крыльями, бьются обо все, что попадает им на пути и падают в лодку, на воду, где видны по всем направлениям длинные плывущие вереницы. То, отыграв странно-короткую жизнь, неслась умирать поденка. Откуда, какой порыв ветра подхватил эти живые облачка? Они все возникли из прозрачной синей дали, кружились и падали, плыли тысячи крыльев,

³ Большая лодка для доставки живой рыбы.

⁴ Корить — снимать кору.

⁵ Сосновые и еловые отрезки строго определенных размеров для английского рынка.

бьющихся в последних содроганиях. Рыжий кормчий опять плещет ковшом воду на парус-тряпку, лодка сильно ускоряет ход, и воздух снова великолепно чист. Рои бабочек, налетевших туманными облачками, толпы людей, копошащихся над срезанными деревьями, и все эти запаны, гонки, баржи, дрова — все мелькнуло мимо. Но что вдруг так манит и ласкает глаз на изумрудной пустыне берега? А гривка ржи, уже заколосившейся, зыбучими золотистыми волнами стелется под солнцем.

Это привычный кусок жилья, деревни.

За ней, за милой, так давно невиданной гривкой, должно быть болото: отсюда слышится скрипучий крик коростеля, и этот яростно-страстный звук как-то дополняет, подчеркивает, оттеняет знойную истому безоблачного полдня, полную тишины, почти неувимых благоуханий и лазурного блеска.

Глухие удары несутся навстречу. С берегов? Нет, с реки. Какой-то грохот, топот, свист и треньканье струн.

Ах, вот оно что. На лесной гонке, плывущей нам навстречу, в будку затесались двое: один играет на балалайке, а другой пляшет, не сходя с места. Музыкант сидит камнем, слегка двигаются только руки, отдирающие бешеного трепака, плясун же вскидывается на воздух, выписывает вензеля, топает голыми пятками, свистит, взмахивает руками, выкрикивает что-то в неистовом восторге, в упоении. Возможно, что он попросту пьян, но что из того?

Этот босоногий трепак в будке, где нельзя повернуться, сильнее, ярче, чем размеренные движения замысловатого балета под звуки оркестра, здесь вполне замененного балалайкой.

Гонка с плясуном исчезла за поворотом реки, а лодка наша к подошла к пристани, очень шумной, грязной и гадкой.

Тут водяные великаны, мутно-желтый Волхов, темносиняя Паша, голубая Свирь и озеро-море, видны сразу, кроме множества водяной же мелочи, каких-то там речек и каналов. Но пассажир тут не в цене, тут везут только дрова и грузы для судовщиков, а пароходы идут почему-то все через двое суток. И я по пыльной дороге пошел к станции.

КРЫМГОРЗАПОВЕДНИК

К МОРЮ

Переезд от Симферополя до Алушты мелькнул, точно какой-то перелет.

Автомобиль, потряхивая три десятка своих пассажиров, несется так, что удивительно, почему он не сваливается с крутого поворота дороги. Ничего, машина, трубя, продолжает лететь, ныряя по каменным извилинам.

Очертания невиданных деревьев прежде всего поражают глаз северянина, привыкший к березам и осинам. А тут кипарисы стоят темные, узкие, непроницаемо-густые. У древних они считались деревьями смерти, траура. И верно, при всей красоте кипариса в его облике есть что-то похоронное. Пирамидальные тополи радостно устремляют к небу свои стройные ветви.

Крутые склоны гор утыканы рядами палок, по ним вьются плети с треугольными зубчатыми листьями.

Огурцы, что ли? Зачем же так странно, стоя на палках? Нет, не плети, то лозы винограда отцвели. Тут среди мелких листьев кистями повиснут полупрозрачные ягоды, нальются соком вина белые, красные, сладкие, кислые, даже горькие (коньяк).

Крупнолистные лозы дадут виноград для еды — роскошное лакомство всех видов, вкусов и оттенков. Вид у виноградника, однако, вообще невзрачный, много хуже маличника.

Из-за крупных камней, сложенных без всякой смазки в стену, из-за этого толстого несокрушимого забора свешиваются крупные блестящие, точно маслом вымазанные, листья и между ними пучки ягод, похожих на вишню: черешня.

Приятно кое-где увидеть старого знакомого: вот картофель в цвету, нельзя не узнать. Но рядом длинные зеленые усы вылезают из коричневой, почти желтой гряды, это что? Кукуруза.

Неужели тут пахнут землю? Разве олень, цепляясь узкими копытами, протащит какую-нибудь необыкновенную соху по кручам. Лошади не пробраться. Нет, киркой, мотыгой, заступом отбивает человек похуже на глину комья от камней, и эта почва несет неслыханные для нас, северян, урожаи.

Синие баклажаны, зеленый перец, кабачки всяких цветов и величин, томаты, чей красный сок наполняет миллионы консервных коробок, — все эти и многие другие невиданные, неслыханные на севере, все они зреют тут в палящих лучах.

Машина, трубя, все летит, и вдруг из-за уступа, заслонявшего впереди дорогу, выкатывается огромное синее. Конечно, было известно, что оно недалеко, где-то тут за горами, но, появившись вмиг, неожиданно, оно поражает, и в ревущей машине все тридцать разных голосов вскрикивают:

— Ах, море!

Оно точно застыло в своем великолепии. Ни ветринки, ни волны, ни пены, ни единого паруса. Только синева, гладь, блеск и необъятный простор до края неба.

ОТ МОРЯ В ГОРЫ

Кончились кривые переулки городишка или началась какая-то деревня? Не разобрать. Узкая дорога идет между каменными заборами плодовых садов.

— Султанку ел? — спрашивает возница. — Нет? Напрасно. Очень хороший рыба. Вчера много ловился, не знают, куда девать. Дешевый рыба, а вкусный. Барабулька — по-русски называется.

Жалко. Я второпях сегодня не пообедал. Вместо знакомства с необыкновенной рыбкой приходится натошак любоваться закатом солнца за горами. Татарина я нанял свезти меня в заповедник, но, судя по приветствиям со встречными, едем мы не туда. Говорят, конечно, по-татарски, но упорно повторяются вопрос и ответ, ухо начинает улавливать смысл в чуждых звуках, среди которых болтается русское слово.

— Слушай-ка, дед, ты куда меня везешь?

— Монастыр.

— Ну вот. А мне нужно в заповедник.

— Все одно.

— Как так? Ну да ладно. Смотри, твое дело.

Я не опасаюсь, что старый щуплый татарин завезет меня к разбойникам или ограбит, но ведь глупо же вместо заповедника попасть в монастырь? Делать, однако, нечего. Едем.

Какие тут грабежи, убийства, нападения! На дороге сидит босоногий мальчик лет пяти и, кивнув тюбетейкой, бормочет моему извозчику те же слова:

— Монастыр?

— Монастыр, — ухмыляется старик.

Татарчонок так красив, что его наверное украли бы, если бы тут ходили злоумышленники.

— Это твоих знакомых мальчишка, он здесь живет? Зачем он тут?

— Не. Не знаю чей. Дровам матке таскал.

Кукольная охапка хвороста лежала около черноглазого малыша.

Драгоценно тут топливо.

— Ишак видал? У вас там таких нету. Ишак много дровам таскал.

Навстречу нам, важно покачивая длинными ушами, шла серая, как мышь, ослица, нагруженная по обоим бокам сухими сучьями. Около нее семенил осленок. В жизни я не видывал более смешного существа. Осленок густо-бурого, чуть ли не малинового цвета, мохнатый, точно из плюша, как бывают игрушечные медведи, и уши его кажутся огромными на несоразмерно маленькой голове.

— Можно погладить? Фью, фью, тпруська, тпруська!

Куда там. Длинноухий детеныш взбрыкнул и убежал, спрятался за другой бок матери.

А тени вечера спускались с гор. Дорога стала безлюдна. По ее краю как-то незаметно вместо забора потянулась пропасть и где-то в глубине, заросшей деревьями, журчал поток. Благоухания со всех сторон, но и сумрак, свежесть, сырость, холод ночи.

— Мяу-куш, — показывает вверх старик.

— Вон эта гора?

— Нет, птица такая. По-русски сова.

Верно. Летит серая неясность, размахивая мягкими лохматыми крыльями, гукает, свистит длинно, тонко. Хорошо называли ее татары. Кошачья рожа.

Грубо, зычно бухнуло из пропасти:

— Ух, у-у-ух!

Ну, этого я узнал по голосу сразу.

— Это филин.

— Самый балшой сова, с ушами. По-нашему пуа.

Позванивают мерно бубенчики татарских кляч. Мне их, кляч, не видно: так темно. Перестает виднеться и спина татарина, совсем ничего не видать. Куда-то спускаемся, бубенчики звякают живей, тяжело ползем кверху, и они почти замолкают.

Вдруг что-то забелело, перегораживая дорогу. Ворота?

— Приехали, — сказал татарин, — монастыр, слезай.

— Как бы не так, — отвечал я, — ищи тебя потом тут с фонарями.

Блеснул вверху свет, брякнула задвижка.

— Да заповедник, — ответили мне из окна смутно белевшей башни, — никакого монастыря здесь нет.

Тогда я поверил.

ДАЛЕКИЕ ДИКОВИНКИ

Чатыр-даг значительно превышает все окружающее. Его плоская голая вершина освещена ярко, когда в уступах гор уже тянутся синие благоуханные тени. Да, тут ночью тень и, кажется, камень жасмином пахнут.

Знакомый звук несется из-за изгороди. Там мелкие утки крикают наперебой, как-то странно прищелкивая. Должно быть, местная порода.

— Однако много их у вас, — говорю я спутнику, — чем вы их кормите?

Он соглашается:

— Да, их тут порядочно. Ничем не кормим.

— Воды здесь нет. Что же им есть среди камней?

— Они на камнях не сидят. Прыгают с листа на листок, ловят разную мелочь. А в воду они лезут только икру метать.

— Икру? Утки-то?

— Какие утки?

— Вот те, что там кричат.

— Так это лягушки.

— Еще что. Неужели я кряканье от кваканья отличить не могу?

— Тут особенная древесная лягушка, зеленая, крохотная.

— Видел я на картинке, как американская лягушка, сидя на дереве, стрекозу схватила. Та лягушка не на всякую тарелку уляжется.

— Ну, нам где уж. Наша с орех величиной, мухи не осилит.

— Нельзя ли посмотреть на такую?

— Сейчас не увидать, темно. Завтра приходите в музей, живьем покажу.

Утро. Радостно веют свежестью зеленые заросли. Вот Чучель-гора, вон Бабуган, Черная. Они все щетинятся лесом, лишь Чатыр-даг торчит голый, лысый.

Мы вдвоем тщательно осмотрели всю обстановку лягушечьей жизни в неволе: мох, какие-то длинные травы, вроде осоки, ветви с крупными листьями. Напрасно: лягушки не оказалось.

— Удрала, — смущенно усмехнулся зоолог, — придется другую поймать.

Лягушке не выпрыгнуть из стеклянного шкафа вышиною в человеческий рост.

— Наша лягушка по стеклу, по потолку лазит, у нее на лапах присоски. Вот в щелочку у крышки она и вылезла. А неопалимую купину желаете видеть?

— Нет, не хочу. По церковной части не интересуюсь.

— Это не икона, а цветок. Он от огня вспыхивает, но не горит. Зеленые листья его свежие, сочные, обжигают кожу так, что пузыри получаются, и раны болят с год. Цветок загорается не в жару, а к вечеру. Правда, странно?

— Да вы все насмех говорите. Сказки.

— Нисколько. И одних цветок обжигает, на других не действует. Ботаники его давно знают, а почему в пламени даже не вянут лепестки цветка, почему не каждую кожу обжигают листья — неизвестно.

Полдень. Вокруг лысины Чатыр-дага прозрачными волнами плывет какая-то розовая дымка. Это кремнистая пыль клубится в лучах. Овцы там толкуются стадами, пешеходы карабкаются по тропинкам? Гора кажется близкой — так она огромна, но ничего на ней не видать — так она далека.

— Вот вам лягушки. Не просыпьте.

— Да они желтые?

— Это от мешка.

Десяток лягушек заключен в маленький «фунтик».

— Будет издеваться. Что же, бумага полиняла?

— Совсем не то. Лягушки изменили свой цвет.

— А на блокнот их посадить, так они белыми станут?

— Светлосерыми, вполне белой окраски у них, повидимому, нет.

Четыре крошечные коричневые лягушки из мешочка переселяются на тетрадку.

— Покраснеть они тоже не могут, дальше темнобурого цвета окраска не идет. Видите, они уже бледнеют, приблизительно через час они будут желты, как лимон, потом посереют.

Я унес свою бумагу с лягушками и убедился, что зоолог прав. А часа через три моих пленниц трудно было рассмотреть на листьях дуба, куда я их посадил, — такие они стали ярко-зеленые.

Когда дико ухнул филин в темном ущельи и только чудовищный череп Чатыр-дага светился в зареве заката, в этот росистый час от ничтожного огонька

спички с треском ярко вспыхнул цветущий стебель. Пламя, охватив голубоватые колокольчики, задрожало на миг и рассеялось легко, бесследно. Цветы стояли свежие, не тронутые ни дымом, ни копотью.

У СОЛОНЧАКА

— До воды олень не жаден, приходит редко, пьет мало. По деревьям с листками росы похватает, ему и довольно. Вот за соль он все на свете, даже рога свои забывает.

— Рога?

— Да. Они сейчас у него болят. Мохнатые, мягкие, чуть об ветку чиркнет рогом — кровь. Лежит в чаще, никак никому к нему не подобраться, все слушает, ушами этак шевелит. Сам дремлет, глаза закрыты, а ушами — одним туда, другим сюда. Точно трубкой, ухом поворачивает.

— Кто это видел?

— Я. За сорок лет службы в лесу еще и не такое видал. При мне в Беловежской пуще девятьсот зубров паслось.

— Ну, что там зубры! Крымский олень такой же, как в пуще?

— Здесь олень другой, совсем дикий. Теперь поразвелись опять. А то было выколотили начисто. К 1923 году оленей всего двадцать пять голов осталось, а Временному правительству мы по описи сдали семьсот двенадцать.

— Какой же дикий олень, если по описи?

— Ничего не значит. Опись составляется по пороше, по следам. В назначенный день мы, наблюдатели, все выходим в один час, и каждый в своем обходе считает олени следы. Подсчет к вечеру по телефону сообщаем в управление, там делается сводка. Оленей за 1928 год насчитано двести пятьдесят.

— А коз?

— Тех тысяча двести. Их перестали считать; теперь, конечно, уже больше, тысячи полторы будет. Вот солончак.

Это? Никак не ожидал. Где же белизна, куски, лепешки, комки, где лужи с блестящими краями в серебристых кристаллах? Тут, на сумасшедшей высоте, куда мы по камням лезем часа три, тут солончак — площадка слегка заболоченной травы, то, что на плоских берегах Клязьмы или Оки зовется просто потный луг.

— Где же соль? В грязи?

— Нет. И вода не соленая. Попробуйте. И не пахнет ничем. Грязь, как грязь. А из-за этой грязи олень вон с той вершины сюда спускается.

— Так разве сейчас олень не внизу, не у потока?

— Там ему душно в балке-то, а наверху обдувает, он тут и лежит в трущобе.

— Он отсюда придет, как мы шли?

— Вон оттуда вылезет, из чащи.

— Увидим?

— Наверное сказать нельзя. Вчера как будто бы не приходил. Третьего дня был. Вот тут валялся.

— А это оленя след?

— Его. Вот косули набегали.

Как странно. Болотистый край деревенского выпаса, полувзрослый жеребенок выдавил ямку копытом, овцы мелко натоптали? А говорят: следы невиданных зверей. И почему не верить? Он так обстоятельно, деловито, спокойно рассказывает, этот старый страж вековых лесов. Для него четвероногие диковинки дебрей почти домашняя скотина. Зубры, кабаны, олени, козы — он их убивал, ловил живыми.

— Здесь ждать будем?

— Еще немного поднимемся. Тут он нас ослушает, осмотрит раньше, чем мы его, не покажется и уйдет. Мы ночью подползем, как он зафырчит, копать начнет.

— Копаться?

— Да. Топчет грязь эту самую, не могу сказать, ест ли ее, жует ли или воду из-под нее слизывает. Уткнется носом в нее и фырчит, вот тогда он хуже слышит. Так их на солончаках и стреляли, пока не запретили. А то валяться придется, весь вымажется.

— Долго еще подниматься? Я дальше не пойду.

— Тут можно лечь. Спускаться будет хуже. Сапоги вам придется снять, тряпками обернуть чулки можно. Камни посыпятся — ничего, а сучок под ногой треснет — беда, уйдет. За версту услышит. И говорить нельзя совсем, ни-ни.

Серые, синие тени выползают из зеленой глубины ущелий. Нет, там уже не зелено, там черно. Точно сигарный дым тянется. Облака? Ни одного, ни малейшего. Синяя дымка все тянется, кутает, темнеет. А вершины освещены ослепительно и красным огнем горят там стволы сосен, влипшихся крупными пятнами среди зелени дубрав. Пить? Конечно, хочу, никогда так не хотел. Вода, как лед. Откуда? На вершине горы ключ, у подошвы поток, и тут и там холод, а стебли трав скрючились, в трубку свернулись листья, земля в трещинах, жаром пыщут камни. Юг? Да. Здесь в прозрачной вышине летит такая ночь, рассыпано такое великолепие звезд, каких убогий север вообразить не может. В безоблачном сиянии светит небо, а на земле тьма и облака тянутся, сырой, холодный дым.

Спускаемся по каменистой тропинке. Я жалею, что спутник не ведет меня на веревке: все равно приходится придерживать за его одежду, не вижу ничего. Долезли, доползли, лежим. Подстилки не требуется, отдыхающая от зноя земля отдает тепло, греет. Удивительный край.

Осторожный толчок будит меня. Звезд нет, смутно сереет небо, зато здесь стало видно. Задыхающийся, прерывистый лай, сиплый кашель несется снизу из темноты. Я уже слышал, я знаю этот звук: коза кричит. Нет, спутник желает что-то еще объяснить. Он приставляет ко лбу два пальца, шевелит ими, указывает глазами. На мокрой лужайке, называемой почему-то солончаком, маячат какие-то тени.

— Косули, — чуть шепчет мне, склонившись к самому уху, старик, — три козули, два козла. С рожками, видите?

Ничего не вижу. Тени беззвучно исчезают.

На горбатых гребнях гор розовеет заря. В провалах между горами над зеленью, над синевой ключьями висят какие-то седые бороды. Журчание потока где-то глухо шепчет, и крик козы со всех сторон. Или эхо его повторяет?

В этот час тумана, тишины и сна олень идет лизать соль. Грязь, не соленую, не пахнущую ничем для человека? Какие вещества, неведомые, быть может, непонятные жадно ищет тут олень? Что за чувства таятся в роскошно-рогатой голове, и что такое эти рога, заботливо охраняемые, растущие в страданиях и сбрасываемые, как хлам, ежегодно?

Вдруг брызнули ввысь огненные стрелы, все осветилось, засияла нестерпимым блеском лазурь неба: где-то из-за края земли, закрытого горами, вышло солнце.

— Кончено, — сказал, вставая, спутник, — не придет олень. В это время он уже уходит. Домой пошли, а?

Тут с шумом, треском взметнулись ветви в темной прогалине у солончака, и против всех правил, наперекор всем наблюдениям выскочил олень. Как обманул его слух, почему он не досмотрел, не унюхал? Он пронесся слишком близко. Я успел заметить только длинные ветвистые рога да что-то буро-красное, да сверкнуло, исчезая, «зеркальце», белоснежное пятно на верху задних ног. Сыпались камни, трещали сучья, удалялся могучий стремительный бег оленя.

— Видали, — покраснев, кричал старый наблюдатель, — хорош? Вот как притаился, рядом лежал, подлец.

— Видал мельком. Маловато видал. Жаль, что поторопились. Вышел бы. Этакая досада.

— Не горюйте. Лучше-то, пожалуй, никто его не видал.

— Позвольте не поверить. На базарах продавали. Значит, видели.

— Тогда не обращали внимания. А я верно говорю. В Академии наук нет описания этого оленя. Неизвестно, пятнистый он или нет. Если пятна найдутся, значит, это новый олень, никем нигде не описанный. Осенью отстрел произведем, узнаем. Вот тогда посмотреть приезжайте.

Я слушаю рассеянно и лишь притворяюсь огорченным. Что мне пятна, подробности шкуры? Останется незабвенным мгновенное длиннорогое виденье.

БЕЗНАСЕКОМЬЕ

Про остров Барбадос мне недавно случилось прочесть, будто он на земном шаре единственное место, где нет малярии из-за отсутствия там комаров. Завидным показался мне остров. Я тогда же решил со временем не то что побывать на Барбадосе, нет, где уж, а отыскать его на карте. Не пришлось. Не знаю, где он, счастливый Барбадос.

И вдруг судьба закинула меня не слишком уже далеко, но в уголок земли почище Барбадоса, в Крымский горный заповедник.

Блохи здесь не водятся, утверждаю решительно. Нелли, скверная фокстерьерка, вечно шляется под столом, шмыгает около ног, пачкает платье. Всего этого терпеть не могу, но должен удостоверить, что даже в белой шерсти соба-

чонки незаметно черных прыгунов. И частые посещения Шарика, какого-то полугончегго пса, не меняют дела: при двух собаках все-таки упорно блох нет.

Клопов искал, не нашел. Спрашивал о них. Отвечают: есть. Где? Очевидно, скрываются, таятся, кровопийцы, в рухляди, в лохмотьях, привезенных из разных мест. Те, кто говорят о наличии клопов, надо полагать, имеют основания так говорить. Привозная гадина, это совсем особое дело. Привезти и расплодить можно крокодилов. Это не значит, что они тут есть.

Пауки в углах комнаты висят, прицепившись прямо к известке, двое мертвых. Гибель от голода, самоубийство с тоски по лучшей жизни? Как бы там ни было, следов гнусно-текстильной деятельности, паутины, не заметно. Энтомологически, как всякий знает, паук не насекомое. Почему, кто он такой — вопросы посторонние, неуместные. В жизни, как опять-таки известно, пауки идут в насекомый счет. Итак, чрезмерно искусные ткачи не плетут здесь своих грязных сетей. Нет пауков.

Мухи? Над остатками растерзанной кошки в клетке у грифа, где пахнет очень гадко, вьется, гудя, маленький черный рой. Кое-где в укромных уголках, огражденных строго, также слышится противное жужжание. Но даже рядом с кухней в столовой появление одинокой мухи если не вызывает восторга, то неизменно привлекает общественное внимание. Удивительный, редкий случай: муха.

Про комаров здесь слышны такие разговоры:

— Третьего дня Иван Иванович одного видел. Говорит, пищал, как следует быть.

— Где это? Может, еще врет. Сплетник ваш Иван Иванович, нельзя ему верить.

Мучители, худшая из казней, неисчислимо-проклятые пискунны, как они сюда не попали? Вот им и Барбадос.

Энтомолог ежедневно выходит на свою охоту. Он размахивает сачком над кустами и травой, что-то ловит, кого-то сажает в баночки, в мешок. Какие-то синие стрекозы толщиною в нитку на прозрачных крыльях, пепельные бабочки, похожие на моль, зеленые, красные букашки — вот его невинная добыча. Бедняга второй год бьется, не может поймать что-нибудь этакое с жалом, с ядом, жгучее, вредное. Ничего подобного.

Скорпионы, тарантулы, сороконожки, ухвертки, сколопендры, всякие другие страшилища, — все они, с его, энтомолога, точки зрения, пусть даже не насекомые — где они, отравители, кусаки, отвратительные, ненавистные? Им по штату полагается быть везде на юге. Здесь юг, их нет.

Где неистребимая язва, вечная, роковая туча, беспроглядный мрак севера — таракан? Нет тут таракана, ни черного, ни прусака, ни египетского с голубыми кругами на боках, никакого таракана.

Ползушие, прыгающие, пискливо прилетающие во тьме, втыкающие жало, пьющие кровь, просто пачкающие — какие болезни, сколько ядов, просто гадостей несут они на своих челюстях, хоботках, на мохнатых лапах? Все в других местах, не здесь. Какая тут малярия! Не слышано.

Блаженный край. Тут в жаркий летний день спокойно лежит на земле человек и смотрит почти с умилением: никто к нему не ползет, а муха летит, толстая, черная. Такая не укусит, не пристанет к человеку, безобидная муха. А больше никаких нет.

АСКАНИЯ НОВА

ВЕСЕННИЙ ПЕРЕЛЕТ

Где-то под Курском, у какого-то столбика на железном пути презрение к себе овладело мною совершенно.

Надо же было придумать такую несчастную глупость — поехать навстречу весне. Вмешаться в толпу больных и калек, жаждущих найти на юге исцеление от своей хвори, втиснуться в коробку, битком набитую грязными запахами, стонами боли и притворства, подчас озлобленной руганью, ревом и смехом пьяных. Вот так весна, уж не вернуться ли домой? Туда, на север, радостно крича, несутся птичьи стаи, спеша на праздник жизни. С ними не полететь, конечно, но в вагоне можно будет дышать и ехать по-человечески. Вернуться? Тут прилетел скворец, уселся на верхушку столбика и, распутив крылья, брызнул песню почти с треском, чуть ли не со звоном, с какой-то длинной заливистой трелью.

«Э, нет! Вот как тут поют. Во что бы то ни стало еду дальше». Милейший певец оказался прав. Мелькнула еще гнусно-тягостная ночь в вагоне, и необъятно зазвенела степь. Она пахнет как будто слабо. Это не вязкая сырость таящих болот, надолго виснувшая в воздухе, это почти неуловимый ветерок, веющий тонкими ароматами, это свежее, слегка влажное дыхание земли, едва проснувшейся от зимнего сна.

И край земли так странно уходит куда-то вдаль, где вместо зубчатой кромки леса, привычной глазу северянина, клубятся в блеске голубые волны. Там огромная река, озеро, море? Да, там океан, там серебристые громады плывут, опрокидываются, рассыпаясь сверкающей пеной. Там снежные поля, там ледяные горы? Да нет же, то марево. Там, в синей дали, та же степь, и лишь воздушные волны, пронизанные солнечными лучами, свиваясь в причудливые вереницы, дразнят и манят глаз несбыточным видением. Какие тут моря! Тут ведро воды из глубины черной земли вытаскивает верблюд, медлительно ходя вокруг колодца и наматывая длинную-длинную веревку на какую-то вертушку.

Песню жаворонка полон воздух. Она дрожит, пузырясь и звеня, слабая песенка, и от неисчислимого множества певцов принимает странные размеры. Так на закате июльского дня над болотистым лугом севера миллионы пискливых жужжаний сливаются в один протяжный и низкий звук. Там властвует комар. Тут над свежезеленой степью жаворонок — сила. Благодарю, неведомый скворец! Концерт неслышанный, невообразимый.

Автомобиль ревет, хрипит и воет; он «пожирает пространство». А певцов все столько же, без числа. Они вспархивают из колеи, из-под самых колес машины и трясутся над ней так близко, что видны скромные узоры рыжевато-коричневых перьев, белая оторочка крыльев, у некоторых хохлы на головах. Иные летят, стелясь над вершинами едва высунувшихся трав так, что между зеленью лишь мелькает что-то рыжее. Птица? Нет, зверек, похожий на крысу, во все

четыре лапы удирает в сторону от дороги: суслик. Вот другой... Вон еще один, сед, «вздыбил», по-заячьи перебирая передними лапками, послушал, повертел головенкой и опять побежал по-крысьи. Благодарю, благодарю, скворец!

Стоп! Храпя, остановилась, смолкла машина, выпуская дым. И на нее со всех сторон мгновенно ураганом налетели дрожащие трели жаворонков, клеток ястребов, кружащих в вышине, свист рыжих сусликов в траве и благоуханное дыхание весенней степи.

Давно кто-то сказал, что степь ровна, как тарелка. Эта нелепость почему-то упорно повторяется постоянно. Тарелка не ровна, а степь на нее несколько не похожа. Если уж за сравнением итти в кухню, то степь напоминает блин, слегка вспухший по краям. Езда по такому блину, когда он размокнет, наверное, очень плоха; тащиться на волах или на клячах хотя бы по сухому блину тоже, наверное, нехорошо. Но стремительным бегом машины пронестись в три часа сотню километров — это большое удовольствие.

Журавль, гулявший по песчаной дорожке, спокойно продолжал шагать навстречу мне. Я протянул ему кусочек хлеба, зажав его между пальцами. Журавль, переступив раза два и покачав головой, взялся за хлеб и принялся его тащить, а я рассматривал его малиновый лысый затылок, заглядывал в его изумительный глаз. Как он видит? В кочки болота, густо заросшие осокой, огромная птица камнем сваливается из-под облаков, мгновенно схватывает что-то темное, извивающееся и уносит в недосыгаемую вышину. Значит, был прицел? Я видел не раз такое представление, не думая, что когда-нибудь удастся заглянуть в журавлиный глаз.

Глухой яростный рев, шипенье... Огромный кот взбесился? Где, почему, на кого? Да на меня! Зеленые глаза, белея от злости, смотрят через решетку, пятнистый серый зверь лежит на боку и, вздрагивая, рычит, почти воет.

Оказывается, я, увлекшись журавлем, незаметно подошел к клетке барсов. Их четыре. Какие свежие звери! Это не затасканные «экземпляры», равнодушно смотрящие на тысячи зрителей. Нет, этих крючит от вида человека, приближение его ненавистно до бешенства. Пойманы, да, тюрьма крепка, ломать не стоит, пусть, а вот это видал? И лапы, то выпуская, то вбирая страшные когти, дергаются к решетке.

Тени вечера ползут между деревьями, в чаще почти темно, там слышатся шумные взлеты и отрывистые звонкие голоса как будто петухов, не дотягивающих до конца свое кукареку: то боевой, любовный клич фазана. Вон один золотистый бежит через дорожку, даже в полумгле сверкают ярко-желтые и пурпурные перья дивной птицы с хвостом в аршин. Пустое дело, хвостик! На каменной стене сидит павлин, свесив уже трехаршинный хвост, смотрит на зарю и кричит. Резок и неприятен вблизи голос павлина, но, протяжный и звенящий, точно звук медного рожка, он издали красив необыкновенно, полон знойной страсти, он почти выговаривает: «Скорей, скорей!»

КАМЕННЫЕ БАБЫ

Десяток угловатых камней стоит во дворе усадьбы. Они покрыты не то зеленой плесенью, не то бурой ржавчиной; эту странную краску не стереть никак. Если взглядеться поближе, то видно, что у всех намечены руки, скрещенные на животе, тщательно очерчены женские груди. Никакого сомнения, попросту это бабы. Лиц у них нет, что-то плоское, стертое, какой-то очерк человеческого лица, и у всех одинаковое выражение: что-то вроде улыбки.

Этим бабам пятьдесят тысяч лет. Может быть, много больше, возможно, что немного меньше — какая разница и кто ее скажет? Вырублены бабы из камня, должно быть, камнем. Кем, для чего? Ни букв, ни цифр, никаких знаков на них нет.

Кроме десятка свезенных во двор усадьбы, таких баб множество торчит по степи. У всех руки сложены на животе, старательно выпячены груди и на стертых рожах подобие одинаковой улыбки.

Стоят бабы и смотрят. Их поставил художник, отличавший в человеке только пол; одежды, по его мнению, никакой не полагалось. Те, кто одевались в звериные шкуры, пришли позже. Гунны и печенег проехали мимо уже на телегах, уже значительно образованные народы.

Из тростников степных рек выходил чудовищный черный бык. Он догонял конного охотника и бросал обоих — и всадника и коня вместе — на рогах, невероятных, но сохранившихся в темной глубине земли.

Каменные бабы, в числе прочего, видели и эту турью потеху.

Почти сказочный бык исчез с лица земли триста лет назад. Пустяки! Что такое три столетия для каменных баб? Они невозмутимо смотрели на более удивительные вещи. Когда люди уже не плясали вокруг костров, умиляясь богу, не мазали им, бабам, губы кровью жертвенных животных, а друг друга убивали из ружей, в эти просвещенные времена человек, величаемый императором всероссийским, одним росчерком пера подарил другому человеку, именуемому герцогом Ангальт-Кеттенским, всю южнорусскую степь со всем, что в ней было: с косяками серых, как мышь, тарпанов, диких лошадей, со стадами овец, с мужиками и бабами живыми и с ними, с каменными бабами.

Они, конечно, молчали, слегка как будто улыбаясь каменными подобиями едва очерченных губ. Что такое? Еще секунда, пятьдесят лет... Бабы принадлежали уже не герцогу, а колонисту Фейну, который свою дочь выдал за Фальца, вследствие чего их сын стал называться Фальц-Фейном. Разве это не все равно? Однако с десяток их, каменных баб, перевезли и поставили во дворе нового владельца. Остальные продолжали смотреть на степь.

Он разбогател значительно, этот новый владелец, человек, называвшийся двумя именами. Германский герцог, не Ангальт-Кеттенский, другой, гордо сказал как-то Фальц-Фейну, что у него, у герцога, двадцать тысяч овец, на что Фальц-Фейн скромно ответил, что у него, у Фальц-Фейна, двадцать пять тысяч собак, охраняющих стада. Овец у него действительно было полмиллиона.

Каменные бабы и во дворе и в степи продолжали хранить подобие улыбки. Пустое дело эти счета богатств, полетят они когда-нибудь ко всем чертям: и богатства, и счет на них, и воображаемые права.

Фальц-Фейн, чтобы потешить сынишку, покупал разных зверей и птиц. Деньги обильно стригли с овец, а степь кипела неисчислимо-разнообразной жизнью. Из убитых зверей и птиц делали чучела в музей, живых держали в загорадах, в обширных клетках, на прудах, в привольной степи.

Когда сын подрос, детская забава превратилась у него в страсть, освещенную знанием и благородным стремлением принести пользу степи, давшей ему и богатство и жизнь. Со всех концов земли явились в степь живые диковинки. Тарпан, дикая лошадь, исчез, его как-то незаметно истребили, но запрыгали полосатые кони, зебры, побежали антилопы и олени, зашагали страусы. Птицы неслись стадами в заповедные уголья.

Великолепный зверинец, прихоть богача, роскошная забава? Нет, дело ставилось шире. От диких существ, полных сил, нельзя ли влить часть крови в обветшалые ослабевшие породы домашних животных? Что, если быку дать восьмидесятипудовый вес роскошного мяса, лошади — стремительный бег зебры, ее невероятную неутомимость? Что, если завести полудомашних птиц, таких, чтобы они, улетая выводиться на почти неведомых местах, возвращались несметными станицами к знакомым кормушкам, неся свою мощь и свежесть хилой домашней птице?

Чудесные дали открывались перед исследователями. Им для ученых занятий предоставлялись лаборатории, широко отпускались средства, исключительный по богатству материал.

Аскания Нова, имя заповедника, стала известной всему миру.

Каменные бабы улыбались. Гражданская война пронеслась кровавым вихрем тут несколько раз. Снаряд влетел в стадо зубров и бизонов, погубил в один миг то, что кропотливо собиралось десятилетиями упорного, вдумчивого труда. Золотистых карпов вытаскивали из прудов штыками, лебедей жарили, с антилоп снимали шкуры на сапоги.

Конец, гибель?

Нет, только разорение.

Когда-то крестьянский мальчик Клим был взят присматривать за зверьем и птицей в заповеднике и, прожив в нем всю жизнь, в решительную минуту спас его от гибели.

Старик Клементий Евдокимович Сиянко сел во главе совета местных рабочих и отстоял заповедник разными способами. Воины прельстились дикими лошадьми Пржевальского. Не крупны буланые лошадки, но крепки, статны, огнем пыщут: взять их в кавалерию. Отчего нет? Пожалуйста. Оседлать Искрыча. Наездник сел, умевший сидеть на лошади. Искрыч бросил его на... крышу, крышу невысокую, правда, но все-таки крышу. Четверых, пытавшихся приблизиться к нему, Искрыч чуть не убил. Обозлившиеся воины взяли за револьверы, но тут выступил предсовета:

— Это зачем же? Ездить на лошадке я не мешаю, а стрелять не дам.

Лошадки Пржевальского остались гордостью заповедника, в кавалерию не пошли.

Еще при громе пушек старик Сиянко получил одобрение и поддержку военного командования: заповедник уцелел. Он стал крепнуть, залечивая раны, оправляться, понемногу доставая из-под спуда чуть не задохнувшиеся сокровища.

СРЕДИ БЛАГОУХАНИЙ

Сирень, плотными зарослями обступившая пруды, всюду развесила пышно-лиловые кисти. Буйно цветет белая акация. Их сладкий запах, точно густым пологом, висит над кустами. Вдруг сквозь знакомое благоухание несется какая-то новая нежно-пряная струя. Осыпанные желтыми цветочками стоят незнакомые кусты. То цветет американская смородина. Не знаю, каковы будут ягоды, но дыхание бесчисленных мелких желтых лепестков пьянит и радостно щекочет сердце.

Яблоням вообще не приходится стоять на берегу. С дикой яблоней случиться это может и, если так выходит, то вид получается восхитительный. Огромное дерево, сплошь покрытое бледно-розовыми цветами, слегка склонившись, как бы смотрит в зеркало воды, и белоснежные лепестки падают с ветвей на их отражение.

Такие прелестные случаи в Аскании часты, яблонь, не тронутых ножницами садовника, так много, и, высокие, развесистые, они обильно цветут над грязной водой.

Давно не чищенные пруды заволакиваются тиной, заросли травой и, если бы не случайное наводнение от весенних снегов нынешнего года, то многие из прудов пересохли бы. Кто будет чистить, на какие средства? Нет денег.

Проклятая песня звучит и тут на каждом шагу.

Узнав, что профессор-орнитолог вернулся из поездки на птичьих острова, я иду посмотреть его добычу. Журавлиное яйцо — огромное, почти коричневое, глинистого цвета. Сколько оно весит? Фунт, не больше ли?

Профессор, прикинув на руку, предполагает:

— С полкилограмма будет.

— А нельзя ли точно узнать?

— Можно. Сейчас свесим.

Профессор идет с яйцом в соседнюю кухню, но возвращается несколько смущенным: весы, оказывается, сломаны.

Так ведь то кухонные весы, в лаборатории разве нет своих?

То-то и дело, что не только весов, а и лаборатории почти нет. Вот свалены в углу кое-как пересыпанные нафталином русачьи шкурки. Это разные виды водящихся тут зайцев, их много, они очень интересны, набить их, сделать чучела из них некому и спрятать некуда. Так и валяются. Они попали сюда из зоологической лаборатории: там совсем места нет.

Библиотека. Ее сожгли, а что не успели сжечь, то растащили. Два-три небольших шкафа, наполненных пыльными книгами, это личная собственность

профессора, уцелевшая случайно. Для научной работы, откровенно говоря, ничего нет, если не считать пустой комнаты с большим деревянным столом.

Добыча последней орнитологической экспедиции лежит на столе. Их с полсотни.

Это уже не птицы, хотя бы убитые, и это еще не чучела; это шкурки птиц, набитые отравленной ватой. Так с ярлыками на лапах они будут, покрываясь пылью, висеть до тех пор, пока представится возможность придать им надлежащий вид. Сейчас из глазных впадин у них торчат белые клочья. Стеклянных глаз нет. В деревенском кооперативе там, в глуши, близ птичьих островов Азовского моря, оказался для чего-то завезенным желатин. Профессор купил его весь — пачек восемь, оптом, по дешевке, все равно никто там не купит, а помощники его, профессора, воображают и уверяют, что они из желатина сделают глаза для птиц. Боевой, неустрашимый народ эта молодежь. Пусть делают.

Джарылгач, Бирючий остров, Тендеркоса — все это на бумаге вошло в заповедник Чапли. На деле там ни охраны, ни стражи, ничего, кроме бесконечно-го множества птиц. Там гнезда лежат на земле сплошь, оттуда яйца продолжают вывозить лодками на корм свиньям, на мыло. Конечно, там можно было бы не только застрелить несколько десятков птиц, а наловить живьем на пролете множество диковинок, но... Но... денег нет. Впрочем, экспедиция привезла живую добычу. Вот. Болотная курочка весело попрыгивает в клетке. Мальчишки поймали и принесли.

Просили за курочку рубль. Профессор, не располагая кредитами, предложил двугривенный. И оказался прав: мальчишки уступили.

Если мне уж очень хочется узнать точный вес журавлиного яйца, то не снесу ли я его в лабораторию шерстования.

Овцеводы богачи, у них какие угодно весы есть, шерстинку свесит, не только яйцо, у них микроскопов новых поддюжины, они...

— Ну что там считать в чужих карманах. Скажите лучше, профессор, как проехать на Джарылгач, например, к кому там обратиться. Без экспедиции, просто так, одному поехать, а?

— Наймите подводу, она довезет вас туда дней в пять. А обратиться там не к кому, да и незачем. Болото и птицы, смотрите, сколько хотите.

— А стрелять можно?

— Не полагается, конечно. Но если бы вам вздумалось, то никто слова не скажет.

В благоухающих зарослях сирени даже днем поют соловьи. Их видно, таинственных певцов. Скворцы носятся тучами, не боятся ничуть, расхаживают стаями пешком по дорожкам так близко, что кажутся странно большими. Со всех сторон брызжут песни.

Все это очень мило, но как же так: неужели журавлиное яйцо нести овцеводам? Лучше уж его не взвешивать. И на Джарылгач не поеду, пока не выяснится, заповедник он или просто так необитаемая пустыня. Вот досада.

Зоологическая лаборатория помещается... в чулане. Стул там один, посетителю сесть иначе некуда, как на сундук. Препаратор, он же и фотограф, заявляет, что снимков для меня он при всем желании сделать не может: бумаги нет.

Лицо его в красных пятнах, голос прерывается. Что такое? Стоит из-за пустяков волноваться, бумаги пришлю, да и снимки вовсе не так важны. Не в том дело. Он сокращен. Может быть, не вполне, но в этом роде. Ему предложено или согласиться на уменьшение его оклада на 30%, или покинуть должность. Куда же он пойдет? Он тридцать пять лет тут, вся жизнь, все силы, все отдано Аскании. Разве он может без нее жить? И тридцатью рублями в месяц разве можно покрыть недостаток в сотни тысяч рублей?

Я сочувствую, но ничего не понимаю. Как не понять? Ни для кого не секрет, что озимый хлеб пропал, прошлогодние запасы кормов съедены. Аскании нечем прокормить свои стада, своих животных, своих служащих. Денег не дадут. Прохозяйничали за год тысяч триста.

Так вот со служащих вычет, а с него 30%, а получает он 100 руб., значит 30 руб. в месяц. Это басня. Мельник упустил воду, а потом в кур, пришедших напиться, поленом хлоп.

Какая басня, это — ужас жизни.

Я вышел из зоологического чулана оглушенный. Значит, заповедник трещит по всем швам. Стада тонкорунных овец и почти безграничные поля, распашанные под кукурузу, пшеницу, под разные джуты, рапсы и кенафы, — все это идет в убыток. Так не проще ли откровенно поставить на казенный счет содержание знаменитого зоопарка без неудачно-хозяйственных ухищрений?

Нежная зелень болота уходит вдаль к краю земли. Кое-где среди травы торчат длинные белые шеи. Фламинго дремлют там, стоя на одной ноге. Или полудикие лебеди сидят над гнездами.

У ближнего берега обычная птичья возня. Золотистые огари всегда дерутся и орут, надоедливые, беспокойные, крикливые утки-гуси. Они злобно хохочут, точно выговаривая:

— Платить не-е-чем, денег не-ет, есть не-е-чего, не-е-ет.

Я понимаю, что это мне только так кажется. Но липкое благоухание, струящееся со всех сторон, тягостно, оно душит.

ПТИЧЬЯ ВПАДИНА

Под — это складка степной почвы, впадина, где собирается снеговая вода. Чапельский под — это ряд впадин. «Чапли» — древнее имя того, что было названо Аскания Нова, и под этим названием заслуженно прославилось. В 1928 году «Чапли» наполнился водой так же, как было однажды лет пятьдесят назад. Волны хлещут через кусты, угрожая выломать заботливо выращенные деревья и залить лебединые гнезда.

Птицы — везде. У меня мешок с хлебом, но... но как начать знакомство?

Я начинаю кидать кусочки хлеба в воду. Первыми подплывают лебеди. Как противно, как тупо-злобно выражение лебединого лица. Этакая пышная фигура, величественность этакая даже за десять шагов, а вблизи такая низменно-злющая рожа.

Лебедь фыркает, взвизгивает, хрипит.

Милый характер величественных красавцев, очевидно, известен достаточно, — все охотники за кусками хлеба шныряют кругом лебедей, строго соблюдая расстояние как раз в меру лебединой шеи.

Проворные огари успевают нахвататься больше всех.

Голосиста эта утка среднеазиатских степей. Огарь то клохчет почти как курица, то квакает по-лягушечьи, зычно гогочет гусем и трубит точно гобой, точно деревянный рожок — грустненько и ясно.

Черный клюв, черные лапы, кончик хвоста черный, белые крылья, когда летит, а сама вся в золотых перьях.

Свистнули над вершинами утиные крылья. Кряквы, увидев, что около меня собралось очень большое общество, не выдержали, опустились, плюхнулись на воду, но смотрят строго. Как странно: самая близкая родня домашним уткам могла бы попроще себя держать. Я через лебединые головы кидаю кусок кряквам. Фырк! Только их и видели. Один дальний кусок успевает схватить белолобая казарка, маленький полосатый гусь, и немедленно вся их стайка начинает действовать смелее, подплывает ближе, остерегается только лебединых клювов. Огари — те давно обнаглели и шныряют у самых хвостов лебедей. Они выбирают на берег и, клохча, бегут, живо перебирая высокими лапами. Из чащи кустов на дорожку выскакивает фазан, другой. Вот странная компания собралась на дорожке. Я кидаю им корм, ну-ка, что они будут делать? Огари дерутся бойко, но отступают, побежденные: не по утиным носам неразмоченный хлеб. Фазаны долбят, пестрые негодяи; скромно-серая курочка-фазанка смотрит из куста, подойти не смеет, хотя, видимо, очень хочется. Разноцветные петухи расклеывают корку до крошки.

Выстрел. Это маленькая неприятность в жизни грачей: отстрел. Здесь всякой птице дозволяется жить, но не безобразничать. Крикливые черные птицы так ломают на гнезда ветви, что если их не стрелять, то они погубят весь парк.

Как только убитый грач падает с гнезда, на его место является пустельга, маленький кобчик и поселяется там. Воздух полон пискливым криком маленьких хищников: «кли-кли-кли». Они трясутся над вершинами, перелетают попарно, кружатся над самым стрелком, разбойники, отлично понимая, что выстрел им ничем не угрожает: их не трогают, они питаются ящерицами.

Подъезжает лодка, из нее выходит старик и два парня. Они ездили смотреть лебединые выводки.

— Ну, ну, что видели?

— Та биется, — смущенно улыбаясь, говорит старик, — крылами и носом биется.

— Кто дерется?

— Та лебедь той самый. Як клюнув мне по голове, як вдарив, так двенадцать каганцев засветилось в очах.

— Отмахнулся бы. Вот чудак!

— Куды там. Налетает як бис и бие. Мне своя шкура блыще. Нехай ему бис его лебедята.

Побитые лебедем парни, криво посмеиваясь, удаляются вслед за стариком.

Над разливом несется табун гусей, зычно гогоча, низит и садится не очень далеко. Ну, этих не покормишь: эти совсем дикие. Это отдых на дальнем пути куда-то на север, в какие-то тундры.

Хлеба у меня больше нет. Надо отдать справедливость лебедям: только они да нильский гусь глупо толкуются у берега, ожидая подачи. Остальные разбрелись, кто куда. Огари плавают там и сям, некоторые, покрывавая, сушатся на пригорках. Опять выстрел — убитый грач, кувыркаясь, шлепается в воду у корней дерева.

— Который сегодня?

— Где же их считать! Девятнадцатый, кажется. Все орлам на закуску.

За проволочными решетками, при виде поживы, хищно клекочут кривоносые, с растрепанными крыльями, лысые, бурые.

ДРОФА И ЗАЯЦ

Там, где весной цветут степные тюльпаны, любит останавливаться осенью, пролетая на зимовку, дрофа. Она охотно и зимует тут на тюльпаннике, если ничто ей не мешает. Обычно ее гонят дальше.

Какая связь между тюльпаном и дрофой? Едва ли кто скажет. Дрофа питается корешками трав — это установлено. Попадают в дрофиных желудках корешки и тюльпанов, но отнюдь не в преобладающем количестве. Итак, где тюльпаны, там и дрофа. Пока более ничего не известно.

В ковыльной степи заповедника «Чапли» на целине дрофа выводится, но и прилегающие степи южной Украины в начале зимы посещает обильно: тюльпанов там много.

Зима 1927 года была роковой для пернатых любительниц прекрасного цветка и для зайца, населявшего асканийскую степь невероятно. Тому и другой мороз, снег сами по себе не очень страшны, опасен при них ветер. Дрофа, понятно, снимается и летит при всей ее силе часто не туда, куда хочется — до цветов ли тут! — а по прихоти буйных порывов воздуха, крутящих снежные вихри. Зайцу деваться некуда, продолжительный буран ему, зайцу, смерть. Степной ушан не делает себе норки, как беляк или северный русак, заяц-степняк не умеет закапываться в снег и, пометавшись туда-сюда двое-трое суток без пищи, замерзает, скрючившись, с самым жалким видом.

При начавшейся непогоде дрофы собираются стаями, готовясь к отлету. В пределах заповедника птицы подпускают автомобиль близко. Ясно видны их сизые, как будто лысые головы, весь узор рыже-пестрых перьев. Огромные птицы бродят, копошатся, поклевывают, точно индейки, только молчат, не бормочут пискливо, как те, некоторые лежат. Вдруг бородатый дрофич настораживается, беспокойно смотрит, прислушивается, наклоня голову из стороны в сторону, и молча бежит. За ним, размахивая крыльями, пускается вдогонку с десяток. Взлетают, поднимаются, вытягиваются вереницей. Гу-у-у! Тучей шумят, несутся, направляются к югу остальные.

Незабвенное потрясающее охотника зрелище! Нигде в мире нельзя его увидеть, кроме Аскании.

Стая дроф в триста — четыреста штук не редкость. Такая стая занимает с десятину. Рассаживается довольно свободно, гуляет. При буране дрофы сбиваются в кучи, сидят, прижавшись одна к другой, и если, испугавшись ветра, замедлят улететь, то гибнут тут же от холода или от человека с его собакой.

Ни штраф, ни тюрьма, никакие меры не в состоянии совсем отбить, прикрыть, уничтожить браконьеров. Хоть стреляй в подлецов! С ружьем это опасный браконьер, это уже нахал, почти разбойник. Дядьки работают больше палками.

В 1928 году бураны при неслыханных снегах и сильном морозе ожесточенно тянулись неделями. Дроф из степи загнало к морю, в Крым. Морозный ветер, снег, перемежаясь с дождем, свирепствовали и здесь. В угол полуострова, приблизительно около Севастополя, снесло дроф. Ошалевшие птицы кинулись в... лес, забились в заросли, что для дроф решительно ни с чем несообразно. Да еще мокрые крылья смерзлись. Тут их, беспомощных, полумертвых дроф, растрепали лисицы, полудикие, беспризорно шляющиеся псы и псы будто бы не дикие, дворовые, вечно голодные собаки. А человек? Конечно, он пришел с палкой и прикончил то, что осталось живого от лисье-собачьего пира. Сколько погибло дроф? Никто не считал, но весной этого года запустела даже заповедная степь Аскании: тюльпанов попрежнему море, дрофиные гнезда лишь кое-где. Даже на взгляд мало дроф.

Может ли быть большая беда? Может. Вот с зайцем вышло хуже. Он погиб. Так, но его, дурака, перед гибелью сосчитали. Установлено, что в пределах только асканийской степи зайцев замерзло свыше десяти тысяч.

Те из зайцев, что подоверчивее, спаслись. Они вошли под навесы, спрятались у плетней, в сараях заповедника, переждали бурю под нарочно для них, для зайцев, приготовленными прикрытиями, похватили кой-какой дряни, объедков от стола зубров, бизонов, оленей — на голодные зубы и то в smak! — и перебились, выжили, лопухие, расплодились. Хоть не так, как прежде, не на каждом шагу, а заяц в степи опять уже, видимо, есть.

Дело дрофы плохо. Разве заповедник выручит. Он устережет. На своей земле стрелять он не даст и вреднейшего из зверей (после человека, конечно!) — собаку на эту землю не пустит. Шестидесят тысяч запретных десятин, в том числе пять тысяч десятин целины, никогда не паханной ковыльной степи, — это значительная площадь, неоценимый золотой фонд для гнездовья дрофы. Но для вывода новых сотен стай по триста дроф в каждой одного такого уголка недостаточно. Надо всюду оградить от истребления исчезающую из мира птицу украинских степей, неумолимо жестоко запретить везде не только выколачивание, но и сбыт-покупку, еду дрофы вне сроков охоты на нее. Иначе, пожалуй, больше не увидать никогда сотенных стаек дрофы даже и в спасательной полосе заповедника «Чапли»: это не заяц.

ДИКИЕ СКАКУНЫ

Удивительно кричит зебра. Ее крик похож скорей на визгливый лай собаки или на писк огромной птицы, чем на ржание лошади. Так, всхлипывая, виз-

жит и Мина при всей ее необыкновенной красоте. Мина тонко разрисована черным по белому так точно, так ярко, что кажется, ни один волосок не кривит в сторону от черты, не имеет рыжеватого оттенка. Зебр тут много: у одной полосы почти коричневые, у другой расплылись, как будто она выпачкалась, у третьей на ногах полосы чуть ли не в вершок шириной. Впрочем, красота Мины не в раскраске, даже не в глазах, больших, черных, ясных, а в ее складе, поражающем легкостью и силой. Стальные мускулы чувствуются под этой блестящей полосатой шерстью.

Большие широкие жесткие уши Мины двигаются во все стороны и, кажется, могут складываться как угодно. На Мине можно скакать два часа во весь дух, она останется суха и будет дышать так же, как при выходе из конюшни; лучшая лошадь от такой скачки задохнется и покроется пеной. Мина добрая; она ручна. Однако для обрезки копыт ее во двор выводят на двух канатах двадцать человек. Теперь она не совсем в порядке или, наоборот, она в полнейшем порядке: она на-днях ожидает жеребенка. Поэтому ее оставляют в покое, а копыта будут обрезать у лошадей Пржевальского.

Ну, эти не ручны, нет! Фриц, песочного цвета небольшой короткогравый жеребец, лезет на стену, ходит на задних ногах, заметив приближение аркана, и если не перепрыгивает через перегородку стойла, то только потому, что негде разбежаться. Он заглядывает через нее в соседнее стойло. В открытую дверь стойла осторожно входит только Григорий Павлович. Он знает Фрица, и Фриц знает его, но все-таки ходит на задних ногах, угрожает зубами, хватает и пытается перегрызть аркан, храпит, таращит огненные глаза. Широкая петля из толстой веревки неумолимо следует за ним, то ударяясь об его голову, то скользнув по шее. Жеребец орет каким-то трубным ревом. Он всё на задних ногах забился в угол, зацепившись передними копытами за какую-то планку в стене. Никак к нему не подобраться. Тогда из соседнего стойла через загородку спускают на него рогожу. Такого страшилища, шуршащего по спине, бешеный жеребец не выдерживает и опять носится по стойлу уже на всех четырех ногах. Хлоп! Петля затянулась на шее. Хлоп! Вторая попала туда же сразу. Выход из стойла в широкий коридор свободен, концы двух длинных канатов, прикрепленных к петлям на шее жеребца, держат по десять человек каждый, но жеребец не выходит. Тянуть запрещено: нельзя повредить драгоценное животное. Через загородку в стойло спускают мешок и размахивают им. Тогда жеребец опрометью кидается по коридору, пытается бежать к закрытым воротам, но тут старый знакомый Григорий Павлович. Он спокойно покрикивает:

— Хоу, хоу!

И больно дерется бичом по крупу раз, два, три, ж-жиг. Тогда взягнув всеми копытами, храпя и кусая канаты, жеребец выкатывается во двор. Он лягает так и эдак, он прыгает через веревку, которой пытаются скрутить его ноги, но если и вправо и влево за голову канатом держат по десятку крепких парней, то никакой жеребец много не напрыгает. Его валят на землю, голову его, положенную на мешок с сеном, держат четверо в недоуздке из широких ремней, и к связанным попарно его копытам приступают кузнецы. Они, клещами надломав, срезают странный синий ноготь шириной пальца в три, крепкий, как кость. В

песчано-каменистой пустыне при постоянной беготне этот ноготь сбивается, стираясь; в стойле он отрастает, уродуя копыто.

Кончена работа кузнецов, развязаны ноги, сняты канаты. Жеребец вскакивает, храпя. А старый друг уже тут с бичом и своим невозмутимым «хоу, хоу». Что тут делать? Не стоит беситься и лягаться, проще тихонько итти в конюшню. Фриц — самый буйный из жеребцов, с остальными дело кончается много проще.

— Насобачились вражьи хлопцы, — объясняет Григорий Павлович, — они кого угодно свяжут. Сейчас антилопе-канна калоши срежем.

Накинуть аркан на спокойную голову с великолепными прямыми рогами довольно просто, но связать огромную антилопу не легко: она брыкается. На ее двойных копытах действительно что-то вроде калош, длинные черные наросты, шмыгающие, хлопающие жалко и убого при каждом ее шаге.

Насобачившиеся хлопцы бегают, суетятся, но веревка скользит по стройным ногам антилопы, не удается ее связать.

— Та вы не бийтись, хлопцы, — ободряет Григорий Павлович, — це корова стара, смирна. Ну, кидайся все раптом, кучей.

Он несколько понижает голос, и маленькие глазки его поблескивают, как угли.

— Будь вона молода, пивсотны таких дурней не звалыли бы.

«Корова» лежит на земле, и кузнецы работают над ее копытами. Как странно малы ее соски для такого огромного животного и как они прелестны.

— Она хоть старая, а хороших телят нам родит, — объясняет Григорий Павлович, — мы на них зубра выменяли, это наша валюта, канна.

В этот миг «старуха» дергает ногой. Пила, врезавшаяся в ее копыто, падает двумя обломками, хлопцы, уцепившиеся за ногу, летят вверх тормашками.

— Та не бийтись, говорю, — утешает Григорий Павлович, — ничего вона не зробит. Той жеребец куды злейше!

С каждого копыта снято по куску безобразного ногтя, твердого, как камень.

Кузнец, весь красный, пытит, вытираясь рукавом.

— Ну, хай ей бис, як мыша взмокрив. Хай им грець ее чоботам, краше я б семнадцать коней пидковав. Тьфу, рогата чертяка!

Бедная старуха, корова, чертяка, как там угодно, все-таки красавица, освобожденная от всех пут и от калош, спокойно направляется к ящику с сеном.

— Это что еще за грець, — спрашиваю я по дороге у Григория Павловича, — про что кузнец говорил?

— А это, извините, у нас вроде чорта, только помягче.

Он говорит по-русски, по-немецки, по-украински, он видал виды в своей жизни, этот Григорий Павлович. Он выезжал зеброидов, несравненных верховых коней. Он сидел на жеребце Пржевальского, вот на таком песочном коньке, как Фриц, сидел, не ездил. На них никто не ездил.

Жеребцы, которым обрезали копыта, все еще фыркают и мечутся в стойлах. В конюшне храп и грохот. Антилопа после тех же волнений давно ест сено. Что это, влияние проклятой всепримиряющей старости? Должно быть, нет. Жеребцу Мишке двадцать семь лет, копыта обрезают дважды в год, пора бы

привыкнуть. Одинаково когда-то носились по пескам пустыни антилопы, зебры, дикие желтенькие лошадки, одинаково попали в неволю, где на ногах отрастают калоши, — когда их сняли, корова жует сено, а жеребцы все еще дрожат от бешенства.

ИСЧЕЗАЮЩАЯ КРАСОТА

Орел больше не полетит под солнцем Украины. Ему суждено исчезнуть.

Орел гнездится только на целине, не тронутой пахарем, в девственной степи, поросшей ковылем.

Едва ли не последнее гнездо орла устроено на... деревце, жалком степном деревце. Зоологически это называется преломлением инстинкта. Вид этого гнезда трогает и мучает сердце. Отказ от привычки тысячелетий, от всех свойств, от самой природы своей. Орлу завладеть грудой сучьев, натасканных грачами, усесться на чахлой ветле по-вороньи? Какое убожество! Это гнездо — обреченная на неудачу попытка спасти жизнь будущих поколений.

Напрасно, деревья в степи редки, спасенья нет, пора исчезнуть с лица земли.

Орлу для гнезда, для свободного существования необходима тысяча десятин целинной степи. Такие устарелые привычки теперь, очевидно, никуда не годятся.

Стрепет, пестрая степная курица на высоких лапах, менее широк в своих вкусах, он довольствуется для гнездовья десятиной целины, но насчет ковыля тоже непримирим: нет волнующихся метелок, выброшенных на воздух плотными кустиками шелковистой травы, и — стрепет не испугает радостно охотника своим трескучим взлетом, он исчез.

Дрофа, огромная индейка степей, пестро-рыжая с сизой головой, и красавка, небольшой степной журавль с белой косицей на голове, с малиновыми глазами, — эти степняки примирились с гибелью степи. Они стали выводить птенцов в хлебах, прилетают во время сева, сидят, ждут, когда зазеленеют всходы и там кладут яйца. Но стебли, обманчиво дающие приют и корм, таят гибель: если колосья созревают раньше птенцов или молодь не подрастет настолько, чтобы убежать до жатвы, то участь беспомощных птиц, пожалуй, хуже смерти. Они так или иначе идут на потеху людей, большинство их погибает, позабавив недолго деревенских ребятишек, немногие из них доживают скучный век в зоопарках.

Предпоследний орел, владелец грачиного гнезда на дереве, пока еще бодро ведет прежний образ жизни. Он кружит в недостижимой высоте, кажется не больше галки и вдруг оттуда, из-под облаков, темным камнем, огромной трепещущей грудой бурых перьев сваливается на землю и... каменеет длинным торчком. Орел сторожит суслика, успевшего юркнуть в норку. Проходит десяток минут. Все тихо, все неподвижно. Из норки высовывается крысья мордочка суслика и торопливо прячется: что-то показалось страшно. Но не сидеть же век в норе. Суслик выбегает, прыгает раз-два, кидается обратно к норе, но поздно. Мгновенно вытягиваются когтистые в перьях лапы, долбит и разрывает крючко-

ватый клюв. Огромная птица, размахивая бурными крыльями, отороченными белой каймой, снова несется в воздухе, держа в когтях что-то маленькое, темное, болтающееся тряпкой.

Исчезновение угрожает не только пернатым степнякам. Гибель от тесноты надвигается и на других птиц. Лебедю для гнездовья необходимы сто десятин, почти квадратная верста. В таких пределах он не допускает никакого крупного гнезда. Он бьет и гонит прочь гуся, в клювья треплет его гнездо, разбивает яйца или, злобно крича, гоняется за гусятами. Кряковую утку лебедь одним ударом клюва может убить наповал. Гусята, самые маленькие, еще нежно-зеленые, ныряют, спасаясь от страшного клюва, но яйцам, очевидно, спасения нет.

В безлюдных тундрах севера есть еще приволье для житья лебедей. Там же, где тесно, против разбойника-лебедя на помощь птице, менее сильной, выступает человек.

Приближаться к гнезду полудомашнего лебеда не безопасно: он больно дерется. Поймать драчуна просто: надо накрыть ему голову сачком, тогда он сдастся и можно взять его руками. Однако для того, чтобы поймать пару лебедей на болоте зоопарка, потребовалось десятка полтора опытных загонщиков и с час отчаянной беготни. Лебединый крик, злобный и негодующий, слышен был, вероятно, на километр; хлопали белоснежные крылья, огромные птицы, упорно не улетая от гнезда, метались по мелкой воде, клевали, били крыльями своих преследователей, но были взяты подмышку и унесены запросто, как куры. Не дерись, не убивай, отправляйся за двадцать километров на пустынный пруд, безобразная чета. А яйца, взятые из гнезда, пойдут в инкубатор.

Недавние драчуны и убийцы смиренно вытягивали вниз длинные шеи, тихонько гоготали, и вид их был отвратителен.

Грязная, тупо-злобная скотина вблизи, лебедь прекрасен издали. Плывущих лебедей нарисовано много и хорошо, но где изображение лебединой стаи, несущейся в лазурной вышине?⁶ Такие белоснежные станицы все реже и реже, но все-таки еще пролетают весной и осенью.

В калмыцких степях Приволжья, говорят, еще свободно живет орел и гнездится стрепет. Надолго ли?

Едва ли кому в голову придет заняться разведением орлов, еще смешнее покажется забота о стрепете: важное дело, одной полукурицей будет на свете меньше. Но станица пролетающих в небе лебедей, могучий полет орла над зеленой степью... Эта красота угрожает скоро исчезнуть навсегда! Ее должен, пока не поздно, схватить, поймать глаз художника. Искусная кисть обязана ее запечатлеть. Набитое соломой чучело всегда мертво: нужно сохранить живое воспоминание о красоте, если уж ей суждено исчезнуть из мира.

⁶ После того как эти строки были напечатаны, мне сообщили, что в Третьяковской галерее в Москве есть прелестная картина проф. А. А. Рылова «Лебеди над морем», написанная в 1922 году.

ЗООЛОГ НА КОНЕ

За тройной оградой из толстых жердей, почерневших от времени, на толстых грудях навоза спокойно жуют сено бизон и зубр. Слышится зверский чудовищный рев. Огромные быки спокойны, это ревет корова-зубрица, около нее прыгает маленький бурый теленок, и она бешено кидается на загородку. Меня просят отойти. Неужели корова сломает тройной ряд жердей? Не в том дело, она, оступившись, может задавить теленка.

Понимаю: драгоценность. Это последний отпрыск диковинных существ, близких к исчезновению с лица земли. Сколько трудов, хлопот и ухищрений потребовалось на то, чтобы дожидаться зубренка! Весело помахивая хвостиком, он бойко бегаёт по навозу. Теленок чист, блестит, точно вымазанный маслом. Туша его сердитой мамы в клочьях грязной шерсти, вся покрыта отвратительными комьями, навозные комки висят и на боках.

Оказывается, тут зоологическая драма: этот теленок сын не зубра, а бизона, значит, не чистый зубренок, а зубро-бизон. Случилось это по распоряжению другого заведующего зоопарком, и что тут тогда было, как Борис Константинович вернулся, так просто беда. Да вот он идет, может быть, сам расскажет.

Ну, нет, с этого много не возьмешь. Я с ним пытался заговаривать не раз. Сухие отрывистые ответы.

— Эй, граждане, — слышится резкий голос, — там, в конюшне. Оседлайте-ка мне Борея. Да пускай сейчас кто-нибудь идет сказать, что в зоопарке у второй аллеи мертвая фазанка со вчерашнего вечера лежит. Наблюдатели тоже! Кто был дежурный? Пусть придет сюда через два часа.

— Здравствуйте. Какая разница между зубром и бизоном?

— Начать с того, что у бизона одной парой ребер больше...

— Так ведь это внутри, это для зоолога понятно. Нам, непосвященным, так не видать.

— По-обывательски и объяснять нечего: все равно. Товарищи, что же, я коня просил? Куда я еду? В загон.

— А другого седла у вас нет?

— Нет, седло у нас одно.

Он, злобно морщась, точно от боли, все-таки легко вскочил в седло и забрал поводья.

— Вы больше на ковбоя похожи, — сказал я с досадой, — чем на профессора зоологии.

— Да я никогда никаким профессором и не был, — ответил он без малейшей улыбки и поскакал.

В степи там и сям розовыми клубами вставала пыль: бежали антилопы, муфлоны, олени. Я приехал их посмотреть, а делать нечего. Пешком идти в большой загон бессмысленно и не безопасно. От пешего человека все эти рогатые диковины убегают, а некоторые из них любят сшибать пешеходов с ног. В том, что это делается не со зла, а шутки ради, я не видел никакого утешения.

Часов в пять утра в мою дверь постучали: там стоял странный человек и... улыбался.

- Едем в загон. Кони готовы.
- Да ведь седло-то одно?
- Ну, ну, не стоит сердиться. Мне некогда миндальничать.
- Что же вас вдруг укусило?
- Живо, чувствуете, я прочитал за ночь ваши книжки. Едем или нет?

Степь уже давно проснулась и зеленая, цветущая благоуханно дышала нам навстречу.

— Вот это ковыль, — говорил мой спутник, указывая на плотные кустики травы с серебристыми метелками, — это вытесняющий его типец, седоватая такая травка, вот тонконог, а вот синец. Проклятие, гадина, заглушающая все, никуда не годная, даже овцы ее не едят, нечто вроде растительного туберкулеза.

— Вы разве ботаник, а не зоолог?

— Я, если на то пошло, больше всего казак. Естественный факультет я кончил. Германская война застала меня работником по... противоположному делу. В гражданскую войну я очутился во главе отряда, образовавшегося путем восстания в колчаковской армии. Слегка запутано, не правда ли? Да, на коне, на верблюде через Сибирь к Каспийскому морю. Тут всего было. На плоскогорьях за Мертвым Култуком до сих пор десять тысяч скелетов лежат.

— Верблюжьих?

— Нет, человеческих.

— Красных, белых?

— Человеческих, говорю. С вечера были и красные, и белые, готовились вступить в бой. К ночи пошел дождь, подул ветер, к утру хватил мороз. Тогда побросали оружие, забыли, кто какого цвета, побежали вместе. Верблюды, лошади подошли все, из людей кое-кто выбрался.

— Вам вообще в таких переделках везло?

— Н-не всегда. Бедро прострелено, в руку слегка попало. На седле я себя хорошо чувствую, но сажусь на него с трудом. Стойте, тут у нильгау два ягненка, она вчера разрешилась. Вот она. Нет, нет, ягнята где-нибудь вон там. Антилопа или коза никогда не стоит около детеныша, она его спрячет, а сама пасется поодаль, — и как ни в чем не бывало.

Не увидав, нельзя поверить, что может быть такой красоты жвачное животное, как пятнистая антилопа-нильгау.

Какие прелестные черные огромные влажно-лучистые глаза!

Но он выдавал ее тайну, этот тревожно-нежный взгляд: слишком легко было проследить его направление, хотя красавица делала вид, будто беззаботно пощипывает траву. В высоких зеленых стеблях виднелись два ее детеныша, один еще лежал, другой стоял на тоненьких ножках. Неподалеку от нас бежали, прыгали, стояли рогатые, полосатые, косматые. Огромный пятнистый козел, почти бык, как-то сторбившись, согнувшись, искривившись, топтался, сердито посматривая на нас. Из рта у него ключьями падала слюна. Это нильгау-отец, выражая свой гнев, подбирался угостить посетителей рогами. Но меня больше, чем невиданные козлы, бараны и быки, интересовал мой спутник.

— Да, ничего, благополучно, — рассказывал он в ответ на мои расспросы, — от Култука в Польшу прошел насквозь до Германии, там попался, был

интернирован с полком, бежал и с Первой конной армией попал сюда, в Асканию, заведуя зоопарком. Трудно, очень трудно. Полгода учились сетку ставить.

— Сетку?!

— Да, проволочную ограду. Два с половиной километра поставили. Теперь твердо. Рельсы в бетон поставить — это пустяки, а вот сетку между ними натянуть — это надо было изобрести способ. Видите, в палец толщины проволока?

— Совсем не зоологическая работа.

— Да не я и изобрел. Сиянко придумал, как натягивать. У него совсем никакой специальности никогда не было, он мужик, но он знает всех зверей, помнит каждое гнездо в заповеднике и может починить что угодно, кажется, даже часы.

ЛОВЛЯ ТЕНЕЙ

Тарпаны лет сорок назад табунами паслись в новороссийских степях. Они истреблены, маленькие дикие лошадки, они исчезли с лица земли, но... не бесследно. В тех местах не редкость встретить лошадь странного цвета, сплошь без отметины, темносерую, как мышь. Грива иной пегашки там не висит длинными жалкими космами, а стоит густой и жесткой щеткой; рыжий мерин спокойно обмахивается коротким хвостом, похожим на «ерша» для чистки стекол, и, случается, у смирной кобылы, привыкшей покорно возить мертвецки спящего дядьку с базара до хаты, неожиданно родится такой злой и буйный жеребенок, что его остается только застрелить.

То дикая кровь тарпана играет в пятидесятом поколении его потомства! Это гены (признаки) исчезнувшей породы. Их можно поймать, собрать в одном существе, и тарпан явится вновь.

Зубр, огромный бык Беловежской пуци, в 1921 году ушел оттуда, он выбит там начисто и близок к тому, чтобы уйти с земли совсем, исчезнуть. По точнейшему подсчету всех зубров на земном шаре известно сейчас шестьдесят девять. Зубр не только выбит, дело его хуже, он осужден на вырождение. Но гены зубра наперечет в руках зоолога. Их можно влить в свежие тела, полные жизненных сил. Расчеты сделаны, нарисованы, заключены в таблицы. Если не прерывать намеченной работы, то через десяток лет явится чистокровный зубр, со всеми признаками, какие ему полагается иметь. Он вырастет не в дебрях пуци, он откормится в загородке, на сене и овсе. Очевидно, это будет не дикий бык тех баснословных охот, каких уже не увидит человечество, но вид зубра представится до мельчайших подробностей. И, если угодно, зубр явится домашним животным с неслыханным весом мяса, темного, полного питательных веществ, вкуса и запаха дичи.

Тур перестал существовать триста лет назад. В 1627 году в зверинце Кенигсберга пала последняя турица. Его трудно вообразить, так он необыкновенен, буй-тур древнерусских былин, но он — не сказка, этот чудовищный черный бык со светлым ремнем по спине. Он бегал быстро.

«Два тура метали мя на розех и с конем», — пишет в охотничьем дневнике киевский великий князь Владимир Мономах. Нашлись рога тура, и уцелел его скелет. Украинский серый бугай кажется великаном перед самым большим нашим быком; тур много больше бугая, между рогами у бугая пятнадцать сантиметров, а у тура двадцать четыре. По величине со слонами сравнивали туров древние римские писатели и, пожалуй, были правы. На греческих кубках, сделанных за 1500 лет до нашей эры, на критских фресках, на барельефах, выкопанных в глубинах седой Азии, сохранились изображения тура. Прямоугольный, весь — вихрь, весь — порыв, черный со светлым ремнем вдоль спины, тур яркими красками нарисован на картине, найденной в XVI столетии в Аутсбурге в Германии. И — чудо из чудес! — гены почти сказочного животного бродят до сих пор по степям Украины.

Вот Птичка, что в ней особенного? Как будто бы ничего, корова, как корова. Конечно, она вдвое больше обычной крестьянской коровенки средней полосы. Где-нибудь под Москвой такая корова поразила бы своей величиной, но тут стада этих светлосерых великанов. Хороша черноглазая Птичка, что и говорить. Однако не в красоте дело, не в росте — у Птички почти турий постанов рога, каких-то там миллиметров нехватает до полной толщины турьего рога. Птичка участвует в работе, от нее взят ген рога, но у нее нет челки. Этот жесткий скрученный вихор грубой длинной шерсти, закрывавший лоб тура, даст другая корова. Труднее всего подобрать рост. Попадаются крупные бугаи⁷, они постепенно войдут в план, но огромных размеров достигают преимущественно волею. Это, очевидно, не продолжатели рода, не восстановители утраченных генов. Тура во всем его диком величии едва ли удастся увидеть. Но, кроме быков, сравниваемых по величине со слонами, были туры помельче, так сказать, второго сорта туры. Вот такого можно будет показать. Пока все идет правильно. Ближайшие предшественники не то что тура, нет, тур еще далеко, а быки с турьими рогами уже родились точно в назначенные сроки.

— Это за нами погоня, — сам прервал свой почти чудесный рассказ заведующий зоопарком, — что-то случилось, едем.

Подскакавший верховой кричал, что Пава отелилась, приказано немедля сообщить, так вот.

— Дайте-ка хлыста вашей кобылке, — сказал завпарком, — и держитесь: в этих клячах тарпанья кровь.

Они дружно взяли с места во весь дикий мах, эти «клячи» мышиноного цвета. Через миг мы неслись уже двое, а всадник на рослом гнедом коне маячил где-то вдали.

Огромная почти белая корова облизывала мокрого теленка. Она угрожающе зафыркала, когда человек принялся перевертывать теленка так и этак.

— Он, тот самый, — восторженно повторял человек, — это вроде выигрыша в карты. Надеяться на это можно, рассчитывать нельзя. Он должен был родиться через два года, явился сейчас. Тот самый. Ура!

— Да он рыжий, — упорствовал я, — ничего похожего на тура нет.

⁷ В Сельскохозяйственном музее Ленинграда можно видеть чучело вола украинской породы, весившего при жизни тысячу сто семьдесят девять килограммов.

— Делать нечего, идите сюда за решетку. Осторожно. Ну, ну, Павочка, ничего. Смелее, но не трогайте теленка, только смотрите. Видите, основание волоса черно, а тут по спине ремнем бело. Верх выцветет. Через два года приезжайте с фотографом, покажем миру рога животного, вымершего триста лет назад.

Как не верить? Это не сон, а это новое, сейчас явившееся существо с заранее определенными признаками, это тень давно исчезнувшего прошлого, живая тень, пойманная могуществом знания. Вот она, эта тень, тычется мордочкой в бок матери, не понимая еще, но уже чувствуя, что где-то близко дающие жизнь сосцы.

А бизоны разве не бредут тут тяжким стадом? Им водопой устраивает верблюды, вытаскивая бадью из глубины земли. Страусы здесь разводятся, и полосатая зебра скоро принесет желтого жеребенка от неукротимого конька монгольских степей.

Прощай, Аскания! Мне пора оторваться от твоих неисчислимых живых сокровищ. Машина гудит.

МЕЛОЧЬ

ЛИСЯТНИКИ

Достаточно наловить лисиц, посадить их в загородку и давать им есть — там они и разведутся. Такое представление об устройстве питомника пушных зверей у нас существует довольно твердо, но совершенно напрасно: оно нелепо вполне. Мне пришлось видеть два лисятника: один недавно — образчик только что изложенной нелепости, другой — довольно давно — первый шаг к питомнику.

Первый лисятник в монастыре. При этом слове невольно представляется каменная стена, колокольня, черные фигуры, плетущиеся под унылый звон монастырского колокола. В данном случае — ничего подобного. На самом берегу Онеги, бьющейся пенистыми волнами в гранитном ложе, окруженные девственным лесом стоят четыре маленьких деревянных домика, в одном из которых — управление участка лесной разработки. На мой вопрос, зачем окна другого домика вместо рам затянуты провололочной сеткой, мне объяснили, что там прежде жили монахини, а теперь на счет откомхоза живут лисицы. Сколько? Семь. Увидеть, однако, удалось только четырех: прячутся. А может быть, подошли? Действительно, недавно посадили их одиннадцать, и за месяц четыре околели, но только вы не думайте, заведующий у них ничего не ворует, а наоборот, очень о них заботится, кормит их рыбой, сорок для них стреляет, недавно палую лошадь купил. Еды у них сколько угодно, а толькодохнут неизвестно с чего.

Куда прятались лисицы, которых не удалось видеть? В дыры между провалившимися полами. Четыре же в ужасе забились по углам. А на воле лисица живет в норе, вырытой с двумя входами довольно глубоко. У входов попадают остатки пищи и всякая дрянь, но на всем протяжении норы никогда ни малейшей нечистоты. Тут же все валялось по полу кучами: объедки рыб и птиц, сорочки перья и все прочее. От дома даже на значительном расстоянии пахло очень сильно.

Покидая эту лисью тюрьму, я не мог не выразить твердого убеждения в том, что и оставшиеся четыре арестанта-лисицы скоро околеют. И, следовательно, немалые деньги, затраченные с наилучшими намерениями на устройство питомника (поймка лисиц, сетки, корм и пр.), пропадут совершенно напрасно.

Хозяин второго лисятника — в Ораниенбауме — не имел в виду разводить лисиц, но каждую весну в течение ряда лет он или покупал лисят, или сам их выкапывал из нор, держал до морозов и — добрейший старик! — дарил лисьи шубки родственникам и знакомым. Однажды, стоя с ним на тяге вальдшнепов, я видел, как лисица вышла из норы, указал нору приятелю и помог ее раскопать, что без лопаты очень трудно. Четырех еле проглянувших лисят мы, за отсутствием мешка, сложили в мою рубашку и благополучно доставили домой. К ним я таким образом имел если не родственные чувства, то близкое отношение.

Но я с интересом наблюдал ряд лет и других лисят, начиная с самого нежного их возраста до тех пор, пока они превращались в шубки.

Младенцев лисьих кормили из соски. Да, из резиновой соски, кипяченым коровьим молоком, сначала разбавленным водой, затем — цельным. Старик с длинной седой бородой нюхал, рассматривал, лизал, пробуя на вкус, соску и затем осторожненько совал ее в рот завернутому в тряпку, чтобы не брыкался, лисенку.

— Человека выкормить пустяки, — говаривал он при этом, — всякая дура выкормит. Да еще неизвестно, стоит ли его кормить: вырастет либо пьяница, либо потаскуха. А тут, коли сумеешь, дело верное — шуба.

Некоторые лисята нипочем не брали соски: такие, конечно, очень скоро погибали. Иные — редко — пропадали от неизвестных причин, но, выйдя из сосунков, почти все уже обеспечивали... шубку, если во время прикармливания (сначала вареными, а затем сырыми внутренностями животных и птиц) не давились случайно недостаточно измельченными кусками. В таких случаях старый дядя, никогда не имевший детей, рвал бороду и плакал крупными слезами.

— Тебе, свинье, все равно, — горестно выговаривал он садовнику, приставленному к лисятнику, — а мне больно, понимаешь, больно. Одну только кормежку не доглядел, и вот этот свинья дал ему подавиться. А ведь он есть не умеет, он маленький, у него ни матери, ни отца.

— Которых ты же, может быть, убил на облаве! — подзадоривал я.

— Да ведь это же совсем другое, — вытаращив глаза, в злобном недоумении кричал дядя, — неужели непонятно?

О нет, я понимал. Я в неделю раза два-три кидал работу и тратил иногда весьма скудные гроши для того, чтобы поехать взглянуть, как растут лисята, как старый дядя рассматривает и щупает пальцами каждый для них кусок, достаточно ли он мал и нежен.

— Копаются, подлецы, — говорил он, подмигивая, за работой над сеткой, — если только на аршин с лишком в землю сетку не запустить, подкопаются и уйдут.

Один лисенок, месяцев четырех, задавился, стараясь пробиться между столбом и слегка отставшей от него сеткой. Жажда свободы у них была неутолимая: они лезли во все щелки. Ни на какую выучку лисята не шли упорно. Но если, усевшись в их загородке, совершенно неподвижно проводить там ежедневно часа два-три, они понемногу начинают сначала выглядывать, а потом выходить из-под куч мха, в которых им устраиваются норы, — сначала общая для всех, а потом отдельные. Самое большее, чего удалось достигнуть в приручении лисят, это — чтобы они брали корм, положенный около самого человека.

С августа лисят сажали каждого на цепочку, прикрепленную к столбику; прикрытий не полагалось уже никаких, крыши над загородкой никогда не было, пол у клетки — чистый крупный песок, цепочка длинна настолько, что ходи, валяйся сколько и как угодно, но не старайся погрызться с соседом: все равно никак его не достанешь. Корм — каждому к столбу, нежности в обращении — ни малейшей, но ни толчков, ни пинков, ни суетни никогда. Нет, теперь не подохнут: теперь только в оба смотри, чтобы какой смельчак свой столбик не

перегрыз и сетку загородки не разорвал. Достаточно, однако, узенькую полоску жести прибить на столб, чтобы его не грызли: хитры шельмы. Когда с первыми морозами дядя убеждался, что молодые лисы вполне выкунели, то есть перелиняли на зиму, он хладнокровно и отчетливо каждой всаживал в голову по маленькой пульке. А весной опять выкапывал новых, кормил из соски и горько плакал над лисенком-сироткой, погибшим из-за какого-либо недосмотра.

Давно нет на свете старика, которого за добрый нрав и большую седую бороду звали дядей десятка два совсем посторонних ему охотников, в том числе я; давно нет и следов его лисятника, но... не на правильном ли пути, освещенном знанием и любовью, был этот старик в огромном деле воспитания пушных зверей? До вывода лисиц, до питомника ему оставался еще шаг, но ведь он его намеренно не делал.

МЕЛОЧЬ

Для того чтобы вполне оценить значение для леса мелких певчих птиц, надо побывать в ноябре-декабре на черноморском побережье Кавказа.

Там бешеное плодородие почвы в избытке влаги, света и тепла растит с невероятной быстротой, со сказочной силой густой лес диковинных для северянина деревьев. Каштан, бук, груша, грецкий орех, непроходимые заросли ошеломляюще ароматных кустов, перепутанных колючими цветущими лианами. И все это море вечной зелени, все благоухания, великолепии, все ни к чему: лес молчит неподвижно, мертво — в нем нет птиц.

Лишь изредка стремительно промелькнет сойка с своим «крэк-крэк». И одинокий резкий крик еще усиливает, оттеняет унылое впечатление.

На севере только самая глушь старого бора лишена веселых маленьких обитателей: среди угрюмых сосен и елей им скучно. Но там, где освещенные солнцем поляны прорезывают гущу леса, где теснятся кусты черемухи, жимолости или просто ивы, где юные березки трепетно кивают тонкими ветвями, там прелестная крылатая мелочь живет все времена года и оживляет окружающее, даже белый погребальный саван зимы.

Вот подпрыгивает, чирикающая, знаменитый герой, известный каждому человеку, едва научившемуся лепетать первую песенку, — чижик. Ему, серенькому, немного нужно: семечко-другое, упавшее на снег с березы или ольхи. Скромная его песенка, давшая ему имя, звучит наивно, но она очаровательно нарушает молчание сугробов.

Фррр! Пышным букетом пурпурных цветов выпорхнула стайка снегирей. Надутые, толстые, они удивительно прочно сидят на выдавшихся ветках низкорослых кустов и упорно свистят друг другу: «дью-дью». Они иногда непрочь из леса, где им довольно корма, перемахнуть всей яркой стайкой в сад не только деревенский, но даже городской. И если их не пугать усиленно, то они просидят с полчаса на кустах, задумчиво и тихонько высвистывая: «дью-дью-дью».

Там, где имеются в достаточном количестве кусты репейника и чертополоха, семена которых он любит, конечно, покажется щегол во всем блеске своего оперения. О, это певец уже настоящий!

Что за красавицы расселись стайкой на качающихся тонких ветвях в вершине березы? Песочного цвета перья, изящный хохолок, крупные черные глазки, лазурные перышки в крыльях. Какую песню любви споют красавицы? Увы, это свиристели, обжоры первой степени. Наевшись ягод доотвала, они летят с чириканьем и свистом и при виде нового угощения попросту отпрыгивают ранее съеденное для того, чтобы вновь битком набиться ягодами. Вероятно, от такого обжорства печенка свиристелей достигает изумительной величины. Они очень зорки и чутки, сверлящий свист их стайки, несущейся над лесом, всегда верное предостережение: там, в лесной глубине, что-то случилось.

Юлой называется лесной жаворонок. И он действительно не посидит ни минуты, все бегаёт. Но в короткие зимние дни никто так не вертится, не юлит, как синица. Она прыгает, перепархивает, лазит по ветвям то вверх, то вниз головой и все время лепечет: «ти-тю, ти-ти-тю». Целым обществом синицы являются иногда во двор, где режут свинью, и с неизменным лепетом, вертятся и юля, стараются утащить кусочек сала. Иной садовод синицу не любит: она весной заглядывает в почки плодовых деревьев. Верно: прелестная егоза лазит в развертывающиеся почки, но... почек она испортит, может быть, два десятка, а гусениц съест наверное несколько сот, если не тысяч: у нее на это такие способности, что нельзя не удивляться.

По части истребления гусениц и насекомых замечательный мастер скворец, известный всем, любимый всеми и везде. Единственная птица, которой улыбнулось счастье любви человека и не за полезную деятельность, даже не за искусство пения, а преимущественно за хороший характер: скворец согласен жить даже в полуразбитом чайнике, поставленном на шест.

Самый крупный дрозд называется дерябой и не без причин: у него голосок, надо сказать правду, не из нежных. Когда приближается к гнезду человек, пестрые дерябы отпугивают его резким криком и... крайне грубым угощением, извергаемым ими на врага в таком количестве, что нельзя понять, откуда у них берется столько позорящего материала.

Серые и черные певчие дрозды, наоборот, обладатели звонких и чистых голосов, они поют не только за себя, но могут петь и за всех остальных птиц в лесу, не исключая самого соловья.

Гнездо дрозд делает очень искусно в три слоя: наружный — из веточек, средний — глиняный и внутренний — нежнейший пух. Веточки часто связаны конскими волосами. Надо же их подобрать по дорогам! Глина леплется слюною, и, когда этот глиняный слой гнезда готов, постройка приостанавливается, пока не просохнет.

«Тук-тук»! Дятел проворно взбирается по сосне. Если он один и наскоро, мимоходом, постукивая, заглядывает за кору — ничего, беды нет. Но в случае появления стаи дятлов, их постукивание — похоронный гимн, отходная лесу, вид которого сами-то они, красноголовые, пестрые, так оживляют; раз дятлы стучат усердно, значит, лес уже погиб, он съеден шелкопрядом, прядущим совсем не шелк, или монашкой, не имеющей понятия ни о каком монастыре.

Поползень, как мышь, бежит по гладкому стволу сосны вниз головой.

Трясогузка обожает стук и гром водяной мельницы. Муки эта пташка не ест, но там, где в брызгах и шуме воды крутится жернов, непременно бегают, смешно тряся хвостиком, черноголовая, тонкоклювая птичка. Пеночки, лазоревки, славки, чечетки, мухоловки, малиновки, завирушки, варакушки... Да где же их хотя бы приблизительно перечислить. Их очень много, у каждой есть своя маленькая тайна, прелестная и трогательная, как скромный лесной цветок, чуть-чуть благоухающий в траве.

И это — грозная армия, эти почти бесчисленные крылатые певцы. Для полчищ гнусных обжор, ползущих, закапывающихся в землю, таящихся под корой, прицепляющихся в трещинах деревьев, для всех жужжащих ненасытными роями, точащих древесину, грызущих плоды, выпивающих сок цветов, для гусениц, жуков, мух, — для всех паразитов зеленого мира птичья мелочь несравненно более могущественный враг, чем даже человек со всеми ядами его лабораторий.

В ПЛЕНУ И НА ВОЛЕ

НА ГОЛУБЯТНЕ

Васька Шумов высунулся из бокового оконца голубятни, махнул рукой и тихонько крикнул:

— Тсс... Тсс... Эй, мальчик, лезь сюда скорей!

Куда? На голубятню?!

Слишком большое счастье, не мог я ему поверить.

Призыв относился, конечно, ко мне. Васька Шумов — помощник Паньки по голубиным делам, другого мальчика тут нет, это все так.

Но не очень давно Панька Ройский, длинный тощий парень, взяв меня за ухо, вывел из голубятни на низкую перед ней крышу и страшным голосом спросил:

— Тебя сюда звали? А? Звали?

Не получив ответа, он дал мне так называемого киселя и прибавил:

— Вот! Чтобы не шлялась сюда всякая дрянь.

Помня такую обиду, я затем лишь издали посматривал и слушал, как прилетали, улетали голуби и как они глухо ворковали где-то там под длинной и узкой крышей.

Сизые, белые, бурые птицы как-то радостно, свежо трепеща крыльями, часто слетали к конюшне, где стояли извозчичьи лошади.

Оттуда Панька не мог никого прогнать. Голуби клевали там просыпанный овес, и я тут рассматривал их с утра до вечера: они занимали меня больше всего на свете.

У некоторых воротники из перьев: это плюмажные голуби. У других хохлы на головах, у иных около глаз не то бородавки, не то висюльки какие-то, точно у индюков.

А что голуби делают, когда воркуют там под крышей? Какие там будочки, домики, сетки, сколько непонятных вещей, голубка в гнезде сидит. Интересно бы туда еще забраться. А вдруг опять за ухо?

Я колебался; между тем Васька, показавшись у двери, сердито полугромко прошептал:

— Полезай же, дурак, тебе говорят!

Тогда я живо взобрался по приставной лесенке на ту плоскую крышу, где недавно получил пинка, и с нее через две-три ступеньки вошел на чердак, заселенный голубями.

Полутемный узкий проход между корзинами, клетками, ящиками; перекладины, насести, какие-то не то кувшины, не то плошки с водой; странный острый запах, особенная теплота от множества птиц, и в тишине как будто таинственные, глухо воркующие голоса.

Вот белоснежный голубь, крутясь по полу, раскланивается перед лубочным домиком, из которого виден клюв.

— Ты слушай, — точно испуганный торопливо зашептал Васька, — нечего тарашиться, потом все увидишь. Ты слушай. Беги сейчас во весь дух в гимназию, вызови Паньку. Скажи, гимназиста пятого класса Павла Ройского чтобы позвали. Соври... Впрочем, пусть он сам врет, что хочет. Ты ему скажи, что у Щелоковых сейчас выпускать будут. Я видел, вчерашнюю партию готовят. Чтобы скорей бежал. Понял? Беги, пяточок получишь!

Что-то мне деньги? Вот на голубятню пускали бы.

Пока мы бежали из гимназии, я успел высказать свое заветное желание Павлу Ройскому.

— Ну ладно, — сказал тот, подбегая к лесенке, — влезай. Сиди вот тут в углу и молчи. Если только пикнешь, ухо оторву и выгоню навсегда.

Голубиное сражение началось.

— Сколько у них? — отрывисто, сурово, шопотом спрашивал главнокомандующий. — Васька, ты видел?

— Обе корзины вчерашние открывали, — докладывал Васька, — штук шестнадцать, пожалуй.

— Ну да, как же. Жирно будет с шестнадцати начинать. У летка сколько? Сосчитать не мог? Тетеря. Дай бинокль! Семь пускают. Вася, выдвигай ушастых, кидай всю, всю восьмерку. Так, так, фью-ю-ю!

Точно десятка два людей в ладоши бьют, — так плещут голубиные крылья. Стайка голубей улетает.

Гимназист пятого класса Павел Ройский кричит непонятные слова, свистит, размахивает кульком на палке. Глаза Паньки восторженно устремлены куда-то вверх. Васька высунулся в оконце под летком так, что в голубятне видны лишь его ноги. Ни тот, ни другой ни на что, кроме летающих голубей, не смотрят. Я из угла ползу к боковому «глазку», выглядываю из него.

Чудесный вид! Стайка белоснежных птиц вереницей кружится в лазурном небе и, сверкая крыльями, поднимается выше и выше.

— Васька, подсыпь! — слышится встревоженный голос Павла. — Вяхирей сыпь, пару, скорей!

Он чем-то недоволен, Панька, он ругается. Мне, кроме сверкающей стаи, не видно ничего. Оглянувшись, я замечаю, что Васьки у среднего оконца нет, и, осмелев, занимаю его место, подтащив под оконце корзину.

Красное с вытаращенными глазами лицо Паньки страшно близко в летке. Он как будто смотрит иногда прямо на оконце, но меня не видит: иначе, конечно, прогнал бы. Около него, также красный, суетится Васька и также видит только голубей. А из окна теперь видно все, все.

Над щелоковским садом кружится другая стая голубей, и сверкающие их крылья также дрожат и мелькают в прозрачной вышине. Это первая стая поднялась над второй или вторая снизилась?

Между ними что-то есть, какая-то связь чувствуется в стремительном полете голубиных стай, и сердце замирает в смутной тревоге.

Панька кричит, свистит, размахивает помелом, стучит его рукояткой. Он смеется радостно.

— Сюда, сюда, эй, сюда пошла! — покрикивает он. — Все сюда. Гули, гули, гулиньки, фью-ю-ю! Сюда, на пшеничку!

Вдруг смех исчезает с его лица, он опять встревожен.

— Курицу! — орет он. — Васька, Курицу подавай! Они синих бросили. Живей, Васька! Ломай замок. Да ну, болван!

Оба возятся над корзиной, и что-то бурое, крупное, резко хлопая крыльями, взвивается над летком и стремительно летит в вышину, где две голубиные стаи почти соединились.

Васька пронзительно свистит.

— Ну, ну, Курочка, миленький! — вопит он жалобным голосом. — Ну, подтяни, поддержи, голубчик!

Курица — это любимый голубь Васьки Шумова, единственная его собственность, предмет особых забот и нежнейших попечений. Курицей он назван за исключительно крупный рост, почти желтые перья и добрый нрав: никогда не дерется. Васька уверяет, что Курица — лучший в свете летун, башка, каких больше нет, и первейший мастер загонять чужие стаи.

Что он там делает в вышине, этот Васькин любимец, как, чем ведет за собой три десятка птиц, собравшихся там в сверкающую вереницу? Бормочет он им что-нибудь на голубином языке или, пробиваясь сквозь воздушные волны, увлекает за собой силой полета, могучим трепетом крыльев? Он ясно виден впереди всех.

Васька хохочет и бьет в ладоши. Стая низит, Курица ведет ее к своей голубятне.

Но у Щелоковых тоже не зевают. Там свистят, кричат, размахивают, оттуда голубей выкидывают пяток за пятком, — богачи эти Щелоковы!

И точно невидимые нити тянутся от летка к станице голубей, кружащейся в вышине: как только подлетит новая стайка, весь табун, сделав с ней вместе два-три круга, склоняется в сторону ее голубятни.

Голуби так высоко ушли в лазурь, что кажутся роем не то снежных хлопьев, не то каких-то белых мух. Они не могут слышать того, что им кричат и свистят, но охотники продолжают бесноваться у летков голубятен.

Лицо Павла Ройского вдруг искажается ужасом.

— Подлецы! — шипит он злобно. — Васька, смотри, карнауховские вылетели. А?

Васька сам уже увидел новую стайку, стремительными кругами идущую в вышину, и, бросив помело, машет кулаками.

— Это что ж, — кричит он, — так всякий дурак сумеет уманить! Под самый слет выпускают. Безобразие, жулье!

Павел мрачен. Также оставив помело, он берет бинокль, оглядывает безграничное синее море воздушного состязания и, как полководец, решающий участь сражения, кидает в бой последний отряд, он отдает приказ:

— Василий, Полузобого!

Васька сломя голову бежит куда-то в отдаленный конец голубятни. Я в моем оконце замираю от жуткого чувства: я десятки раз слышал, что если уж Полузобый не поможет, то не поможет ничто, тогда провал, крышка.

О, это знаменитый турман, Полузобый! Он невелик, черен, как уголь, без единой отметины. Он вырывается из летка с треском, несется пудей ввысь и вдруг кувырывается через голову — раз, два, три, как будто падает. Нет, он резким броском поднимается, летит, вновь кувырывается и исчезает из глаз.

Он выучен так кувыраться или чрезмерный избыток сил перевертывает его стремительный полет в злобную минуту состязания? Имеет это какое-то таинственное, быть может, угрожающее значение?

Он как-то действует там, неразличимый в воздушной синеве, он знает свое дело, прославленный Полузобый.

Табун голубей, бурно свистя крыльями, низит, огромным кругом пронесется над голубятней. Леток ее открыт, у летка никого нет, полók — три широких новых, чистых доски, сбитых вместе — выдвинут перед летком и усыпан пшеницей. Панька и Васька хищно притаились под выступами крыши у летка, в руках у них веревки. Голубятня безжизненна.

А на щелоковской из себя выходят двое, кричат, машут, чуть не вываливаясь из голубятни. Напрасно, они уже не могут поднять решительно снизившийся табун.

Плеск множества крыльев, особенное отрывистое воркованье, похожее на куриное кудахтанье, толкотня, давка, клевки — то голубиная туча спустилась, осела на полók. Голуби жадно клюют пшеницу. Васька тянет веревку, полók со всеми крылатыми едоками наклоняется внутрь голубятни, и свои голуби бегут по знакомой дорожке домой, большинство чужих следует за ними, семена малиновыми лапками. Наиболее чуткие из чужих взлетывают, но поздно: леток закрыт сеткой, упавшей от руки Паньки.

— Го-го! Все тут! — гордо орет Ройский Павел. — Шамбарый тут, карнауховский Пятихвост тут. О-го! Васька, считай, сажай рядовых. Ха-ха! Забирай! Ай да Полузоб!

Владелец Курицы, едва не попавшей в плен, чуть не пляшет, угощая своего любимца, но помалкивает: его герой чуть-чуть не сплоховал.

Тут уже и я осмеливаюсь высунуться из оконца под летком и, размахивая картузом, крикнуть изо всех сил:

— Наша взяла! Ура! Полузобый, ура!!

— Верно, — снисходительно посмеивался польщенный главнокомандующий, — против нашего Полузобиньки никто не может. Только ты, братец, не егози чересчур, а то того. Смотри!

Вечером в последних отблесках зари Ройский Павел важно разгуливает у ворот, к нему подходят толстые бородатые, в ушастых картузах, о чем-то просят, кланяются, называя его, Паньку-то, Павлом Геннадиевичем, а он важничает, задирает нос кверху.

— Насчет голубков? — небрежно как бы удивляется Панька. — Можно, можно, сейчас сосчитаемся. Эй, мальчик, сбегай к Васе, скажи, чтобы пришел.

Я турманом лечу, чуть ли не кувыркаясь, на голубятню, куда вход я заслужил, и сообщаю там, что пришли выкупать голубей.

Они давно сосчитаны, сидят по корзинам, и Вася к воротам приглашается только для торжества победителей, для издевательства над побежденными.

— Ну, как, Вася, разобрал ты их всех? Сегодня что-то много к нам залетело. Сколько щелоковских, сколько карнауховских, а? Шамбарный тут: трешницу за него. А за Пятихвоста меньше синенькой, сами понимаете, взять нельзя: редкий турман, не всякий такого загонит.

— Уступите, Павел Геннадиевич, дороговато назначаете, раз на раз не приходится. И с вами такое может быть.

— Ну, тогда с нас возьмете. А уж теперь нечего делать. Так, так, верно. Вася, выдай!

Толстые бородатые картузники, заплатив выкуп, уходят с корзинами, повесив носы, и мрачно ворчат:

— Постой, дай срок, попадешься и ты нам, обдирало. Не денег жаль — обидно. погоди, и тебя пымаем!

А победитель, важный, гордый, счастливый, шелестит бумажками, позвякивает мелочью в кармане. Он направляется к голубятне и вдруг замечает у приставной лестницы человечка.

— Мальчишка, ты все тут? На-ка, получай на пряники за беготню. Лазить сюда ты можешь, но ежели перед голубкой в гнезде маячить будешь, так я тебя опять выгоню. Ты это помни!

Голубятня ни звука, она погружена в темноту, в сон.

А я... помню, сорок лет помню, все помню.

СЕЛЕЗЕНЬ — САШКА

Весенний прилет

Громада мерзлого озера-моря еще белела неподвижно. Кругом лежали снежные поля. Лишь кое-где на проталинах образовались лужи. И в них битком набивались пролетные птицы.

Великолепные лебеди, трубя в вышине, гордо летели мимо. Гогочущие табуны гусей часто спускались на такую маленькую воду, что сидели там, почти прикасаясь один к другому. И утки шлепались туда же в тесноту шумными крикливыми станицами.

Храбрый селезень

Кряковый селезень, крупный и сильный, уже вторично слетавший на зимовку в Африку, теперь вернулся на Ладожское озеро: он сам не знал почему. Весной птицы неслись сюда стадами сквозь бури, через море, не боясь ничего. И селезень вместе со своей стаей опустился в длинную узкую лужу у деревенского плетня.

Тут полоскались в мелкой полупрозрачной воде шесть домашних уток. Они посмотрели на свалившуюся к ним с неба станицу диких, покрякали и, не выразив особого беспокойства, продолжали шелушить, засовывая зеленые плоские носы в грязь.

Дикие утки, истомленные перелетом, жадно пили воду, глотая то, что в ней попадалось, и вдруг взметнулись с криком и улетели: из-за плетня на берег лужи вышла девчонка.

Селезень остался. Он знал, что человек без ружья не опасен, а у девчонки в руках ничего не было. Подплыв поближе к домашним уткам, селезень увидел, что они спокойно глотали корм, брошенный девчонкой. Значит, и вправду трусить было нечего!

Утки крикали, но не дрались, когда неожиданный гость, вытянув шею, протянул клюв к их еде. Десяток-другой зерен овса, после того как днем и ночью летел над морями, над лесами — как это живительно-вкусно!

Знакомство

Все шесть домашних уток очень приветливо покрякивали, оглядывая гостя. Он был так красив в великолепии весеннего наряда. Откуда он прилетел? Куда летит? Не останется ли тут жить?

Были такие мысли в утиных головах при виде красавца-гостя? Или в них ничего не шевелилось, в этих головах, засунувших плоские клювы в воду? Как бы там ни было, когда селезень, пошелушив овса, зашипел от удовольствия, утки все, как по команде, ответили:

— Кря-кря-кря!

И смотрели на селезня, как на знакомого.

Испуг

Селезень, привстав на воде на лапах, помахал крыльями — такими великолепными сизыми, сложил их и, потрепав всеми перьями, подплыл совсем поближе к уткам. Возможно, что он на утином языке сообщил бы им много интересного о том, что он видал и пережил во время дальних перелетов, но... Прибежала девчонка и, ничего не бросив на этот раз, закричала:

— Ути, ути, ути!

Это было очень страшно. Селезень взметнулся в вышину. Улетая, он видел, как девчонка, размахивая хворостиной, погнала всех уток в деревню. Вероятно, на смерть.

Селезень в ужасе просидел в отдаленной луже среди озера всю ночь.

Безопасно, хорошо, никого нет и близко не видать, но есть совсем нечего. Вода снеговая, в ней нет ни букашки. А вкусно бы этак опять похватать овса! Несколько съеденных зерен только раздражали голод.

Приятные новости

Огненным щитом выглянуло солнце из-за края снежных полей. Откуда столько луж взялось за одну ночь! И везде птицы. По краям луж бегают кривоносые, длинноногие кулики. Утки стаями и летят и купаются, кувыркаясь, ныряя, крича на все лады. Судя по ожесточенным голосам, с едой дело плохо: когда сытно, то молчат.

А что делается там, на знакомой длинной луже у плетня? Вмиг пролететь в вышине стремительный круг — это пустяки для крепкого селезня. Сверху вид открывается широкий. Ну, так вон она, та лужа, ничего на ней нет. Стайка чирков уселась в угол и плещется там, как дома, это совсем не то, что нужно. Вчерашние знакомки, значит, погибли: погубила их проклятая девчонка с хворостиной. А жаль, как вкусно было бы пошелушить с ними этого чудесного овса.

Нет, ничего, живы утки. Вон они все шесть, переваливаясь, спешат по тропинке от деревни к луже. Значит, девчонка ничего им не сделала. Скорей к ним!

Утки встретили его, как старого приятеля, дружески крякнув.

Огненно-ослепительно висело солнце высоко над пустыней тающего озера-моря, когда на берегу лужи у плетня опять раздалось знакомое:

— Ути, ути, ути!

Селезень спрятался за пучком соломы, валявшимся у воды.

Девчонка пришла без хворостины, к тому же она вовсе уж не так страшна, если к ней приглядеться, и... улететь так, что крылья свистнут, будет еще время в случае чего-нибудь такого.

А может быть, ничего?

Оказалось много лучше, чем ничего: девчонка принесла уткам хлеба. Обьедки, корки, крошки. Вот это еда! Как это вкусно, какую силу дает — не то, что жалкая дрянь, которую удастся похватать кое-где среди диких луж.

Весна не ждет

Огненное солнце, сияя среди безоблачного неба, палит, жжет, сушит. У плетня лужа исчезла, озеро, наоборот, наполнилось водой. В вышине, курлыкая, размахивая огромными крыльями, пролетел журавлиный ключ.

Дикие утки рассеялись по зарослям камышей и осоки. Шесть домашних уток оставались на берегу озера не только весь день от зари до зари, но иногда и на ночь. Когда они видели, что из воздушной синевы к ним над гладью волн несетя, свистя крыльями, знакомый красавец-селезень, они наперебой радостно кричали:

— Кря, кря, кря!

А он скоро и вовсе перестал от них улетать.

Прятаться на берегу очень удобно. Тут кустики, осока, боченок какой-то валяется. И он, селезень, хитрый: он умеет так затаиваться за прикрытиями, что никому его не видать. Дурачок не понимал, что его утиные хитрости никого не обманывали. Та же девчонка, придя к озеру с бабой, сказала ей:

— Вон он, маменька, за кочкой-то там сидит. Тот самый, все к нашим летает, давно, и с ними жрет.

— Ты его не пугай, — отвечала баба, — пусть привыкает. Нашим-то с ним веселей.

И кинула селезню кусок — он даже не посмотрел чего: взвился и улетел.

Когда он вернулся, на берегу не оказалось ничего: ни бабы с девчонкой, ни куска, ни уток. Селезень покрякал, пошипел и остался тут ночевать один. Это очень скучно, но там в озере, в тростниках не лучше, там все равно не найдешь

ни одной утчки: все сидят на гнездах так, что их не отыщешь. А драться с селезнями надоело.

Утром утки откуда-то пришли и остались на берегу. Они вместе с селезнем очень весело провели несколько суток.

Затем явилась девчонка со своим:

— Ути, ути!

И погнала уток хворостиной. Селезень, хотя не очень боялся, все-таки хотел на всякий случай улететь, но с ужасом почувствовал, что не может: крылья его не держали. Он начал линять, и маховые перья его крыльев выпали.

А проклятая девчонка, размахивая хворостиной, бежала за ним по мелкой воде и кричала:

— Ну ты, линяк, пошел, пошел!

Тогда в отчаянии, не зная куда деваться, бедняга-селезень, хлопая по воде больными крыльями, побежал за знакомыми утками.

Девчонка пригнала их всех в сарай и заперла дверь.

В тюрьме

В первый раз в жизни селезень оказался не на вольном просторе. Невиданный ужас.

Крыша, стены... В щели так странно смотрит свет, так, необыкновенно свистя, дует ветер. Тут смерть?

А может, нет: утки чистятся, покрякивают сонно, успокоительно. Ну-ка, голову под крыло. Тут спать не плохо.

Утром дела совсем поправились. Баба в узкое корытце с водой насыпала столько овса, сколько селезень еще не видывал, и, подсыпая, все приговаривала:

— Ешь, Сашка, ешь, родной, на здоровье. Наш будешь, Сашка, ешь.

Сашка. Это что такое?

Селезень жадно хватал овес, набил зоб так, что его перевешивало при ходьбе: в первый раз в жизни он так наелся.

Затем, точно ничего особенного не случилось, их всех семерых выпустили на озеро. Вечером пришла девчонка и закричала:

— Ути, ути. Ну, Сашка, пошел домой!

Ну что ж, отчего не пойти в сарай, где так угощают.

Селезень спокойно ковылял за утками. Важное дело просидеть ночь под крышей: потом выпустят да еще накормят.

Происшествие

Овса опять дали вволю, и все шло очень хорошо, хотя гулять почему-то не выпускали. Без озера было немножко скучно, плавать негде, пришлось забраться в то же узкое корытце, куда насыпали овес, и там побрызгаться.

Потом опять выпустили на озеро. Перья в крыльях уже выросли. Фырк! Славно так взвиться в вышину на удивленье уткам и, облетев круг, вернуться.

На берег приходили люди и говорили:

— Красавец-селезень у Ивана Петровича. И ведь как прижился. Сашка, а, Сашка!

Селезень уже твердо знал, что, когда говорят «Сашка», обычно кидают подачку. И он шипел в ответ:

— Пш, пш, пш!

Однажды в сарай пришел мужик, красный, злой, и, шатаясь, кричал:

— Это который тут селезень? Сашка? Я до него доберусь!

Селезень в ужасе бегал по сараю, взлетел и забился под какие-то бревна, сложенные под крышей, и лежал там притаившись, пока страшный человек не ушел.

Последний полет

Дорожка, по которой утки ходили к озеру, покрылась золотыми листьями. Вода похолодела. В вышине неслись пролетные стаи уток. Оттуда кричали дикие голоса, ругались, издевались, звали с собой. И что-то манило унести туда, где небо ясно, солнце жарко, где в теплой воде сколько угодно корма.

В туманное утро, когда дул холодный ветер и моросил мелкий дождь, а по берегу совсем нечего было есть, селезень не выдержал и полетел за снизившейся утиной станицей.

Летели они до ночи то над водой, то над полями и лесами. Когда весь табун опустился в полутьме на широкую пустынную отмель, толстый и жирный от домашнего корма селезень, еле живой от усталости, заснул комком на песке.

Проснулся он в смертельном ужасе: какие-то звери, рыча, хватали и рвали полусонных, с криком метавшихся в темноте птиц. Лисицы? Волки? Собаки? Селезень даже не разобрал, среди безумного смятения унесся в вышину и полетел один, сам не зная куда. Там, в вышине, дул ледяной ветер, пришлось снизиться.

К утру селезень увидел на пустынном островке три пары лебедей и подсел к огромным белоснежным птицам. Вдруг лебедь, которому селезень решительно ничего не сделал, так клюнул его в голову, что селезень перекувырнулся. Лебеди, дико и злобно крича, улетели, а селезень, шипя, смотрел им вслед. Нет, за ними он не полетит, довольно одного подзатыльника.

На берегу островка ничего не было. Скучно так плавать одному и есть совсем нечего. Селезень зашипел тоскливо.

Вдруг засвистели утиные крылья и на воду около островка посыпались чирки, стая, сотня чирков. Когда они, поплавав, почистившись, отдохнув, потянулись длинной вереницей в путь, селезень полетел за ними, но отдельно, одиночкой: чирки — утки, конечно, своя компания, но все-таки мелочь, а он крупный кряквовый селезень.

Доверчивые утchonки в тумане сумерек снизились, пролетая между двумя озерами, и попали в беду. Свистел убийственный град дробы, внизу блистали огни, гроыхали выстрелы, утchonки, кувыркаясь, падали мертвые, искалеченные.

Селезень в ужасе кинулся от стаи прочь и повернул обратно, против холодного ветра. Ночь он просидел в лесном болоте, утром торопливо похватал буро-красных зерен с длинных пожелтевших стеблей дикой гречи, плававших в холодной воде, и взлетел в вышину. Вон тянется на полдень утиная стая. Нет, он

за ней не полетит, он лучше направится туда, откуда дует холодный ветер, вернется к сараю, укрывающему от холода и всяких опасностей, к знакомым уткам, к корытцу с сытным кормом.

Сияло холодное солнце осени, спускалась и тянулась долгая темная ночь. Селезень летел, зорко вглядываясь с вышины, и наконец увидел знакомую деревню на берегу озера, знакомый сарай, знакомую девчонку. Вон она принесла корзинку, вон утки — все шесть. И когда, сложив крылья, селезень камнем свалился в мелкую воду, утки радостно крякнули, а девчонка закричала:

— А, Сашка, где ты шатался? Ну, ешь, ешь!

Девчонка кидала в воду куски хлеба, кашу. Ну да, греча, но вареная, мягкая, нежная, вкусная, не та, что там, на бурых стеблях в болоте. Селезень, наевшись, спокойно ковылял за утками к сараю. Нет, никуда он больше не полетит, никто его ни в какие перелеты не заманит. Тут кормят так, что не успеешь всего съесть, в сарае тепло спать, безопасно, ласково говорят: «Сашка, Сашка».

Судя по ласковым голосам, какими это произносилось, должно быть, хорошо.

Конец Сашки

Селезень стал жирным, толстым, тяжелым. Крылья его действовали, но едва ли они унесли бы его далеко. Да он и не летал долго, он охотнее ковылял пешком за своими утками.

Выпускать их стали реже.

Края озера подернулись льдом.

Утром в распахнувшуюся дверь сарая ударил резкий яркий свет: кругом лежал снег. Вошел тот самый мужик, что гонялся по сараю за селезнем, и на этот раз без крика только сказал:

— Ну, ты, Сашка.

Селезень его побаивался, помня гоньбу, но все-таки ответил:

— Пш, пш!

Тут мужик, неожиданно нагнувшись, схватил его за крыло, и больше селезень уже ничего не видал, не слышал, не чувствовал.

— Ишь, какой жирный, — говорила в избе баба, ощипывая селезня, — откормился не хуже домашнего. Ты, Катька, чего плачешь?

— Да жалко, маменька, — отвечала, смеясь сквозь слезы, девчонка, — прилетел к нам нивесть откуда на свою гибель. И чудной такой был, ласковый. Ему скажешь «Сашка», а он отвечает: пш-пш! Жалко.

— Всем им одна дорога, откормился — и на жаркое. Дай-ка плошку.

И то, что так недавно было селезнем, странным пернатым существом, откуда-то прилетевшим, теперь в глиняной плошке, окруженное картофелинами, отправилось в печь.

Вот тебе и Сашка.

БОЛОТНАЯ ПОВЕСТЬ

Героиня этой истории всю свою жизнь носила скромное коричневатое-серое платье, вследствие чего нет ни малейшей возможности описать ее наряды, а герой если и щеголял изредка яркими цветами, то одевался с неизменным однообразием покроя и совсем не имел дела с каким-либо портным. Оба они ели такую дрянь, что и перечислять не стоит, никогда не носили никакой обуви, не имели не только постоянного места жительства, но даже собственных имен. Бродяги? Несомненно. Безнравственные бродяги, если добавить, что, родные брат и сестра, они нисколько не чувствовали сладости родства, равнодушно расстались в раннем детстве и, встретясь взрослыми, друг друга не узнали и едва взаимно не увлеклись.

Они пережили ряд странных приключений, счастливо избежали многих опасностей, свершили длинные путешествия по воздуху, видели разные края земли и были убиты предательскими выстрелами людей, которым они ничего плохого не сделали. Разве это не основания для повести?

Итак, это были утка и селезень, конечно, сначала утята, настолько одинаковые, что не установлено, различала ли их одну от другого даже родная мать, кряковая утка, еще не старая, но выдавшая виды в своей жизни.

Они явились на свет в числе одиннадцати в июньский полдень, когда лучи солнца гонят над болотом жаркие волны ароматов от зацветающих трав, и ястреба, паря на неподвижных крыльях, плавают в прозрачной вышине. Маленький кобчик, трясясь чуть ли не над самыми кустами, кричал от голода тонким, резким, яростным голосом: «кли-кли-кли!» Утка-мать посматривала на него с беспокойством. Она знала, что крупный ястреб вообще не бьет птицу иначе, как на лету или на широкой воде, где ему не обо что ушибиться, но этакая дрянь с голода, пожалуй, кинется, схватит утенка. И, тихонько покрякивая, она уплыла в осоку, уведя за собой весь выводок — целую цепь пуховых темно-зеленых комочков, кувыркавшихся и скользивших по воде, как пробки. Эти комочки, прожив всего два часа, однако, умели уже, засунув головенку по самые глаза в воду, пропускать ее через плоский зеленый нос, как делала то утка. Что-то застревало, оставалось на ничтожном язычишке, заставляло глотать. Ах, вот она жизнь: набить животишко и, радостно пища, забиться спать под теплые крылья матери!

Ночь провели на родимой кочке, но не в гнезде. Там тесно, гадко, грязно, там валяются скорлупки яиц, разный сор, набравшийся за время усердного высиживания, — все это не годится для живых веселых утят.

На другой день пронеслась гроза. Из туч, мчавшихся мгlistыми громадами, вырвался чудовищный язык бледного пламени, лизнул болото, мгновенно испепелил ряд кустов, взметнул в дыму столбы земли и воды. На утиный выводок такая катастрофа произвела незначительное впечатление: той кочки, где помещался выводок, вихрь не коснулся. Утята, попискивая, шевелились под уткой, и счастливая мать, ощущая их всех, даже дремала, повесив нос, во время грозы. Мало ли какие случаются на свете происшествя! Постороннее дело. Но посещение водяной крысы было ужасно. Она чутьем выследила ход выводка

между кочками и нагло кинулась на утят. Напрасно они ныряли: крыса делала это лучше и увереннее, чем они. Напрасно утка, отчаянно крича, била ее крыльями, пыталась клевать. Плоский, тупой и мягкий клюв действовал плохо. Когда на новой кочке, значительно отдаленной от первой, утка после крика, писка, драки, шлепанья и беготни по грязи собрала своих птенцов, то убедилась, что двое из них исчезли. И жалкое кряканье несчастной матери тоскливо дрожало над осокой до утра, когда сквозь росистые своды высоких трав по узким протокам между кочками известной ей дороги утка увела остальных птенцов на открытую воду. Какие звезды кувшинок цвели на поверхности зеркальной воды, какие большие плотные листья у них! На некоторых сидели бледно-зеленые лягушки, смешно кувыркавшиеся в воду при приближении даже утенка. Тут в изобилии и тишине скоро забылось ужасное происшествие, и пошли один за другим счастливые дни. Иногда над лужей мелькала летучая тень и слышался резкий свист могучих крыльев. Тогда утка кричала предостерегающе и ныряла или пряталась в осоку, за ней мгновенно исчезали утята, и над водяной гладью неслись яростный клекот хищника, которому не удалось ничего поймать.

Утята росли быстро, в их вытянувшихся крыльях появились пеньки перьев, сами они покрыты были еще пухом, но уже не темным, а с светлозелеными полосами: в случае чего утята теперь бегали и прятались в осоке, а не затаивались в тине.

В том же краю лужи ютились еще два выводка — шилохвости и широконоски; это, конечно, утки не того круга, как кряковые, чином ниже, но все-таки весьма порядочные семейства, с которыми приятно вести знакомство. Бойкие полувзрослые утята всех трех выводков частенько сообща ловили лягушку, таскали и дергали ее до смерти, хотя проглотить не могли. Тут на помощь поспевали утки. Человек ворвался в эту мирную жизнь без малейшего предупреждения. Он вдруг явился и принес все: гром, молнию, дым и дикий ужас хищного зверя. Все это было, быть может, меньше, но утиную жизнь задевало ближе, чем тогда в грозу. Гремели выстрелы, свистел смертоносный град дроби, взметывались в дыму столбы брызг, огромное невиданное животное, сверкая страшными глазами, фыркая и высунув красный язык, гналось за вереницей утят. Старая кряква кидалась на собаку, била ее крыльями по голове, но в пылу защиты взлетела, когда ей показалось, что она отвела собаку от выводка, и упала на воду мертвой, пронизанная свинцовым градом.

Два утенка, не помня себя от страха, выскочили из осоки на середину лужи, побежали по воде, хлопая еще голыми крыльями, а потом принялись нырять. Это их спасло. Они бежали долго, пробрались через болото, переплыли, ныряя, еще ряд луж и выбрались в край озера, измученные, голодные, но обогащенные опытом: они теперь знали, что такое человек с его собакой: это много страшнее и хуже грозы и водяной крысы!

Кончилось беззаботное детство, началась самостоятельная жизнь, полная страха и тревоги. При малейшем подозрительном шорохе на берегу утята сейчас же кидались бежать по воде, укрывавшей, спасавшей их от всех врагов. Однажды человек, косивший осоку, чуть не наступил на них, когда они задремали

в полдневном зное. Ни грома ружья, ни собаки тут не было, но испуганные до полусмерти утята выскочили слишком стремительно, замахали по воде крыльями изо всех сил и вдруг почувствовали, что крылья их держат в воздухе. Тогда они взвились в высоту и несколько раз облетели, оглядывая спугнувшего их косца. Так вот он какой, человек! Ничего он не может сделать молодым уткам, летающим высоко. Тут же стало ясно, что мир очень велик, уток в нем много, и по зарям, когда солнце показывается из-за края земли, а в особенности когда оно скрывается за ним, вереницы уток летают от одной воды к другой без всякой надобности, просто так, чтобы помахать крыльями. И брат с сестрой, пристав к разным стаям, расстались, даже не заметив, как это случилось.

Продолговатые озера длинной цепью лежали среди зелени кустов и леса. Восхитительное ощущение лететь высоко над зеркальной водной гладью в полнейшей безопасности. Там, на зеленых перемычках между озерами, постукивают выстрелы, и видно, как кувыркаются утки из неосторожно снизившихся станиц, но... зачем же так делать? Лучше пронестись в недосыгаемой высоте. Бывалые, должно быть, и пребойкие парни попадают из прошлогодних селезней. Они летят так бодро, прямо, так уверенно, как будто наверное знают, что и за цепью привычных озер в туманной дали есть что-то хорошее. Летим! Летим!

А огромная река, величественно развернувшись широкой серебристой дорогой, изгибом откинула почти необозримую отмель — песчаную, желтую, гладкую. На ней сотни луж и ни одного кустика. Тут можно спокойно есть и спать: ни с какой стороны никто никак не подобрется.

И утиная стая, шумно свистя крыльями, низит над длинной котловиной, наполненной водой, проносится над ее поверхностью, возвращается и, убедившись, что никакой опасности не угрожает, шлепается на воду.

Ба! Да тут уже сидят, полощутся раньше прилетевшие станицы: кто чистится, кто ест, кто спит, сидя на берегу или покачиваясь на стоячей воде. Бегают кривоносые кулики, гуляют длинноногие журавли, стадо гусей бормочет в уголке заводи. Вдруг тревога: по середине реки плывет чудовище. Оно оглушительно ревет железным голосом, пытит клубами дыма, на нем видны люди! Ужас! Селезень, переживший лишь весну своей жизни, уже взлетел, но прежде чем унести, взглянул на бывалых парней из прошлогодних: те даже не шевельнулись. Эка невидаль — пароход. От него вреда не будет. А насчет того, чтобы человек или собака не подобралась, так вон сторожевой стоит, старый селезень в полном блеске оперения, в расцвете сил и опыта. Он сыт, упитан так, что не увлекается едой, он так силен, что любого из молодых может, взяв за шею, отгаскать, как утенка, и, стрелянный не раз, он смотрит зорко, слышит чутко. Вот если он, зашипев, поднимется, ну, тогда не зевай, лети за ним во все крылья!

Через какой-нибудь десяток дней и молодой селезень вылинял, сбросив скромный наряд серо-коричневых перьев. Голову его покрыл темнозеленый бархат, на шее засверкал белый галстук, круглые края крыльев стали сизыми, а грудь малиновой.

Как раз к этому времени пошли дожди, ночи потемнели, удлинились и очень похолодели, червяки, лягушки почти исчезли. Плохо стало с едой. Не

рыбу же ловить кряковому селезню! А бывалые парни, видимо, собирались куда-то удрать, судя по тому, что все шептались, посматривая на сторожевого. И потому, когда красавец-старик, зашипев, поднялся, а за ним шумно и крикливо потянулся длинный табун, то и молодой щеголь, не желая остаться один, полетел за ним, сам не зная куда и зачем.

Море. Чрезвычайно странный вид, совсем не такой, как над родными болотами: там на необозримой зеленой равнине лишь кое-где блестит вода, а тут никакой зелени, кроме зелени волн с пенящимися гребнями, тут вся равнина вода. Можно опуститься и поплавать, но — еще странней — воду эту нельзя пить: она отвратительна. Вдобавок из нее высовываются какие-то зубастые морды, глотающие взрослых уток, как мух, и, наконец, в такой воде, оказывается, утка может утонуть. Неожиданно налетевшим шквалом так трепануло их табун, заснувший вплавь на солнечном припеке, так стало хлестать волнами, что сотни задохнувшихся уток безжизненными вереницами, качаясь, поплыли по волнам. Но вожак, шипя, полетел навстречу ветру, неутомимо размахивая точно железными крыльями, за ним плотной тучей понеслись отборно сильные, крепкие: все слабое отпало, осталось там, на пенистых волнах.

Стреляли в утиные стаи часто, когда они летели над землей; попадали редко. Но в пасмурные, ненастные дни, когда в воздушной вышине все полно туманной мглой сырости, трудно там лететь, тогда утиная стая снижалась, и вот тут случались несчастья: некоторые кувыркались вниз на землю, где стучали выстрелы. А остальные, раздавшись на миг, пока свистел убийственный огненный вихрь, вновь теснились в ряды и крича продолжали нестись к югу, посылавшему им навстречу приветные волны тепла.

О, лазурное небо, лазурный воздух, лазурное море! О, нега жарких лучей! О, благоухания невиданных широколистных трав! Вот он, роскошный, лучезарный юг!

Забыто все: и угрозы зимы, и тягостный перелет, и многие опасности во время пути. Здесь отдых, полное спокойствие, бесконечное богатство разнообразного корма, тут рай безмятежного существования. Веселыми шумными ватагами рассыпались утиные стаи в тростниках вечно тихих водоемов. Конечно, неприятности случались. Зубастые морды высовывались и тут из тины, хватая зазевавшихся уток не хуже, чем те в морской глубине. Подкрадывались и четвероногие воры, похожие на лисиц. С хриплым клекотом кружили в воздухе огромные ярко-пестрые ястреба. Но редко кто попадал в зубы или когти хищников из птиц, изощривших огромным перелетом свои силы и сторожкость.

Один безоблачный день мелькал за другим, все жаркие, беззаботные, обильные дни. Иногда даже томила нега душных темных ночей. Когда промелькнуло их с полсотни, вдруг старый вожак оттаскал, избил до полусмерти двух молодых селезней без всяких к тому причин, кроме того, что молодые попались ему, когда он почему-то был не в духе. Это происшествие послужило началом ряда драк, возникавших из-за пустяков, просто от безделья. Ругань на всех утиных наречиях повисла в воздухе, причем кряквы, конечно, громче всех орали во все горло: «кря-кря-кря!» Дождь, ливший потоками несколько суток, прекратил

брань, но смутно и сильно напомнил всем что-то очень важное, внушавшее тревогу, и после дождя положение затуманилось совсем.

Утки, державшие когда-то под крыльями утят, стали крикать долго, настойчиво, как будто подзывая выводок. А его не существовало. Иная пожилая утка, плывя в совершенном одиночестве, оглядывалась, ища за собой живую цепь плывущих вертялых пуховых комочков, и, убедившись, что за ней никто не плывет, выбиралась на берег, крикая жалко, тоскливо. Некоторые из наиболее опытных подплывали или неожиданно, как с неба сваливались, слетали к разряженным в яркие перья селезням и покрикивали ласково, нежно, тихонько, ободряюще, как бы намекая на что-то. Одному молодому кряковому красавцу, отличавшемуся могучим изгибом шеи, досталось от опытных уток даже несколько щипков. Что ж, он дурак, что ли, чурбан, урод бесчувственный? Нет, он не хуже, если не лучше других, но он решительно не понимал, чего от него хотели, и равнодушно продолжал шелушить, засовывая в воду темнозеленый клюв. Впрочем, неосторожно подвернувшемуся селезню свиязи, красавцу с каштаново-бархатной головой и в белоснежном жилете, он тут же ни за что дал сильнейшую трепку. Тот, вырываясь, кричал, пищал, вертелся, наконец вырвался, взлетел в вышину и, трепеща от бешенства, вдруг издал лишь ему из всех утиных свойственный крик, роскошный из двух колен заливистый свист, звенящим хохотом радостно несущийся весной из-под облаков.

Сигнал? Конечно, нет. Конечно, то был бессознательный крик. Но он ответил на тот призыв, который уже дрожал в миллионах существ, истомившихся в зное ночей. Наступил тот миг, когда все они, увидавшие свет жизни в свежем воздухе севера, вдруг почувствовали непобедимую потребность вновь окунуться в волны этой прохлады. Крылатые станицы поднялись, равнодушно покинули чрезмерно роскошные богатства пищи и тепла и понеслись в унылые мхи болотистых тундр.

Теперь они летели в недостижимой вышине, часто над облаками. Обильный корм, поглощаемый в течение многих дней покоя, собрал в их существах такие запасы сил, что крылья неустанно махали день и ночь. Бодрящее дыхание северных льдов несло навстречу, пронизывало сладостным холодком, заставляло содрогаться, но оно манило, привлекало.

Среди ночного мрака во время перелета над морем вдруг заблестал странный сильный свет. Солнце? Нет, оно восходит в алом сиянии зари или исчезает среди красных облаков, а тут брызжут снопы ослепительно бледных, холодных лучей. Станицы птиц снижаются и с налета бьются о каменные стекла маяка. О, какой крик, какой ужас, сколько искалеченных и мертвых падает к подножию башни! Более недоверчивые, осторожные взмывают кверху и продолжают, как-то разбирая направление, лететь во мраке туда, где цель жизни таится в смутном очаровании, силе которого невозможно противостоять.

Снег лежал сверкающими полями, дыша холодом, дул резкий ветер, ночной заморозок щипал за лапы так, что приходилось, прервав дремоту, взлетывать, крикая от боли, и по едва оттаявшим закраинам почти нечего было есть. Но среди голодных невзгод вдруг ясно озарило всю жизнь то, что издали манило смутно. Ах, эта неизъяснимо-преlestная судорога любви! Для всех живых

она ярче солнца, заманчивее света, сильнее голода, нужнее воздуха, дороже жизни. И охваченные волной весенней страсти птицы поняли, зачем сквозь бури, голод и смерть они прилетели на север.

Утиные стаи разбились. Селезни, так недавно вполне хладнокровные, в бешеной жажде обладания преследовали уток, а те, слегка убегая, как бы уклоняясь от неистовых ласк, уступали им, трепеща от наслаждения.

В лазурной вышине, трубя точно в серебряные трубы, неслись станицы лебедей, гоготали гуси, курлыкали журавли, — им путь был еще далек, их еще манило, им предстояло то, чего утиные пары уже достигли.

Селезни яростно трепали своих подруг, не пропуская случая уцепить и одиноко пролетающую утchonку. О, как горько это было видеть той, что избрала его своим супругом на всю жизнь! Но как быть? Он так хорош в великолепии весенних перьев, что ему поневоле прощается его неукротимый характер.

Однако некоторые утки стали задумываться и несколько сдержаннее принимать ласки ненасытных любовников. Какие трепки доставались им тогда. Бедняжки кричали плачущими голосами, а опьяненные страстью красавцы таскали и тащили их так, что пух летел в воздухе и плавал по волнам взбудораженных луж.

Отлично сложенная кряковая утка решила, что достаточно подобной жизни, пора подумать о семье. Она равнодушно отвернулась от селезня, подплывшего к ней с любезностями, и направилась в желтую заросль прошлогодней осоки. Оттуда она была вытащена за шею, и взбешенный селезень до тех пор волочил и щипал ее, пока она вновь ему не покорилась. Тогда утомленный дракой и любовью селезень в счастливой дремоте на миг повесил нос, а когда он его поднял, утки около него не оказалось. Он оглянулся тревожно и зашипел в гневном негодовании. Как она посмела? И как она смогла так подло улизнуть? Он слышал бы малейший шелест ее крыльев, если бы она улетела. Негодяйка, очевидно, отплыла от него, как тень, и беззвучно шмыгнула в осоку, где ее не найти. И, взмахнув крыльями, покинутый любовник взметнулся ввысь. Ну, достанется трепка той, которая ему попадет! А изменница сквозь осоку, через кочки выбралась на довольно широкую лужу и остановилась в изумлении: бывает же такая красота. Прямо перед ней, гордо подняв необыкновенно могучую шею, плавал селезень. Вот это — надежный муж, каким бы отцом он был для ее будущих детей, быть может, и ее он не колотил бы чересчур.

Сладко мечтая, она даже закричала легкомысленно в избытке нежных чувств. Красавец с могучей шеей встрепенулся, увидел утку, кинулся к ней... После возни с криком, с дракой, с погоней по воздуху и по воде утка неожиданно нырнула на самой середине лужи и точно провалилась сквозь воду. Селезень в отчаянии и нырял и летал и шипел на разные лады, — нет, утка исчезла. Они злобно расстались навсегда, не заподозрив ни на миг, что они родные утята из того выводка, за которым год назад около той же лужи гналась водяная крыса.

Утка только потому оказалась так жестоко добродетельной, что все ее существо трепетало от иных чувств.

Гнездо! Туда в виде яиц она положит уже зародившиеся в ней новые существа, прикроет их, согреет, сбережет собственным телом, ценою жизни

бесстрашно защитит их от всех врагов, спасет этих маленьких зеленых, пуховых, пока они не улетят вдаль, новые утки: она уже их любит страстно, самоотверженно, бесконечно. Зачем, кому это нужно? Неизвестно, но так велит закон, которому нельзя не повиноваться, закон жизни.

И утка принялась за постройку гнезда, покрякивая уже не легкомысленно, а деловито, как почтенная мать семейства.

Селезень с могучей шеей, неожиданно оскорбленный в самых горячих своих чувствах, осматривая все лужи, очень скоро нашел... селезня, также метавшегося в бесплодных поисках. Он его избил так, что тот, растрепанный, исципанный, окровавленный, перестал даже шипеть и, собрав остаток сил, еле-еле улетел от разъяренного врага. Победитель, привстав на воде на лапах, помахал крыльями, поправил перья, пострадавшие в схватке, попил воды и гордо поплыл по зеркалу лужи. Нет, он им еще покажет, как от него прятаться, попадаться ему на дороге, когда он сердит, с такой шеей он за себя еще постоит и уток найдет. Вот... Вот кричит какая-то дрянь. Голос слабоват, потрескивает странно, но, несомненно, она зовет. Туда, к ней! Вот она, у куста. Селезень свалился камнем к утке, привычно схватил ее за шею и, отпрыгнув, взлетел, прежде чем из-за куста раздался выстрел. Чорт знает что: утка оказалась деревянной! Вот чего ни один селезень никогда себе представить не мог.

И, облетев большой круг, бедняга долго сидел в болотце, дрожа от ужаса, удивления, негодования. Каковы штуки: деревянная утка! Вот почему и голос звучал так странно, очевидно, за нее кто-нибудь другой кричал.

А это что? Нет, это уж как угодно, это настоящая утка зовет. Все-таки решив сначала посмотреть, селезень облетел круг и увидел, что у берега лужи, отряхиваясь и крича, плавала утка, на берегу же стояло что-то, куст не куст, нечто зеленое.

То был шалаш и в нем сидел человек. А утку, пойманную год назад в пуху, зиму держали в избе и теперь, привязав за лапу на веревку, пустили на воду, где она, круговая утка, и орала во все широкое горло: «кря-кря-кря!»

Такую сложную цепь хитро обдуманных предательств селезень мог сообразить еще менее, чем представить деревянную утку. Он радостно кинулся с высоты к кричавшей утке. Утка радостно поплыла ему навстречу. Вдруг огненный вихрь охватил, пронизал его всего, и селезень, поникнув могучей шеей в воду, даже не взмахнул крыльями: он был убит наповал.

А в зеленом кусте-шалаше стукнул выстрел.

СМЕРТЬ СЛОНА

Упавшим деревом больно ударило слоненка по спине около хвоста. Лошадь или быка такой удар убил бы наповал, но молодой слон только хрюкнул и, слегка волоча задние ноги, побежал, спасаясь от охотников. Его настигли, повалили, связали. Он ревел еще визгливым голосом, пыхтел, задыхался, хрипел. Кругом стояли, держа в хоботах цепи, огромные старые, давно поработанные человеком слоны. Они страшно дрались этими цепями и угрожали ударить еще.

Слоненок встал и, еле переступая спутанными ногами, покорно побрел в какую-то загородку из толстых бревен, куда крича гнали его черные, почти голые люди. Он там простоял всю ночь, дрожа от ужаса и бешенства, — всю длинную страшную ночь, полную диких криков, рева слонов, ударов, толчков, выстрелов, красных огней.

Утром стало видно, что за решеткой блестит вода и грудой лежат нежно-зеленые свежие ветви. Едва слоненок, войдя за решетку, опустил хобот в кадку с водой, за ним шумно опустилась решетчатая дверь: он оказался в клетке. Конечно, он мог ее легко сломать, но они опять стояли тут — пленные старики-слоны с цепями в хоботах.

Боялся ли он побоев, сообразил ли, что домашним слонам не плохо живется? Он больше не сопротивлялся и даже не кричал, когда его клетка покати-лась на колесах. Слоны притащили ее к железной дороге и, угрожая цепями, перегнали слоненка из клетки в вагон.

Около слоненка теперь всегда суетились, кричали, смеялись белые люди. Они давали есть, приносили воду. Можно было не только пить вволю, но и окачиваться, пуская из хобота обильную струю дождем. Один человек, чаще всех появлявшийся около слона, осыпал его мокрым песком и стал счищать связкой прутьев на длинной палке песок, прилипший к спине и бокам. Слон захрюкал от удовольствия. Бывало, старая слониха, его мать, водила его маленького на пустынную отмель реки, посыпала песком и, набрав в хобот воды, поливала, пока серая кожа его не становилась гладкой и блестящей.

Человек с метлой кричал что-то, указывая слону то на его голову, то на его ногу. Ну, понятное дело: где же ему, недоростку, достать до слоновьих ушей. Слон подогнул колени и лег. Человек, поливая его водой и посыпая чем-то похожим на песок, вымыл, вычистил огромную голову, уши, хобот. Это было очень приятно. Слон охотно подставлял вытянутую ногу, чтобы по ней, как по лестнице, человек мог забраться к нему на шею, на спину и лазить там сколько ему хотелось, — везде до того места, где тогда, в ту ночь ударило бревно. Там образовалась черная лепешка в большой поднос величины. Если человек ее трогал, слон брал его хоботом, ставил на землю и сердито фыркал и пищал: он не желал убивать человека, но и не позволял делать себе больно. Лепешка, впрочем, съеживалась и постепенно исчезала с каждым днем.

Переход из клетки в вагон, из вагона по улицам сквозь шум и возню людей, — такой переход стал для слона привычным делом. Погрузка на пароход немножко напугала. Клетка со слонем вдруг взвилась куда-то высоко в воздух. Это ее подняли краном. Кончилось все благополучно: дали есть, пить и вычистили. Другой человек кричал другие слова, но так же, как и тот, указывал слону на голову, лазил по ноге и приятно хлопал по спине метлой. Не все ли равно, какие слова? Пусть кричит и лазит.

Сколько клеток, сколько вагонов сменилось, по каким дорогам, какие страны проехали, — это опять-таки все равно. Ясно, что в прохладную тень леса слону не вернуться никогда.

И он ел, пил, спал за решеткой зоопарка. Ее чугунные палки, вделанные в камень, он мог бы согнуть так же легко, как сломать жерди той деревянной

клетки, в которую его поймали. Тогда он был слоненок ростом с быка, весил шестьдесят пудов. Теперь через десять лет он стал вдвое тяжелее и вырос, для него за решеткой выстроили из серого камня особый дом, куда он, огромный слон, уходит спать или просто постоять спокойно в одиночестве, отдохнуть от непрерывно идущих мимо зрителей.

Одно время кормить его и чистить клетку приходил плохой человек. Он злобно кричал что-то отвратительное и без всякого толка постоянно угрожал схватить острым крючком за хобот. Конечно, очень просто и отнять крючок, и раздавить обидчика одним толчком ноги, но для чего это делать? Убежать некуда. Слон смиренно жевал сено, окачивался из хобота водой и, принимая от зрителей мелкие монеты, передавал их служителю. Давно привыкнув к людям, он выучился различать деньги: за очень маленькую желтую медяшку служитель дает картофелину, за большую — две-три, а за белую серебряную монету отсыпает десяток. Свое удовольствие слон выражал чем-то вроде хрюканья: особенный чудовищный звук дрожал где-то в глубине его серой туши. Когда слону что-нибудь не нравилось, он шумно дул хоботом, фыркал и пищал.

Однажды ночью слон подал свой полный голос. Он разбудил всех. Зарычали медведи, рывкнул лев и вой волков слился с криком взметнувшихся птиц. Служитель прибежал, ругаясь, к клетке слона:

— Чего орешь? Тут тебе не Индия. Молчать, свинья, а то вот!

Он вбежал в клетку, протягивая крючок. Но слон, эта серая неповоротливая груда, схватил ненавистного человека с такой быстротой, что тот не успел даже крикнуть, как взлетел на воздух. Хобот выбросил его из клетки, как муху, как клочок сена.

А слон бешено трубил, и страшный звук, неслышанный среди камней города, наполнял весь сад, несясь по улицам.

Около клетки суетились, поднимали служителя, упавшего счастливо в кусты.

— Что случилось, Джолли? — кричали взволнованные голоса.

Как будто он мог что-нибудь ответить! Почувствовал ли слон, что он достиг расцвета могучих сил, что пришла пора ему крикнуть, как кричат его сверстники во мраке джунглей? Вспомнил ли, увидел ли он во сне ту страшную ночь плена, когда в красном дыме факелов среди огней и треска выстрелов, с диким криком за ним, за слоненком гнались голые черные люди? Или просто заболела спина, ушибленная тогда свалившимся деревом?

Утром каменно-прозрачные глаза попрежнему спокойно посматривали на зрителей. Слон принимал деньги и как ни в чем не бывало покупал на них картофель у нового служителя.

Этот не ругался никогда, не курил, чего Джолли терпеть не мог, говорил ровным, тихим голосом. И слон скоро стал понимать каждое его слово. Правую или левую ногу поднять? Показывать не надо, достаточно сказать, порядочный слон отчетливо знает, где право, где лево. Подвинуться на шаг, на два? Это как угодно. Взять человека хоботом и посадить себе на спину? Можно, очень просто, вот. Уйти совсем к себе в слоновью комнату? Извольте. Вернуться? Вот он тут, Джолли.

Слон, конечно, не говорил, но исполнял все приказания, сказанные даже шопотом. При виде служителя он всегда издавал звук, обозначающий удовольствие. Тот с своего любимца глаз не спускал.

— С Джолли дело неладно, — сказал, придя в контору зоопарка, служитель, — он по ночам плачет и все на спине у себя чего-то ищет. Хоботом шарит.

Плачет слон? Что же может быть у него на спине? Там гладко, нет никакого знака.

Собрали врачей, осмотрели драгоценное животное со всех сторон от хвоста до конца хобота, где шевелится странно-нежный палец. Слон послушно ложился, переворачивался с боку на бок, показывал подошвы и стигбы всех четырех ног. По серой спине ходили, стучали кулаками, ногами, становились на нее сразу четверо. Каменные глаза смотрели неподвижно, не дрогнуло в них ничто. Значит, все в порядке: нет боли. И кушает Джолли хорошо, и пьет, и все прочее, как полагается. Здоров слон.

Вдруг страшный рев опять взбудоражил ночь.

— Друг ты мой милый, — говорил, обнимая хобот, человек, — что с тобой? Вот беда! Ты все понимаешь, а тебя не понять.

Слон сидел и трубил. В джунглях слоны трубят, когда зовут на смертный бой соперников. Тут драться было не с кем, но слон видел перед собой смерть: задние ноги его не действовали. Он отказался от корма.

— Да ты хоть выпей, — жалобно повторял друг, — ну, выпей чуточку, Джоллинька!

И подставлял ведро. Но слон только дул на воду. К вечеру он стал на колени, простоял так часа два и повалился на бок.

Взошло солнце. Тучи мух жужжа вились над слоном. Он пролежал так, не двигаясь день и ночь.

— Пролежни образовались, — еще через сутки сказал врач, — везде, где складки кожи, у него теперь раны. Жарко. Тяжесть страшная. Спасенья нет, надо его усыпить.

Слон лежал спокойно. Неподвижно-каменный глаз его, прозрачный и светлый до какой-то жуткой глубины, не отрываясь смотрел на человека, державшего его за хобот.

Джоллинька, ну что уж тут, деваться некуда, прими лекарство, тебе легче будет, ну, сделай милость, выпей для меня, — плача уговаривал друг.

Слон повернулся, тяжело волоча безжизненный зад, стал на колени, взял хоботом из рук друга бутылку и вылил ее себе в рот. Отбросив пустую, он вытянул хобот и — звук чудовищной трубы на миг задрожал в воздухе. Глаза слона закрылись, шумный свист его дыхания заглушал жужжанье летучих роев, гудевших над серой тушей. Вдруг слышно стало только мух.

Слон покачнулся и опрокинулся на бок мертвый.

ВОЛЧЬЯ ЗАВОДЬ

I

Куда-то вдаль уходил отрог озера, загибаясь узкой длинной полосой воды в чашу кустов. Из рыбацкой лодки видно было только начало заводи, а в самый конец никак не удавалось заглянуть. Что там в этой зеленой заросли? Не плавают ли там в тишине лебеди? Не расхаживают ли там осторожные длинноногие журавли? Это они кричат оттуда странными голосами или какие-нибудь другие, необыкновенные, невиданные птицы?

— Ничего там нет, — сердито отплевывался старый рыбац, — утки туда не садятся, рыба не водится. Только волки там пьют.

Ну вот. Значит, так и есть: особенное место.

— А как это волки пьют?

— Обыкновенно. По-собачьи лакают. Да ты нишкни, сиди смирно, егoза. А не то прогоню и в лодку брать не буду.

Сияет в свежей зелени безоблачное утро, блестит озеро. Старик вытаскивает из водной глубины морды — остроконечные продолговатые корзины, — и в брызгах, сверкая чешуей, трепещут по дну лодки крупные рыбы. Вот окуни, пучеглазые, горбатые, с красными плавниками, вот лещ, золотистый, широкий как поднос. И щука плещет хвостом, раскрывает зубастую пасть. А в заводи-то что? Вот волков бы посмотреть.

— Незачем нам, паренек, в заводь ехать, — ворчит старик, — брось ты о ней думать. Тут лучше. Смотри, карасей-то что набилось. Наша рыба в тине живет, в грязи, потеплей любит, там ей не с чего жир нагулять: в углу-то вода холодная, чистая, ключи бьют.

— Дедушка, миленький, поедем в заводинку, посмотрим на волков. Они какие?

Рыбаку мои расспросы надоели.

— Мальчишка ты не маленький, — сказал он, — а дурак. Ну мыслимое ли дело волка летом увидеть! Он и осенью-то сквозь голые кусты на глазах у тебя мышью прошмыгнет, не заметишь, а теперь везде лист, трава. Молчи, а не то прогоню.

II

— К Долгому озеру в конец с берега попасть знаешь? — спросил я Степку-подпаска.

Он не раз водил меня в пойме по глухим тропинкам, показывал утиньи лужи.

— В Волчью-то заводь, — ухмыльнулся Степка, — как не знать. Тебе туда зачем?

— Мое дело. Сведешь?

— Очень даже просто. С гати, с коровьего гона, тут тебе и ход. Пойдем. Вот сюда полезай, — сказал Степка, — мое дело показать, а вылезешь ли назад, — не знаю. Съедят того и гляди.

Он указывал на какую-то прогалину между кустами, где виднелась болотистая тропинка, уводившая в чащу. Тут можно пробраться к заводу. Сюда удирают волки, когда за ними гонятся пастухи, тут где-то волчьи гнезда.

— А это что?

Через несколько шагов зияла другая дыра.

— Да то же. Лаз. Их тут много. В какой ни влезь, все там будешь. А вот вылезти оттуда...

— Ты сам-то их не видал? Может, врешь?

— Вона. Сколько раз. Он ничего, волк-то, он человека зря не трогает. На него только чуть, он бежать. Ну, к гнезду не лазим, нельзя, не полагается. Ежели их на гнезде-то тронуть, они такого зададут. Куда, куда ты завязла, козья душа! — закричал Степка.

И побежал выручать из грязи козу.

III

Густые кусты тянулись вдоль всей гати. Кое-где под нижними ветвями виднелись темные дыры. Вот они, волчьи тропы, отпечатки когтистых лап на грязи у входов. Волки ли наследили? А вдруг просто собаки набегали?

Тут по гати, по протоптанной скотом среди кочек болота дороге, местами кое-как замощенной хворостом, утром в пойму, вечером обратно в деревню тяжело бредет стадо, тут спутаны, сбиты сотни различных следов.

Степка бегал в сторону от гати то за коровой, то за овцой, хлопал кнутом, свистел, орал, подмигивал на заросль:

— Ну как, слазил? Нет? На словах-то боек, а тут, небось, скис. Фью-ю!

Кусты стояли молчаливой зеленой стеной. Посвистывали тонко маленькие кулики, кричали разными голосами утки, глухо стонала выпь, водяной бык. Кряковая утка, взяв клювом за шею каждого утенка, перенесла их с десятков пуховых, зеленых через колдобину и, озабоченно побрякивая, пошла дальше; весь выводок пища ковылял за ней. А волки? Никогда их не видать, не слышать.

Вранье, должно быть.

IV

На утренней заре, в час тумана, тишины и сна я вошел в узкий ход между кустами, раздвигая влажные от росы ветви. Скоро пришлось нагнуться: зеленый свод повис над головой, роняя холодные капли. Молотом колотилось сердце, но я полз, в смутном ужасе протягивая ружье вперед. Скользко, мокро, грязно, рои мелких мошек отвратительно лезут в лицо, какие-то мягкие нитки тянутся, паутина, плесень, что ли, гадость такая, и пахнет скверно, гнилью. Но ни звука, ни движения. Где же кости, черепа, остатки растерзанных животных? Только липкая грязь и пронизывающая сырость.

А за кустами широкий зеленый луг и полоса воды, наполненная темно-красными отблесками. Вот он, таинственный угол, конец озера. Травы тут растут, не смятые, не тронутые никогда никем.

Ну какие тут звери! Я, закинув ружье за плечо, походил по крепкому сухому краю берега. Видно было, как из темной глубины, точно серебряная, всплывает рыба — бульк! — ловит мошку.

Сердитый вылез я сквозь мокрые кусты обратно на гать. Там тяжело, грязно шло привычной дорогой стадо. Мычанье, крик, ругань, бряканье колокольцов, шлепающая беготня по лужам, резкий запах коз, хрюкают свиньи. И Степка хлопает, свистит, орет, хохочет:

— Ну как, слазил? Видал? Никого не видал? Да где тебе. Тетеря.

— Проваливай, — ответил я со злостью, — сам ты все только врешь.

Степка, ругаясь, убежал за стадом, а я пошел домой. Мне было очень досадно. Такое таинственное место и ничего страшного.

V

Зазолотились листья, запахло яблоками в лесу, но дни стояли жаркие, ясные. Я охотился без собаки и не лазил больше по лужам, вода стала холодна, уток я поджидал на кормежке. Случалось все-таки провалиться в болото, зачерпнуть в сапоги, тогда сушиться, отдышаться, пить, есть я отправлялся за оградой из кустов, к ручью, ниспадавшему пенистой лентой с уступа берега в озеро. Там в большом кусте, одиноко стоявшем почти у воды, я связал верхние ветви, а на них навалил грудой хворост. Дождь почти не пробивал этой крыши. Жестяной чайник, охотничья сумка, кафтан часто оставались в убежище, никто их не трогал.

В туманное росистое утро я, мимоходом затаившись между кочками неподалеку от гати, удачно подстерег на луже уток и убил пять больших кряковых. А на охоту я шел в другой конец поймы, — не тащить же этакую тяжесть. И я ушел, развесив неожиданную добычу в своем кусте. Когда я возвратился перед вечером, на бечевке висели лишь три красные лапы.

Кто тут был, кто взял уток?

Уж не волки ли в самом деле, человек-вор унес бы все с бечевкой.

Эти оторванные утиные лапы меня и встревожили, и напугали, и обрадовали: значит, что-то тут есть.

Мне иногда казалось, что кто-то шныряет в густой заросли по краю лужайки. Какие-то тени как будто неслись, мелькали там. Шуршал лист, трещала чуть-чуть ветка. Ветер их шевелит? Не чудится ли мне после рассказней о волках?

Опять тишина, никого, ничего, ни движения, ни звука. Только ключ журча лепечет, да его пена белая вечно тянется в озеро.

VI

Скучно и трудно охотиться без собаки. Я стал нанимать каких попало за пятак, подманивал подачками бродячих. Одну, по имени Мальчик, я купил за тридцать копеек. Это был плутишка и вор, но очень послушный песик. На нескольких охотах он служил отлично. Шли мы почти всегда по гати, через коровий гон. До дома отсюда еще далеко, жажда мучит после долгого похода, а

вода кругом только болотная: прозрачный, чистый, холодный ключ журчит там, у заводи.

И возвращаясь с удачной охоты, измученный, счастливый, — две связки уток висели у меня за плечами — я, забираясь с гати в кусты, крикнул:

— Эй, Мальчик, сюда, за мной!

С половины темной дороги я вернулся: нет собачонки.

Мальчик сидел среди гати на грязи и визжал, точно его пбили. Я подошел, погладил его, он лизнул мне руку, ласкался, бегал, но не переставал скулить с поджатым хвостом.

— За мной, за мной, — твердил я, таща его за шиворот.

Вся шерсть его встала дыбом, он рычал, огрызался, лякал зубами, смиренный, покорный Мальчик.

— Не слушаться, я тебя, дрянь!

Уцепив ремнем за шею, я приволок его сквозь кусты на лужайку к ручью и тут отпустил. Он прижался к моим ногам. Я потрепал его по голове.

— Ну, ну, — повторял я, — ну, дурачок. Не бойся, ничего тут нет.

Но он дрожал.

В кустах тянулись, вились облачками полупрозрачные белые клочья, все молчало. Быстрые крылья часто свистели в вышине, но утиные стаи неслись, даже не снижаясь, над пустынным уголком. Откуда-то все утки знали, что тут вода слишком чиста и холодна.

Я напился из ключа, отдохнул, взвалил на плечи свою добычу и, свистнув Мальчику, выбрался сквозь черную чащу кустов на гать.

Тени вечера ползли по земле, туман клубился над болотом, растрепанными красными перьями висели редкие облака, дымно догорал край неба. Я шел по гати и вдруг заметил, что Мальчика нет. Тоскливый вой донесся откуда-то из темноседой мглы. Я не остановился. Всякая скотинка сама домой бегаёт, а собака должна найти дорогу.

Бедняга Мальчик: он не вернулся, и больше никто его не видал.

— Скормил собаку волкам, — дразнил меня Степка, — охотник тоже. Тетеря, тетеря!

— Помалкивай, — огрызался я, — собака, может, сама пропала, а вот жеребенка кусуновского средь бела дня кто прозевал? Все видели. Подпaska-то, говорят, драли.

VII

Я прилег на берегу озера и задремал. Сладко спится под плеск воды: струя, набегая, не то шелестит, как трава, не то шепчет. Я ничего не видал во сне, но вдруг проснулся в испуге, будто толкнул кто.

В пяти шагах от меня стоял волк, и, слегка наклонив голову, спокойно смотрел мне в лицо.

Я шевельнул пальцами, желая протянуть руку за ружьем, и в тот же миг волк исчез. Куда? Кусты шагов за тридцать, не мог же он перемахнуть туда одним скачком.

Уж не приснились ли мне эти чуть дрогнувшие остро стоящие уши, почти белый подгрудок, неизъяснимо странные искры, этот жуткий, острый, дикий взгляд светложелтых глаз?

Был тут волк или не был?

Вот отпечаток четырех лап, в страшном прыжке взбудораживших песок. Нет, это не собачий след: тут когти сжаты узко, тесно, они впились глубоко, тут почти не видно круглой мякоти пальцев, как у собаки.

Это волк, волк приходил. Они есть, они живут тут, волки, и я дождусь, я подстерегу их во что бы то ни стало.

VIII

Степка стал моим врагом.

— Эй, охотник, — кричал он при всякой встрече, — к волкам собак водит. Ха, ха, целое лето караулил, ни одного не видал!

— Видел, видел!

И я пытался рассказать про волка.

— Ну да, как же, — горланил Степка, — станет волк на тебя, на сонную те-терю, глядеть. Он бы тебя за пузо сгреб. Все врешь.

Стадо перестали выгонять, пойма пожелтела. Я все-таки ежедневно проби-рался по пустынной гати к своему кусту у озера. Края его замерзли. Но как я ни смотрел, как ни слушал, волков не было. По сугробам туда не пролезть. Весной, едва стало слышно, что через коровий гон можно кое-как пробраться, я зашагал к гати.

— Это куда, стрелок? — спросил деревенский охотник. — За селезнями, что ли?

— На волков.

— Ну и дурак.

Я продолжал игти, не очень довольный. Охотник догнал меня смеясь:

— Слушай, малый. Глупишь ведь, давно глупишь. Не выйдет к тебе волк никогда.

— А вот вышел.

— Пустое. Этак не называется выйти. Тебя волки видят, а ты их нет. Неужели непонятно?

— Так как же быть?

— Ты закрышку сделай, загородку, шалаш, что ли, да пададь клади: соба-ку, кошку дохлую принеси, ворон настреляй. Сам не показывайся, ни-ни. При-выкнут, станут днем приманку жрать, тогда пали. А по-твоему, по-дурацки, хоть всю жизнь сиди, ничего не будет.

IX

Куст мой в тот же день превратился в шалаш, я забил его хворостом, но легко сказать: принести сюда дохлятину. Откуда? Ворон у озера также нет, они около деревни летают. Там их стрелять, от Степки не скрыться, засмеет, прохо-да не даст, негодяй.

Промыслив кое-как двух ворон, я бросил их перед шалашом. Ночью вороны исчезли бесследно. Я принес к шалашу крысу, завернутую в газету; утром осталась только газета, в следующую ночь унесли и ее. Ну, постой. Я крепко привязал трех ворон к толстому обрубку и бросил так близко, что палкой можно было достать из шалаша. Всю свежую весеннюю ночь я продрожал, терпеливо поджидая. Сова размахивала лохматыми крыльями. Какие-то серые тени мелькали по лужайке в предрассветном сумраке. В болоте дико ухал филин, и эхо откликалось на странный звук. Кто-то как будто выл в кустах, лазил там в темной чаще. Или тут перед шалашом какая-то возня? В тягостном полусне в темноте все смутно, непонятно. Но в свете утра ясно: нет ни ворон, ни даже обрубка.

Измученный, промокший, дрожа от холода, выполз я из кустов на гать.

Что за неистовый крик сверлит воздух? Поросята режут, с живого жеребенка сдирают кожу? Какой-то пестрый, полосатый ком, подпрыгивая, катится, несетя по грязи. Поросята, да, да, поросята, а рядом с ним, вцепившись в его ухо, скачет крупный серый зверь.

И позабыв, что у меня в руках ружье, я изо всех сил для чего-то заорал:

— Волк, волк! О-го-го, волк!

Поросята визжали, верещали, но прыгали, а зверь, даже не оглянувшись на меня, продолжал тащить его за ухо, и серый лохматый хвост его, загибаясь, хлестал по поросятам, как кнут. В кустах исчезло все: и поросята, и страшный его погонщик.

— Держи, лови, бей! — вопил откуда-то выскочивший Степка.

Он остановился, задыхаясь, у прогалины в кустах.

— Здесь? Сюда угнала? Волчица. Трое суток, проклятая, около стада лазила, все-таки схватила. Ты чего смотрел? У тебя в ружье-то что?

— Картечь.

— Дура. Навоз там. Давай сюда ружье.

— А это видал?

Я в негодовании показал кукиш. Отдать оружие — да ни за что!

Степка сорвал с головы шапку, швырнул ее мне под ноги в грязь.

— Пропади ты пропадом, — начал он, — провались...

И вдруг заплакал, зарыдал:

— Опять меня пороть, значит. А я чем виноват, я что ей палкой сделаю?

Она заест там у гнезда-то.

Поросячий визг перешел в какой-то писк, заглушенный клопочущим ворчаньем, и вдруг оборвался.

— Зарезала! — простонал Степка. — Крышка, выпорют.

— Нечего хныкать, — сказал я чуть не плача, — идем вместе. Ты покажи куда, а я запалю.

— А не врешь? Не промажешь? Ну ладно. Только чур: гляди в оба.

Х

Мы дружно вступили в грязно-тенистый ход среди ветвей.

— Зла она, — шептал, ползя, Степка, — осатанела вовсе от голода. На кобылу вчера средь бела дня бросалась.

— А где у нее гнездо, ты знаешь?

— Еще бы не знать. Прямо за ручьем, в яме. Сколько годов тут. Гляди, она.

Среди лужайки на совсем открытом месте, припав на передние лапы, что-то делала волчица. Голова ее была от нас закрыта поросенком, виднелись только часть спины и хвост, махавший скоро-скоро.

Стрелять? Так далеко? А вдруг пролетит мимо единственный заряд?

— Вот что, — хрипел Степка, — жрет она, нас не видит. Мы подбежим, я на нее чукну, а ты пали. Ну, раз, два, три!

Мы выскочили из кустов и понеслись по луку. Но вместо того, чтобы кинуться от нас наутек, волчица, подняв окровавленную морду, завывала жалобно и протяжно. Она видела ружье, но не имела сил отцепить лапы от своей добычи. Четыре рыже-серых пушистых комка копошились у задних ног волчицы. Щенята, скуля, трепали ее иссохшие от голода сосцы, пока она спешила нахвататься пищи, закопавшись носом в растерзанное брюхо поросенка.

— стыдно... матку... охотнику бить, — пробормотал я, задыхаясь от жалости, — бери ружье, Степка, стреляй.

— Ишь ты, — вздыхал он, — махонькие, голодные вовсе. Навстречу выбежали. Тоже заботится матка-то.

И он побежал обратно к стене кустов, я за ним.

На гати он поднял и надел свою грязную промокшую шапку.

— Про все про это никому не сказывай, — сурово обратился он ко мне, — а то бить меня будут.

— Так ведь все равно, поросенок пропал.

— За него выпорют, без этого нельзя, обыкновенно. А коли узнают, что мы его волчице бросили, тогда бить. Это другое дело.

— Вот что, — сказал я, не зная, как утешить недавнего врага, — убью я, Степан, большого волка и тебе его подарю, а ты продашь шкуру.

Степка взялся за бока и даже присел от смеха.

— Ну, ну, — пропыхтел он наконец, — ну, спасибо. Ладно, коли так. Прощай.

XI

Степка рассказал мне, что на дьячковом огороде валяется дохлая кошка. Я стащил ее к своему шалашу, а волки съели. Я их не видал, но часто слышал возню, грызню, визг, вой в глуши отдаленных кустов за ручьем. Звери обнаглели, привыкли к шалашу: я торчал в нем дни и ночи, в холод и дождь.

Встретив меня под деревней, Степка таинственно подмигнул:

— У бабки Анисьи, у солдатки, телка вот-вот околеет. Четвертый день в стадо не гоняет.

— Ну?

— За грош уступит. Подходящее дело. Пуда на три будет с лишком.

— Не стащить. Далеко.

— Передок достану, свезем.

Белая телка, толсто раздувшаяся перед смертью, привязанная к оси на двух колесах, приехала в вечернем сумраке к кустам у гати. Вдвоем мы волокли ее до ночи через кусты. Степка ушел, я остался.

Волчья стая явилась немедленно, вместе с темнотой. Белая туша еле виднелась смутным пятном, а черные тени кругом нее метались, скакали, выли, дрались, грызли, чавкали.

Как стрелять ночью в тень?

Я ждал света: всего не сожрут, придут днем. Всю ночь около меня возились и грызлись звери. Под звуки жрания и драки я долго дрожал от страха, холода, нетерпения и все-таки, кажется, дремал. Все стихло в тумане, в сырости, в темноте.

Едва вылез, сверкнув, из-за озера край солнца, я посмотрел сквозь ветви шалаша. Там, где с вечной своей песней падал и пенился ключ, три волка, припав на передние лапы, почти лежа рядом, лакали воду. Они мне были видны все до шерстинки, их оскаленные зубы, их жадно шлепавшие розовые языки. Два волка поменьше, один большой, седой совсем близко. Я прицелился ему в ухо и выстрелил. Два подпрыгнули, рывкнули с визгом и, пока рассеивалось облачко дыма, куда-то исчезли. Огромный старый волк, поникнув разбитой головой на лапы, как будто к чему-то прислушивался торчащим другим неповрежденным ухом. Он был убит наповал.

ДИКИЙ ЧЕЛОВЕК

I

— Дедушка, можно мне малость обсушиться у твоего огня?

Старик, сидевший у костра, взглянул на меня злыми серыми глазами и ничего не ответил. Я вошел под навес, поставил ружье, сел на обрубок и стал развязывать поршень.

— Пошел вон! — резко закричал старик и, видя, что я с недоумением поднял на него глаза, объяснил: — Тебе говорю, тебе. Пшел!

— Вот свинья, — проговорил я, вставая, — что же, тебе убыток, что ли, будет? А впрочем, чорт с тобой. Тьфу!

И я вышел под дождь, который лил с утра. Провалившись в болото несколько раз, я давно был мокр насквозь по самую грудь, так что дождь меня огорчал мало. Но все-таки непросыхавшая одежда начинала надоедать, а главное — на огне стояла большая сковорода. Там в бурой жидкости бурля кипели какие-то куски. Воспоминание об их запахе мучило невыносимо.

Промотавшись еще часа два попусту, я вышел на дорогу и злобно зашагал к костру. Решено: я там обсушусь во что бы то ни стало и... быть может, съем, что варилось в сковороде, а старика в крайнем случае прогоню.

Однако у догорающего костра никого не оказалось, и, что хуже всего, сковороды на костре уже не было. Значит, оставалось только обсушиться. Я подбросил в костер дров, снял с себя одежду и стал ее просушивать.

— Э-э, голубок, вернулся? Вот спасибо. Я ведь искать тебя хотел итти. Сушись, сушишь на здоровье!

Старик стоял рядом и улыбался очень ласково.

— Все-таки ты свинья, — сказал я сурово, злясь на исчезновение сковороды, — как же так гнать на дождь мокрого человека? Свинья.

— Да, голубок ты мой милый, я тогда трезвый был, а ко мне к трезвому лучше не ходи никто. Терпеть не могу.

— Что же, с тех пор разве нализаться успел?

— Выпил, конечно, выпил, Шошо принесла. Шошо, эй, Шошо! Иди сюда скорей!

Тут я догадался, куда я попал.

— Ты Ванька Александров?

— Я, голубок. Я самый и есть. А-ха-ха! Шошо, иди, што ль!

В зеленом холме между двумя исполинскими соснами открылась деревянная дверь, и из землянки слышался женский голос:

— Я бы пришла, Александрыч, да мне совестно: вон он какой!

Я, совершенно голый, чувствовал себя не очень ловко, но мокрое платье невозможно было надеть. Старику все это, видимо, доставляло большое удовольствие. Ругаясь и гнусно хихикая, он выгнал из землянки маленькую женщину, заставил ее принести желанную сковороду с кусками дичи, поставить на огонь чайник и лишь тогда сжалился:

— Ну, теперь пошла, принеси мою шинель. Да живо! Малый-то, чай, во как жрать хочет.

Подавая мне ветхую солдатскую шинель, Шошо для приличия закрывалась рукавом, но, повидимому, особенного смущения не испытывала.

Невообразимо вкусными показались мне эти куски уток, тетеревей, картофеля, сала с луком и с какими-то красноватыми стручками.

Никогда нигде ничего в жизни я не поглощал с таким яростным наслаждением. Но когда я наглотался, я почувствовал, что горло и внутренности мои горят. Хотелось кричать, бежать, выть, кататься по мокрой траве. Напрасно я пил холодную воду, горячий чай, ел бруснику. Ничто не помогало.

— О-хо-хо, а-ха-ха! — радостно хохотал проклятый старик. — Пьяница я, голубок, старый горький пьяница. Все ем с перцем. Люблю с перцем. А тебе-то оно, конечно, того. А-ха-ха! Шошо, беги за молоком, живо, а то околет.

Он пил водку, курил, хохотал и ругался отчаянно.

— Ну, как? Очухался? Нет? Ха-ха! Да ты хлопни стаканчик — свет увидишь. Шошо, поднеси ему спотыкаловки.

В отчаянии я хватил полчашки водки, и — удивительное дело — один огонь потушил другой: мне стало лучше.

Старик торжествовал:

— Уж я знаю, что говорю. Нацеди-ка и мне. Ха-ха! Теперь без перца зажарить можно. Поворачивайся, Шошо! Глухарку накроши, а то тетерек пару.

— У тебя что же, склад дичи, что ли?

— А нельзя, голубок, иначе. Верно: склад, ледник.

— Из озера льдом набиваешь?

— Вот еще, стану я возиться. У меня живой лед сам течет. Слышишь, булькает?

Лепет непрестанно падающей струи доносился откуда-то из-за деревьев.

— Ключ? Нельзя же в воде долго птицу держать.

— Понимаем сами. Пойдем, гляди.

Длинная узкая двухскатная крыша из дерна поставлена прямо на землю. Сыро, темно и холодно после распаренной влажности летнего дождя. Огромная колода, выдолбленная из цельного дерева, а в ней ряд каких-то горшков.

— Сунь руку в корчагу. Не бойсь, не укусит.

— Да тут рыба?

— Без этого тоже нельзя. Окунь. Хочешь, сейчас уху сварим. Ты в другой, где воды-то нет, пошарь. Э, нет, не так, планку не тронь, а то выскочит.

— Кто?

— Корчага. Они друг дружкой держатся, а сверху каждую планка прижимает. Одну упусти — все расплывутся. Ну, полезай!

Я опустил руку в темную пустоту глиняной посуды. Там лежали ошипанные, выпотрошенные тушки птиц, холодные, точно со льда.

Блестя даже в полутьме, падала журчащая струя воды в широкий конец колоды.

— А чтобы через край не пошло, прорези сделаны, понял? Вот тебе и водопровод и ледник, видал? Умственно сделано: летом холодно, зимой ничего не мерзнет, а?

— Колоду часто менять приходится.

— Дуб, дурья голова. Только крепнет от воды-то, износу нет.

Мы выползли из-под дерновой крыши, и старик закрыл дверцу, туго скрипящую на деревянных петлях.

— Эй, Шошо, — закричал он, — готово кушанье, што ли? Вот я тебя!

Никто не отозвался. Но сковорода, отставленная от костра, вкусно шипела на угольях.

— Это, голубок, все? — спросил старик, подмигивая на мою добычу.

Несколько уток, затрепанных, затасканных по болотам, действительно имели жалкий вид.

— Вот я тебе, голубок, уток дам. А это — тьфу! Поедем, ружья не надо.

Мы сели в челнок, переплыли через озеро и въехали в прогалину между спутавшихся над водой ветвей. Какой зеленоватый сумрак, какой странный острый запах. Челнок чуть слышно шелестит по широким листьям кувшинок. Вдруг что-то завозилось, шумно вскинулось с воды, шлепнулось обратно, огромное черное захлопало, заплескало крыльями, закричало десятками отчаянных утиных голосов. Старик хохотал, ругался, что-то хватал, грыз, плевался, кидал что-то в челнок. Когда мы выбрались на простор озера, освещенного заходящим солнцем, середина нашего ботника была завалена грудой уток.

— О-го-го! — орал старик. — На чорта мне твое ружье? Видал охоту? А-ха-ха!

Он на крючки насаживал внутренности рыб, крючки на тонких бечевках привязывал к длинной веревке и протягивал эту зверскую снасть там, где любил садиться утки.

Жадные глупые птицы глотали плавающую приманку и затем уже сидели смиренно на крючках, пока не подъезжал к ним их палач. Тогда напрасно они кричали, ныряли и метались, связанные всем табуном. Он хладнокровно вылавливал их одну за другой, прокусывал каждой затылок и бросал их в челнок.

— Мне чужой дичи не нужно, — сказал я на берегу, — гадость какая — уток на крючки ловить. Смотреть даже больше не хочу.

— Вот на! — отвечал рыбак, вытаращив глаза. — Не чужая птица. Я тебе уток подарил. Кому хочешь, скажи, они не краденые. И не давленные они, все одно, как стреляные, не сомневайся: первый сорт!

— Ты, дед, меня не понимаешь.

— Где понять! Ты приходи еще. Только я тебе, голубок, скажу: этак вдруг ты ко мне не выскакивай, издали покличь сперва. А то на трезвого попадешь, как на грех, влеплю я тебе за другого.

Теперь уже я не понимал его. Но расстались мы приятелями.

II

По деревням я слышал: да, где-то в углу между трех озер живет Ванька Александров. Ругатель, злой, сумасброд, чуть ли не сумасшедший, он ни властей, ни законов не признает, в деревню не ходит, к себе никого не пускает: как кто идет, он стрелять.

Ну, никто и не ходит. Запалит так-то сдуру, — ищи с него потом. Да и ходить не стоит: взять с него, с пьяницы, нечего.

Приближаясь к шалаге нового знакомого, я крикнул:

— Гоп!

Нет ответа. Тонкими злющими голосами наперебой кричат чайки, должно быть, дерутся. Могучей влагой веет от леса. Озеро близко. Еще несколько шагов, — я слышу, как ключ лепечет глухо.

«А вдруг запалит сдуру? Ищи с него потом!»

— О-го, Иван! Гоп-гоп! Эй, Иван!

— Да тут я, голубок. Не расстраивайся уж слишком-то: вот я.

Радостно кивает головой Ванька, но пьяная красная рожа его кривится насмешливо. От зорких глаз старика не укрылось, что я вздрогнул, когда он вынырнул около меня.

— Чего подкрадываешься, как вор?

— А-ха-ха! Голубеночек ты мой милый, я за тобой все утро хожу, а ты не видишь. Смеху-то что.

— Ври больше. Нашел слепого!

— Ну, как же. На Черненькой по кряквам промазал — раз. На гари к глухарке к холостой подобрался было, да улетела — два. У гатей бог на шапку послал: чирята попались, хи, хи, хи! Правда?

— Делать-то тебе нечего, вот и шляешься. Надзиратель!

Мне было очень досадно, а старик хохотал до слез.

У шалаги, пока на костре закипал чайник, старик выпил еще водки и раскис.

Я думал, что он осовеет и заснет, но он вдруг вскочил.

— Хочешь, к глухарю сведу?

— В жарошцу-то? Брось, ложись спать. Глухарь сейчас в чапыге. Подобраться невозможно.

— Дураку, конечно, нельзя, а который поумнее, так тому очень просто. За хвост пымаю. Глухарь теперь спит и нос повесил, как курица на гнезде.

— Врешь ты все, старый пьяница!

— Ничего не вру. Хочешь, сведу? Только, чур, команду слушать и не зевать: как тебя вперед пушу, так, значит, тут он и есть, глухарь.

Мы шли по лесу, жаркому, пышащему зноем, пахнущему медом, лезли по болоту в благоухании уже отцветших и опустившихся водяных трав и наконец остановились перед плотной стеной ельника, тянувшегося низкой зарослью и перепутанного с какими-то засохшими кустами.

Под ногами хлюпала вода, везде лежали груды хвороста. Скользя, как тень, Ванька поднял ногу, показал пальцем на ее подошву и, сделав зверскую рожу, погрозил мне кулаком. Это обозначало, что я должен ступать за ним след в след и отнюдь не шуметь. Непостижимо, как он это делал. Он чуть ли не прыгал, сразмаху совал свои лапищи в кучи сучьев. Я из сил выбивался, стараясь подражать всем его движениям, становился на протоптанные им следы, и все-таки сучья потрескивали у меня под ногами.

Вдруг Ванька согнулся, почти лег и уклонился в сторону. Я шагнул, занял его место, но ничего, кроме чапыги, не видел.

— Стреляй же, стреляй, сукин сын! — донесся до меня свистящий шопот.

В тот же миг в пяти шагах передо мной огромная черная кочка взорвалась с оглушительным треском, захлопала крыльями, свалилась за куст и улетела. Страшный удар ошеломил меня по затылку.

— У, дурак, чорт! — орал Ванька, суя мне под нос кулаки. — Растяпа, чего тебе еще? К хвосту привел. Тьфу!

— Ты что же дерешься? Смотри, такой сдачи дам, что тут же околеешь, старый хрыч!

Но я чувствовал, что виноват-то я. Не мог же я сказать, что средь бела дня прямо под носом не рассмотрел глухаря.

III

Вскоре мне еще раз пришлось получить подзатыльник от Ваньки.

Привел он меня к месту, где много уток. С маленькой лужи, окруженной стеной старого леса, поднялся столбом утиный табун, и я отчетливо двумя выстрелами положил наповал двух кряковых. Дублет: шик. Вдруг — трах по затылку! Опять Ванька тычет в нос кулаком и орет:

— Да разве так делают? Води дурака, как нищего через канаву. Тьфу!

— Чего же еще надо? Ведь я убил двух?

— Двух! Стоило из-за двух сюда к лешему лазить. Тебя привели в хорошее место, так ты видишь: утки сидят, ну и жди, пока они лягушку найдут, станут из-за нее драться, тут ты по головам-то и ахни.

— А если они ее целый день не найдут, так мне все тут и сидеть?

— Так и сиди. Вот я Ваньку Глухого привел, так он бахнул, — четырнадцать штук перекувырнул. Да всё кряковье. А ты двух. Тьфу!

— Вранье. Нельзя сразу столько убить.

— Зачем убить? Только бы заранить, а потом пымать плевое дело.

Он совершенно просто делал то, что мне представлялось невозможным.

— Смотри, — кричал он, — разиня, не видишь: вон она нос высунула!

Он хватал мое ружье, наводил его, и тогда по стволам я улавливал на зеркале воды двигающуюся точку — клюв уплывавшей под водой утки.

— Бей!

Я палил в лужу. Из взбудораженной пены, в беспорядочных трепыханиях смерти, всплывала добитая птица.

По ничтожному колебанию верхушки у хрупкой длинной травы Ванька мгновенно подмечал, что под водой внизу у корня, судорожно перед смертью уцепившись за стебель, держится утка. Он подходил по грудь в воде и уверенно выдергивал намеченную хвощину с затаившейся уткой.

Он знал их всех, пернатых, одетых мехом или чешуей, со всеми их хитростями, он считал, что над всеми у него неограниченная власть: все, что в лесу, в воде, все ему принадлежало. Найдя пустой ловушку или сеть, Ванька обиженно удивлялся. Как же так? Хлопотал, ставил и — ничего?

Впрочем, редки были случаи неповиновения среди безмолвных подданных Ваньки. Всех их, плавающих, бегающих, летающих, всех он брал в руки, убивал и отсылал для обмена на водку.

— Мне выпить да прокормиться много ли надо, — объяснял он, — а в эту прорву, сколько ни кишь, все нехватит.

И он презрительно указывал на Шошо, нагружавшую кузов рыбой и дичью.

— Я сам себе хозяин: хочу — работаю, не хочу — так шляюсь. Вот как живу. У меня все есть. Одеяло есть, лампа, самовар. Тарелки есть, две. Клопы есть. Верно. Думаешь, хвастаю?

— Почему нет? Верю. Нашел чем хвастать.

— А как же. Значит, настоящий житель, коли клоп водится. Летом от него, от клопа-то, плохо. С весны, пока лист не облетит, вот тут под навесом ночью, а в холод без клопа скучно спать.

— И тараканы в землянке есть?

— Вот не люблю. Все одно, что баб. Терпеть не могу. Вымораживаю.

— А как же Шошо?

— Выгоняю. Пришла, справила свои дела и — чтоб духу бабьего не было, убирайся! Куда только она носит мои деньги? Ты не знаешь, голубок?

— Да будет тебе, Лександрыч, — кричала издали плачущая маленькая женщина, — сам себя срамит. Царица небесная, до последней копейки все ему несует. Бессовестный, бесстыжие твои глаза!

— Я тебя сегодня еще не избил? — спрашивал он с важностью. — Беги, пока цела, стерва!

IV

Откуда, когда появился Ванька Александров? Кто его так назвал? Почему он не влюбил человека? И что, кроме водки, он любил? Бесплезно было расспрашивать. В любом селении на два дня пути все знали, что Ванька в пойме давным-давно живет, молодым его никто не видывал. Всегда он пьян и ругается. Никто его не знает. Может, и вор. Однако не слышать, чтобы спер что или спалил, а то бы прикончили.

О жизни тех, кого он убивал для того, чтобы пропить, Ванька говорил просто, ясно и правдиво. Про себя он рассказывал охотно, но врал неистово, нахально, вдохновенно: сейчас одно, а через полчаса по-другому. Уличенный в том, что соврал, он не оправдывался, не выкручивался, а спокойно отрицал начисто: нет, он так не говорил. И плел по-третьему.

Он зубами ломал затылок подранку не только птице, но и зайцу. Напрасно пытался я его пристыдить.

— Пустое это все, — отвечал он, сплевывая кровь, — из ружья убить — это, вишь, ничего, можно, а на зуб взять — это жалко. Он тебе разве сказывал, заяц-то, что ему не все равно, как околеть? Нет у меня никакой жалости.

Шапки он не носил. Вдруг сидит у костра, конечно, пьяный, в каком-то широкополом колпаке из соломы.

— Это что за шляпа?

— Мед вынимать иду. Не накрыться, так запутается пчела в волосах, удавится. Жалко.

— Вон что. А человека загрызть можешь?

Не знаю, что толкнуло меня на странный вопрос, но больше никогда не видел я такой злобы. Ванька побагровел, подпрыгнул, зарычал:

— Прочь пошел! До смерти убью! Допросчик, а? Я те выучу. А хоть загрыз. Тебе какое дело? Паскуда! Давно бы у меня в болоте сгнил!

— Что, что? Ах, ты, пьяная харя!

Я схватил ружье.

Он кинулся в лес, ругаясь и угрожая. Я поспешил уйти: не вступать же в перестрелку с пьяным. Да из-за чего? Что шевельнул я нечаянно в этой дикой душе, какие разбудил мысли, воспоминания?

Конечно, чепуха: не может быть, чтобы Ванька загрыз человека.

На следующее утро в избушку, где я жил, явилась Шошо:

— Вот Александрыч грибов прислал, ягод, рыбки. Он, кажись, с пьяных глаз вчера неладно что-то крикнул, так уж очень просит зла не помнить.

Через день я сидел у шалаги у костра с Ванькой, пьяным выше всякой меры.

— Убивец я, голубок, страшный убивец. Тут их много у меня позакопано. Хошь, черепа достану, покажу?

— Не хочу. Ты бы лег лучше.

— Верно говорю. А живые покойники каждый праздник на паперти милостыню просят. Тоже моя работа.

— Будет вздор молоть. Поди проспись.

— Фильку с Митькой знаешь? Нищих-то братьев Давыдовских с выбитыми бельмами? Да еще Никитка был, тот дальний, из-за реки. Вот они меня пымали, сгребли да поджаривают. Говори им, где деньги.

— Что врешь? Как так человека поджаривать?

— Обыкновенно, как. Угольков горящих под разные места. «Сказывай, таковой-сякой, где деньги?» Тут скажешь. Однако я их улестил. «Денег, — говорю, — голубки, у меня никаких нет, а водки много». Повели на веревке, показывай им, где водка. Выкопали четверть. Хлопнули по стакану. Понравилось им, вижу. Разморило их с голодухи. «Голубочки, — говорю, — ведь у меня не то что водка, ром есть, в дупле висит, дозвольте, миленькие, достать, на сосну слазить». — «Полезай, — говорят, — тебе оттуда все одно наших рук не миновать». Влез я да сверху-то и говорю: «Я вам, подлецам, сейчас такого рому всыплю, что до своей до собачьей смерти не позабудете!» Они туды, сюды. «Спалим, — кричат, — живьем зажарим!» Костер давай класть под сосной. Ко мне не суются, понимают, чем оно пахнет: стукну по башке — дух вон. А у меня к дуплу-то надолба, там ружье завсегда. Смеются, кричат: «Ты, Акилов, на ветерке посиди, прохладись, а мы пока что выпьем». Мне их из темноты-то во как видать. Подождал, струдились этак они к огоньку, тут я их по мордам-то и хлестанул. Вытъя-то что, крику-то, у, у, у! Реветь принялись, валяются, прощенья просят. Ну, мне что ж. «Идите, — говорю, — с богом, бог вас простит». Двое на карачках уползли. Дальний-то, из-за реки который, тот окачурился. Да, Никитку-то Митькой звали. О-хо-хо! Крышка, брат! Всыпал! Отучил всех. Буде, полно ходить Акилова грабить.

Он напряженно смотрел в костер.

— Кого же ты еще позакопал? Все равно уж, вываливай весь мешок, а?

Ответа не последовало. Ванька сидел, раскрыв рот: заснул на полуслове.

Я снял чайник с огня, звякал посудой, пил, ел. Ванька все спал, как младенец, дышал ровно и даже улыбался во сне.

— Твоя фамилия Акилов? — спросил я, когда Ванька стал выгребать уголек для трубки.

— Брехня, — нахмурился Ванька, — нет у меня никакой фамилии. На кой мне она, фамилия-то? Это за рекой, в Мокеве, далеко, там есть Акиловы.

— А Фильку с Митькой знаешь?

— Попрошаек-то? Как же. Лодыри, пьяницы.

— А ты не тянешь, нет?

— Я? Совсем другое дело. Я на свои пью. А те по всей местности первые воры.

— Как же без глаз воровать?

— Слепые они, да не вовсе. Видят, жулье, притворяются.

— Где они в такую беду попали?

— Мудреное ли дело пьяному обгореть. А врут: на пожаре, вишь, матка их маленькими сожгла. Ты не верь, голубок, что люди болтают. И мне не верь. Я спяна иной раз такое плету, что сам не знаю, откуда оно берется.

Мне хотелось порасспросить про Никитку из-за реки, но я не посмел. Да и к чему? Удивительно изуродованные лица двух калек, плаксиво клянчащих под окнами, и необыкновенные заскорузлые болячки, какие-то багрово-синие скрученные желваки на спине у Ваньки — я их видел и не понимал.

Теперь понял.

V

При мне Ванька бивал свою подругу чем и как попало совсем ни за что. Когда-то он же выбил ей передние зубы, и с тех пор она, утратив имя, получила свое прозвище.

Какая тайна привязывала миловидную нестарую женщину к грязному старику?

Шошо через весенние болота, под холодным дождем осени, зимой на лыжах несла ему водку.

— Запас держать нельзя, — объяснял Ванька, — пронюхают пьяницы, отымут. А ей делать нечего, шляйся да шляйся.

Бедняжка иной раз суетилась около шалаги от зари до зари.

— Вот еще, — хохотал Ванька, запихивая в рот огурец с медом, — стану я таким заниматься. Мне выпить, а это тьфу! У нее все свое. Да не развалится и купить на крысьи деньги.

— На какие?

— А лазит тут мелочь разная, хорьки да норки да еще полосатые какие-то. Так она плашек наставит — в зиму-то, поди, на полсотни их наловит. Путная баба хорошую шубу давно справила бы, а эта все хахалям своим тащит.

— Кто, Шошо?

— Она самая. Потаскуха. Подлей ее на свете нет!

И, схватив головешку из огня, он кидал в маленькую женщину, пробегающую мимо.

— Загаси, — орал он, безобразно ругаясь, — еще пожар из-за тебя, из-за чорта, сделаешь. Ну!

Ежась, криво улыбаясь, плача, затаптывая босыми ногами, посыпая песком пылающий уголь, Шошо спешила дальше.

Мыть, зашивать лохмотья, чистить рыбу, сдирать шкурки, щипать птицу, стряпать, рубить на дрова хворост, собирать грибы и ягоды, — что еще? Когда все дела сделаны, Шошо нагружала на себя короба, кузова, корзины, кошелки и ночью из лесу тащилась в деревню.

В крошечной избушке у Шошо вся, точно кукольная, утварь сверкает чистотой. Хозяйка занята угощениями: варенье, ситник какой-то необыкновенный, лепешки, пряники.

Шошо строчила полотенца, вышивала, имела швейную машину. Она вполне могла жить самостоятельно. И что-то гнало ее в лес к мрачному, вечно пьяному Ваньке. Возвращалась она всегда всклоченная, растрепанная, в синяках,

но, говоря о своем мучителе, она не имела других слов, кроме: «мой-то» да «Лександрыч».

Шошо погибла довольно скоро: она замерзла, возвращаясь домой. Труп ее, обглоданный лисицами, нашли в лесу, в сугробе. Крутом валялись остатки ее ноши, рыбы и тетеревей.

В первое же лето после этого происшествия я спросил вдовца, кто шьет ему рубахи и носит водку.

— Шляются, — отвечал он, презрительно хихикая, — отбоя от шлюх нет. Ведь у меня денег, что грязи. Тьфу!

— Что ж, ты и Шошо платил?

Он помолчал. И вдруг поднес кулаки к глазам, застонал, заохал, повалился ничком.

— Шошо! — твердил он сквозь рыдания. — Ох, Шошо! Та разве шлюха была? Та даром, голубка моя!

VI

Ванька жил безобразно долго. Впервые к его шалаге я вылез восемнадцатилетним парнем и нашел Ваньку седым. Наша дружба продолжалась много лет. Засеребрились у меня виски, а Ванька попрежнему прыгал, грыз и тряс шапкой седых кудрей.

Ночью в челноке по озеру он двигался с большей уверенностью, чем горожанин в комнате. Ванька не искал ощупью, а знал твердо, точно, отчетливо все камни, выступы дна или берега.

На свою добычу, рыбу или дичь, Ванька смотрел просто: товар для обмена на водку. Но пока заяц прыгал, тетерев летал, щука плавала на свободе, — охотничья страсть билась в Ваньке сильно. Он даром водил меня на отдаленные от шалаги вырубки, показывал только ему известные трущобы, возил в заводи, доступные лишь с челнока.

Деньги от меня он брал так вяло и, взяв, обращался с ними так небрежно, что я перестал давать полтинники, а собравшись с духом, преподнес пятерку.

— Ты, голубок, напрасно разоряешься, — загадочно усмехнулся Ванька, — спасибо, мне не нужно. Вот выпивахи принесешь, это я люблю.

— Так на пять-то рублей столько купишь, что и не донести.

— Купишь, купишь, — засмеялся он, злобно кривляясь и передразнивая, — купить-то я двухэтажный дом могу, да вот не желаю. Понял?

Нет, не понимаю. Но мне же выгоднее. Получай свою выпиваху, только не будь зол и груб.

В ту пору, когда в лесу начинает пахнуть яблоками, когда земля еще тепла, а вода похолодела и опускаются, увядая, травы болота, — ранней осенью восхитительны ночевки у шалаги.

Шепчет старый лес кругом, в темном небе золотистыми искрами несутся падушие звезды, озеро блещет чуть-чуть, дышит уже угрожающим холодком. Где-то в дальней заводи сонно бормочут гуси. А тут костер потрескивает, и тихо шипит сковорода.

— Хочешь денег? — огорошил меня Ванька. — Не знаю, чем еще гостя потчевать. Я сегодня именинник.

— Давай, — сказал я, чтобы отвязаться, — побольше да поскорей: спать пора.

— Принесу, ты не смейся. Только ты с места не сойдешь?

— Куда еще итти? За тобой смотреть? Очень ты мне нужен. Ложись лучше, пьяница!

Он убежал в лес или только вышел из света костра? Так сладостна истома первого сна. Я шел сюда целый день мимо цепи озер. Утиные стаи шумящим пологом крича снимались с воды. Черныш взорвался бомбой из куста, я повалил его над скошенным лугом. На пригорке у реки расселась пролетная стая ви-тютней. Далеко до них, не подобраться. Но как ярко их видно в блеске солнца! Кружатся, раскланиваются, воркуют неслыханными голосами.

— Ну, держи карман шире! Ничего не жаль для дружка. Ха-ха!

Старик с какой-то банкой в руках пляшет вокруг костра.

— Это разве не деньги? Сколько тебе? Хошь, пятьсот отсыплю и назад никогда не спрошу? Люблю я тебя, голубок, ух, люблю!

Он вытащил пук мелких бумажек, но виднелись и крупные кредитки.

— Где ты столько набрал? За уток да за лещей сотенными не платят.

Ванька перестал прыгать, и ястребиные глаза его впились в меня.

— В казначействе каких хошь наменяют, — проговорил он медленно, — коли дают, так бери, а бьют, так беги. Не желаешь, значит? Ну, кума с возу, куму легче.

Он, свернув, положил деньги в банку, заткнул ее тряпкой.

— Посидишь тут, голубок?

— А если я гулять желаю?

— Как бы не перекувырнуться. Лучше сиди.

Он убежал, странно хихикая.

— Обидел, во как обидел, — ворчал он, укладываясь на груду осоки, — сколько годов я его берегу, а он — вон что! Ну-ну...

Я, делая вид, что сплю, уснул, не заметив, как это случилось.

Мрачно раздувал Ванька серый пепел над углями костра. Он кряхтел, плевал, ругался.

Все сегодня сговорились устраивать ему, Ваньке, гадости. Чайник, подлец, два раза опрокинулся, чтоб ему, копченому подлецу, издохнуть. Разбилась чашка? Так, известная подлюга. Пусть летит в озеро, к дьяволу. Вот! И другую такую же туда же, к чертям! Да. Завтра он велит принести дюжину новых чашек, по-лучше, чем эти. Водка, провались она в преисподнюю, вытекла. Это ясно. Не мог он вылакать все до капельки, издох бы, будь он проклят! Теперь до полдня не дожить, опохмелиться нечем.

Когда из бутылки, припрятанной в моей сумке, он хлопнул стакан, и щеки его покраснели, дела на всем свете поправились. Мы поедем в дальний угол Тиновца, где нынешним летом никто еще не был, и там...

— Иван, — сказал я, — за ночь я передумал. Одолжи мне рублей пятьсот. Заработаю — отдам.

Что-то дрогнуло в глубине серых ястребиных глаз, но они смотрели прямо, дерзко.

— Нет у меня никаких денег. Ты не спятил ли, голубок? Гляди, какой я богат!

Он повалился на спину и поднял ноги, показывая клочья своих штанов.

Деньги близко. Они в земле, в дупле, в какой-то там надолбе, не все ли равно? Но их не взять, они неуловимы. И те же самые слова звучали тут, у этого кюстра, тогда, в ночь пытки огнем.

И страшные рожи слепых и пьяная пляска сторублевок?

А не приснилось ли мне это все с воркованьем огромных голубей?

— Садись, — кричал Ванька, допивший мою водку, — буде копать! Солнышко-то, вон оно где!

Он выплеснул воду из челнока, и мы поплыли по сверкающему озеру около зеленой стены кустов, обрызганных росой.

Выстрелил Ванька при мне только раз. На косу против шалаги, сверля воздух серебряными трелями, опустились четыре крупных кроншнепа.

До них было так далеко, что они казались маленькими и, видя нас, гуляли спокойно. Подъехать нечего и думать, оставалось любоваться в бинокль.

— Не можешь? — подмигнул на куликов сильно пьяный Ванька. — Кишка тонка у твоей балаболки. А поди, сотнягу отвалил? Так и быть, потешу дружка. Только ты посиди тут, голубочек. Я мигом.

Он исчез и вернулся с длинной одностволкой на плече. Граненый ствол лег на пень, стрелок прицелился.

— Пали, — шептал я, — улетят!

— Не шебарши. Постой, струдятся.

Как он любит одни и те же слова!

И всегда ждет груди: утки, кулики и те... другие.

Грохнул выстрел, и громом ахнуло эхо на другом берегу, лопнуло, покатилося вдаль и глухим рокотом замерло где-то в лесу.

— Вот как у нас! — хохотал старик, подбирая свою фузею. — Готово, ха, ха!

Облако дыма еще плыло над водой, но коса уже виднелась; там одна птица билась, две лежали неподвижно.

Да, ружьецо. Из этой саженой стволины не мудрено перекувырнуть табун гусей или повалить трех... трех медведей, если бы им вздумалось струдиться.

Ванька всыпал, забил чудовищный заряд в широкое дуло своей пушки и унес ее в лес.

Откуда взялась такая диковинка? Турецкое ружье. Ванька привез его из похода. Под вечер оно стало шведским, попало к Ваньке во время осады крепости. В следующий раз оно досталось Ваньке при грабеже аула на Кавказе, по наследству от прохожего охотника, куплено за пуд рыбы у пастуха, за пятьдесят лисьих шкур у солдата, получено в подарок от князя, приезжавшего на лебединую сидьбу.

Ружья Ванька не забывал, не путал. Есть ружье, но неизвестно где, и видеть его никому не полагается: не к чему. Зря тратить порох тоже незачем. Ружье не

на птицу, не на зверя, — те сами попадутся, — оно на случай, на человека. Долго ли обидеть беднягу?

Несколько раз мне писали, что в тех краях у шалаги в лесу нашли замерзшего оборванца, пьяницу, старика. Ну, значит, кончился Ванька Александров. А придешь — все попрежнему. Расходится тремя светлыми отрогами огромное озеро, лес стоит зелеными стенами, костер курится, и у огня Ванька пьяный сидит, трясет седой шапкой, ругается. Я стал привыкать, что всегда так будет, но однажды нашел на своих местах только озеро и лес. Кому-то понадобилось сжечь сруб землянки и раскидать обгорелые бревна. Долго стучал я по соснам, отыскивая надолбу с чудесным ружьем, и когда столетнее дерево на удар палки отозвалось глухим звуком пустоты, сердце мое забилося сильно. Но в дупле, искусно прикрытом корой, висело деревянное ведро, а в нем стеклянная банка, заткнутая тряпкой. Когда, куда, как исчез дикий человек — никто сказать мне не мог.

ХРОМОЙ СКВОРЕЦ

Несчастье и плен

Мне было десять лет, когда ко мне в руки попал скворец.

В том краю, где я тогда жил, много вишневых садов. Мелкие птицы там под осень носятся большими стаями.

Однажды я ловил рыбу у широкой песчаной отмели. Вдруг слышу: бух, бух! Это охотник в кустах выстрелил по пролетающей над отмелью стае скворцов. Черные птички градом посыпались на песок. Стрелок подобрал свою добычу и ушел.

Я побежал к кустам за хворостом для костра. Вдруг из-под ног у меня вскочил скворец и, взлетывая, подпрыгивая, пустился удирать бегом между листьями лопухов. Я бросился за ним и скоро догнал его. Он перекувырнулся на спину, пищал, клевался и царапался. Я посадил его в шапку и принес домой.

Там сразу стало видно, что лапа у скворца в крови, крылья целы: он выпускал их и складывал свободно. Других повреждений нет. А в лапе повыше пальцев застряла дробица, только не очень глубоко. Тогда я подержал скворца так, чтобы он не брыкался, а сестра щипчиками вытащила из лапы дробицу. Лапу обмыли, завязали марлей и пустили скворца в клетку. Он забился в угол и затих.

Клетку окутали газетой и поставили на террасу. Случилось все это под вечер. Что делал скворец ночью, неизвестно. Утром я проснулся рано и слышу: свистит. Я скорей на террасу. Смотрю, банка опрокинута, вода разбрызгана, нос у скворца мокрый, на перьях капли. Значит, он пил, а может быть, и купался. Сидит на полу клетки и смотрит весело. Должно быть, будет здоров. А чем его кормить?

Я насыпал на пол клетки крошек от сухаря. Скворец прижался в угол, даже не смотрит на крошки. Подсыпал я конопляного семени. Боится скворец, бьется, трепыхается, когда сквозь прутья клетки сыплется зерна.

Я отошел. Смотрю и думаю, как же мне с ним быть. Вдруг на крошки села муха. Скворец ее хватил! И съел. Вот так ловко. Теперь знаю, что ему нужно. Наловил штук пять мух и бросил в клетку. Не ест их скворец, даже не трогает.

— Ты чудак, — сказал мне старший брат, — не станет скворец мертвую муху есть. Очень нужно ему собирать мушиную падаль.

— Сам ты чудак. Как же дать живую муху скворцу? Руки он пугается, а выпустишь муху, так она улетит.

— А ты крыло у нее оторви или придави ее немножко, да и пусти в клетку. Попробовали. Не ловит скворец искалеченных мух.

— Червяков принеси, — решил брат, — гусениц каких-нибудь достань или хоть земляных червей накопай.

Ну, этого добра сколько угодно. На капусте я в несколько минут набрал пригоршню мягких зеленоватых гусениц. Скворец в одну минуту справился с ними начисто: проглотил всех без остатка. Ах, обжоришка. Вот тебе десяток дождевых червей. Скворец подобрал их живо. Наелся и закричал, очень смешно как-то тихонько хрипел или сопел. Крыльями хлопает и на одной ноге припрыгивает.

Я положил в угол клетки клочок пакли, завесил клетку газетой. Слышно, возится скворец и всё крикает. Я испугался: объелся, думаю. Что делать? Смолкло все в клетке. Я заглянул в щелочку: спит мой скворушка на мягкой постельке. Ну, значит, все хорошо.

Однако четверти часа не прошло, как скворец опять свистнул и расплескал всю баночку. Я принес ему из сада двух больших мохнатых гусениц. Он их растрепал в клочья, выклевал из них всю начинку, но косматой их кожи есть не стал.

Вечером скворец попытался вспрыгнуть на жердочку, свалился и ушел спать в угол на паклю. Но следующую ночь он провел, уже сидя на перекладинке, и, подвернув голову под крыло, спал так крепко, что не слышал, как я за ним подсматривал, хотя газета шуршала.

Днем скворец стал часто вскакивать на жердочку. Это не всегда ему удавалось. Вскочить-то вскочит, да не удержится и — кувырк. Ничего, не ушибался.

Перевязку с лапы у него сняли. Он кричал и дрался, но не так сильно, как в тот раз, когда впервые попался в руки.

На месте ранки черная кожа сморщилась, там долго виднелась глубокая красная царапина. Потом она заросла какой-то беловатой пленкой, крепче, чем остальная кожа. Должно быть, этот нарост не давал лапе сгибаться как следует. Скворушка зажил здоровым и веселым, прыгал хорошо, но, когда шагал по полу, всегда прихрамывал.

Воспитание и образование

Скворец сидит на жердочке плотно. Он шипит и свистит.

— Не время ему петь, — говорит мама, — теперь за море скворцы от нас летят. Подожди весны, тогда он споет по-настоящему. Помнишь, как они у скворечника заливаются?

— Куда в него столько лезет, — с притворной досадой ворчу я, — три десятка крупных червяков съел и все ему мало. Опять просит.

Скворец трясет головой и раскрывает клюв.

— Ты на свою мерку его не примеривай, — заметил брат, — он не так переваривает пищу, как ты. Тебе по птичьему расчету, например, обыкновенной колбасы потребовалось бы в сутки аршин шестьдесят. Хороший червяк пудов в семь весом.

— Ты, Федька, все врешь.

— Ничего не вру. Это давно вычислено и в ученых книгах напечатано. Возьми орнитологию...

— Ну, ладно. Ты лучше скажи, чем зимой скворца кормить? Гусениц уже нет, червей втроем не успеваем накопать, тоже пропадают.

— Ничего, с голодухи твой скворец не так разборчив станет, крошек поклюет. Да я потом научу, как приготовить мясной корм.

По совету того же знатока птиц в кухне поставили ящик с отрубями: завод мучных червей. Их скворушка клевал жадно.

Скворец вылинял. Коричневые пятна на его черных перьях виднелись ярко. Глаза стали у него блестящие, всегда веселые. Весь он как будто вырос. Купался он постоянно. Как только наполнится его банка свежей водой, он сейчас же в нее засунет нос и — фырк! Только брызги летят.

Мясо и мучные черви поспели во-время: ударил мороз. Нет больше дождевых червей. Но двух больших и толстых достали при пересадке комнатных цветов. Я принес этих червяков, открыл дверцу клетки, просунул туда руку. На моей ладони шевелились червяки, любимое лакомство! Скворец подскочил, схватил червяка, утащил в угол, съел и вернулся за вторым.

Так скворец в первый раз взял еду из рук. Тогда я принялся учить его говорить.

Уже давно стало заметно, что скворец знает свою кличку. Много предлагали для него имен. Сестренка почему-то прозвала его Кутькой. Так оно и осталось.

Я при входе в комнату, где стояла клетка, всегда говорил:

— Здравствуй, Кутя!

Чистил ли я ему клетку, менял воду, сыпал корм, я спрашивал:

— Как поживаешь, Кутя? Хорошо ли спал, не хочешь ли чего покушать, Кутя?

Скворец, конечно, молчал, но что-то вдолбилось в его носатую головенку. Скоро стало так, что я даже ничего не приносил скворцу, а все-таки, едва я говорил «Кутя», он вертел головой и вздрагивал крыльями.

— Ну, что ты к нему пристал, — с досадой жаловалась мама, — даже мне надоело. Все Кутя да Кутя. Ведь это не попугай. Оставь его в покое. Видишь, он не желает тебе отвечать.

Но он ответил. Как-то нечаянно я заболтался у клетки, а Кутька видел, что у меня в руке мучные черви. Он перебирал лапами, вертел головой, трепетал крыльями, свистел. Я все не даю. Он принялся долбить носом в дверцу. Она отворилась. Скворец вылетел и закричал что-то в роде:

— Чирр... Фр... Кр... Шка-шка!

Это был почти полный успех. Я кроме «Кутя» часто твердил: «Скворушка, скворушка».

Кутька взлетел на шкаф, оттуда шмыг ко мне на руку. А я червяков зажал в кулаке.

Он долбит по пальцам и не то свистит, не то ворчит:

— Фр... Шка-шка!

Ну, что ж тут делать, получай свое лакомство, раз научился хоть кое-как полслова выговаривать.

После того ни одной подачи я не приносил без требования разговора. Кутька вполне привык вылетать из клетки, — ее больше уже не запирали, — и охотно высвистывал все, что мог. Однако, как мы ни бились, дальнейшие успехи в речи шли туго.

При виде лакомой закуски скворец стал бормотать скоро-скоро какое-то шипенье:

— Ссс... фр... Шка-шка!

Это слегка похоже было на «скворушка, скворушка», произнесенное быстрым шопотом. Больше ничего по части разговора достигнуть Кутька не смог.

Но он скоро отличился по-своему. В столовой у нас дверь поскрипывала тонко и трескуче. Мама, сидя у стола за шитьем, услышала знакомый скрип и спросила:

— Кто там?

Никто не ответил, а звук повторился. Мама оглянулась. Дверь закрыта, никого нет. А опять скрипит. Оказалось, что это Кутька развлекается от нечего делать: научился скрипеть дверью.

Ему этот скрип, видимо, понравился, и он очень скоро показал мне свое искусство, скрипел часто без всякого на то приглашения.

Когда засинело ясно небо и населились окрестные скворечники, Кутька громко спел песню весны. Он залиvisto свистел, шипел, чмокал, щелкал и так задорно фыркал, как будто он нос всунул в воду и пузыри пускает. А нос-то поднят в воздух, раскрыт во-всю и дует песню так, что горлышко дрожит.

По зарям пел Кутька, утром дольше, вечером меньше. Попел дня три и вдруг исчез.

— Сам же ты не запираешь клетку, — смущенно говорила мама, — сам вынес его на террасу. А потом ушел в гимназию. Недосмотрели, вылетел как-то. У нас другие дела есть, не только скворцов караулить. Сам ты виноват, зачем учил его носом отворять дверцу.

Я горестно вышел в сад. В то время я уже изучал разные премудрости, вроде латинского языка, считал себя почти взрослым, но, признаюсь, при воспоминании о скворце мне очень хотелось плакать.

Легко говорить: «поймаешь другого». Где я такого возьму? Почти говорить умел. Как меня знал, как головенкой тряс.

— Кутя, Кутенька, — повторял я, бродя по безлистным аллеям, — скворушка милый, где ты?

Вдруг что-то встрепенулось в вершине дерева и оттуда мне на голову слетела птица. Кто же это кроме скворушки мог быть?

Я в восторге пришел домой со скворцом на голове.

По комнате зимой я часто так ходил. Кое к кому из тех, кто приносил ему поесть, Кутька изредка садился на плечи. Но все-таки такое возвращение с воли меня поразило. Ай да Кутька! Нет, он привык тут жить, не улетит. Нечего его и запирать в клетку. Пусть живет как хочет.

Случалось, что скворец даже не ночевал дома. Меня это не беспокоило. Куда, зачем он летал, я, конечно, не знал, но на заре я выходил в сад и, посвистывая, звал:

— Кутя, Кутя, скорей сюда! Фью!

С ближайшей яблони летел скворец и прямо к моим рукам. Подавай червяков!

Настали теплые ночи. Полетели гудя жуки, запорхали бабочки. К плодам и ягодам поползли гусеницы. Везде для скворца богатая добыча. А у нас по утрам все тот же разговор:

— Кутя, на червячка! Хочешь?

В ответ трепет быстрых крыльев, и маленькое пернатое существо на плече не то бормочет, не то шепчет:

— С... с... с... чш... шка-шка!

В одно несчастное утро никто не отозвался на мой призыв. Напрасно я свистел, кричал на все лады, обегал все аллеи и гряды. Нет Кутьки. Весь день нет, всю ночь.

Съела его кошка? Погиб как-нибудь иначе? Не может быть, чтобы улетел. Вот тоска.

Великолепно в саду сияло утро. Роса сверкала на цветах. Точно вымытые блестели листья. Мне все казалось мрачным: нет милого скворушки, нет, нет!

«Должно быть, и не будет, — решил я на пятое утро его отсутствия, — пропал Кутька».

В полдень шли мы, мама и я, по городскому бульвару, обсаженному липами. На базар шли покупать мне птицу. Вдруг послышался скрип нашей столовой двери.

— Стой, мама, — закричал я, схватив ее за руку, — Кутька здесь. Фью!

— Еще что. Откуда он тут возьмется? Пусти руку, не свисти. Стыдно. Иди прилично.

— Да ты слышишь, дверь скрипит. Кутя, Кутя, червяков, Кутя! Фью, сюда скорей, фью! Эй, Кутька!

Из темной листвы вылетела черная птица и уселась мне на плечо.

Ах, бродяга Кутька! Где ты шатался четверо суток, от кого научился так скверно стрекотать и каркать? Около сорок, что ли, летал, ворон слушал? Негодяй.

Ну да ладно. Пойдем домой, любимая моя птичка!

Угостить скворца было нечем, но он цепко сидел на моем плече всю дорогу без всякого вознаграждения.

Долгая жизнь

Годы шли, несли большие перемены.

Я вырос в длинного верзилу. Гимназия давила меня своей ученостью. Как страшные призраки мелькнули спряжения греческих глаголов, ненавистные логарифмы. От них я бегал на охоту, лазил по болотам за утками, преследовал на отмелях куликов, отыскивал в лесных вырубках тетеревей. Приносил домой связки пернатых с широкими лапами, с длинными носами, с косицами на хвостах. Но мне никогда в голову не приходило выстрелить по скворцам, носившимся тучами над вишневыми садами. Плавает, бегают, летает добыча охотника. Греми, моя двухстволка! Дичь идет на кухню. Это совсем другое дело.

В клетке же у нас живет особенное существо, пернатый наш дружок, член семьи.

Кутька сидит у себя на жердочке и чистит перья. Мы завтракаем, едим кашу. Это скворцу несколько не интересно. Он как будто не обращает внимания.

— Катя, — распоряжается мама, — принеси творог.

При этом слове скворец вылетает из клетки, опускается на стол и, прихрамывая, разгуливает между стаканами.

— Ты что ж, Кутька, за дурак, — говорю я, — пятый год у нас живешь, ни одному слову не выучился. Скажи: скворушка.

Черный блестящий глаз птицы смотрит на меня. Скворец отчетливо понимает, что я обращаюсь к нему, и стоит у моей тарелки.

— Скажи «скворушка», — настаиваю я, — не то не дам творогу.

И я закрываю рукой любимое лакомство скворца.

Кутька нетерпеливо топчется, крылья его вздрагивают, перья топорщатся и он шипит:

— С... с-с... кр... кр... шка-шка!

— Молодец, получай творог.

Я принимаю руку, и Кутька запускает нос в тарелку.

Это повторяется так часто, что присутствующие больше не смеются.

— Как не жалко так мучить птицу, — иногда упрекает мама, — смотри, все перья у Кутьки взъерошены.

— От чрезмерной любви к творогу, а не от мученья. Будет с тебя, Кутька, пошел домой!

Перья опускаются. Скворец, видя, что больше ничего не дают, летит в клетку, садится на перекладинку, чистит нос и сонно крякает. Значит, сыт.

Пока едят суп или пьют чай, это скворца не касается. Но едва подадут на стол мясо, Кутька уже летит и выпрашивает кусочек. Ватрушку от пирога отличает, плут. К пирогу он равнодушен, а к ватрушке — из клетки шмыг! Ватрушка с творогом: тут можно вкусно клюнуть. Впрочем, мелкие сухие крошки он со временем стал чуть-чуть поклевывать — повидимому, просто так, от нечего делать, среди чрезмерного разнообразия корма. С возрастом перья у Кутьки приняли глинистый оттенок, на них ярко выступили белые крапинки. Весь он как-то вырос, покрупнел.

Иногда новые гости спрашивали:

— Что это у вас за птица? Неужели скворец? Какой большущий!

Один гость как-то стал рассказывать около клетки, что вот в Москве пришлось быть у зубного врача. Так там скворец замечательный, говорит: «Здравствуй, скворушка».

Вдруг из клетки послышалось:

— С... с... с... кр... кр... шка-шка!

Ай да Кутя, молодчина! Поддержал. Догадался ли он о чем речь идет или только поймал знакомое словечко, да и брякнул свое в ответ, но столичным знаменитостям нос утер. Спасибо!

Птицы сменялись у нас часто. Очень недолговечен этот певчий народишко. Кутька перенимал их песни все, иные сразу, иные с большой задержкой. В погожее морозное утро, когда ярким светом блестел в окна свежий снег, вдруг рассыпалась такая звонкая трель, что мама с изумлением подняла голову.

— Разве опять канареек завели?

Нет, это наш скворушка почему-то вспомнил желтую птичку, исчезнувшую с год назад, да и грянул ее трескучую песню.

Одну зиму у нас прожил воробей. Клетки у него не было, он спал в складке оконной занавески. Прозвали его Чик-Чик. Прыгал воробей весело, но почти молчал. Так при виде его Кутька всегда чирикал по-воробьиному.

Синицы у нас никогда не держали, но Кутька откуда-то знал ее тонко звенящую песенку и отчетливо изображал:

— Цы-пинь — пень — тарарах!

Иногда он путал их всех в кучу: привычных знакомцев — чижей, снегирей, щеглят, чужую птицу Канарских островов и курицу, сзывающую цыплят.

Свои шумные представления Кутька устраивал только в одиночестве, когда около него никого не было. Конечно, он не подозревал, что за ним подсматривают и подслушивают в щелку.

Выглядывал огненный край солнца. Алые тени ползли по белым стволам берез. Вся комната наполнялась розовым светом.

Скворец, распушив перья, топтался на жердочке, надувал горло и кричал всякими, даже непонятными голосами.

Мама, ложившаяся позже всех в доме, выбегала из спальни, кидала на клетку какую-нибудь покрывку и уходила ворча:

— Вот покоя нет. Скандалист, безобразник, молчи!

В клетке слышится как будто обиженное кряканье, потом молчаливая возня встряхиваемых перьев.

Если мама ловила меня в моей засаде, то упрекала:

— Бесстыдник, тебя женить пора, а ты ни свет, ни заря скворцу концерты заказываешь. Спать не даешь.

Бедняжка с досады, вприсонках явно преувеличивала. Мне шел только шестнадцатый год, и, к сожалению, ничего заказать скворцу я не мог. Забавной пискотней из чужих криков Кутька оглушал часто, но собрал ее сам.

Не стовариваясь ни с кем, Кутька раз в год пел и собственное сочинение — песню скворца весной.

Он пел ее одинаково у себя в клетке на жердочке и в безлистных ветвях березы, когда ручьи бежали из-под снега. Пузырилась, брызгала, свистела бесхитростная песенка перед птичьими домиками на деревьях.

Кутька лазил после пения в скворечники. Зачем? Что он там делал, что видел? Почему не остался там жить у вольных скворцов?

Нет, что-то тянуло его вернуться в клетку.

Творог? Может быть.

Иногда Кутька ночевал на дереве, все утро домой не показывался. Но около полдня являлся, и если находил террасу запертой, то стучал клювом в окно столовой. Влетает в форточку и — шмыг на стол! Что подают к завтраку? Кашу? Шмыг в клетку. Баранину? Это другое дело. Не дадут ли кусочек? И пляшет и головенкой трясет, попрошайка.

Когда начинали блекнуть травы, а листья на липах золотились, стаи скворцов неслись над садом шумно, со свистом, со стрекочущим криком. Куда летят? За какие моря? Кто погибнет, кто вернется к родимым скворечникам?

Кутька при пролете скворцов никакого волнения не проявлял, ни разу не сделал попытки взлететь к стае, даже никогда ей не крикнул.

Боялся лететь? Конечно, нет. Не мог домашний скворец ничего знать об опасностях дальних полетов.

А не привязался ли он всеми своими птичьими силенками к странным, чуждым, огромным для него существам, полюбившим его, малую пташку?

Как бы там ни было, творог или любовь, но что-то прочно прикрепило скворца к его всегда открытой тюрьме. Настежь клетка. Лети куда хочешь. А он остался в неволе до конца своей долгой жизни.

— Околет скоро твой скворец, — сказал брат, недавно кончивший академию, — он весь поседел.

— Ты все врешь, Федька, — повторял я по старой памяти, — хоть ты и доктор, а врешь.

— Смотри, концы перьев у него стали белыми. Старческое исчезновение пигмента.

— Ну, пошел плести. Пигмент! Просто врешь.

Но он был прав. Кутька заметно побелел.

— У него лысина начинается, — неумолимо твердил чересчур внимательный доктор, — на человеческую мерку он прожил лет девяносто. Довольно.

Тоже напрасно возражать. Мелкие перышки на голове у Кутьки выпали, голый череп высунулся остро и жалко.

Я приносил Кутьке творог ежедневно. Скворец клевал его жадно, однако продолжал худеть и терять перья с шеи.

Скворцу шел восьмой год, а мне восемнадцатый.

Я все еще задыхался в гимназии.

— Потрудитесь придавать вашему лицу благочестивое выражение, когда отвечаете урок закона божия, — сказал мне поп.

— Чорт бы вас взял с вашим законом, — выпалил я и убежал.

За мной посол: пожалуйте в карцер.

А, так? На трое суток с гончими закатился я в отдаленные леса. Го, го, собачки! Ату ее! Вертись, рыжий хвост! Ба, бах! Кувыркнулась лисица. Когда вернулся, говорят: выгнали из гимназии. Беда. Дома житья не стало.

— Анархист, негодяй, лодырь. Ему в университете пора быть, а он со скворцом сидит. Находка тоже: чучело облезлое.

Все правда. Преступник я: батюшку к чорту послал. Ужас.

Плохой вид у скворца. Шея стала голой, весь осунулся. А бодро прыгает, смотрит весело.

— Вот творожку Куте принесли. Только скажи, кто ты такой, скворушка.

Черный глаз задорно выглядывает из лысого черепа. Клюв раскрывается.

— Не дам. Сначала скажи.

— С... с... кр... шка-шка.

Ну, кушай. Ничего, милый мой, мы еще поговорим.

В девятый раз свою песню весны скворец брызнул великолепно. Булькал, свистел, заливался фыркал — все как следует быть, что выходило очень жалко при странной его наружности.

И вновь пришла весна. Скворец запел, но вместо свиста у него вырвался какой-то хрип. Бедный старик Кутька свалился с жердочки, попытался встать, всплеснул крыльями, перекувырнулся на спину. Черные лапы его медленно двигались. На одной все еще виднелся толстый белый рубец от дробины, так удивительно изменившей Кутькину жизнь. Теперь настала смерть.

С тех пор прошло много лет. Давно пора забыть это птичье происшествие, но невозможно. Оно попрежнему чудно волнует мне сердце.

Я старик. Мой лысый череп имеет довольно жалкий вид на похудевшей шее. Щеки сморщены. Все эти неприятности и еще кое-что самое гадкое, неизбежное при всякой мерке, я знаю, знаю, знаю.

Но когда брызжет весенняя песня скворца, я снова мальчик. Вот широкая отмель реки. Ярко горит над ней красный свет солнца. Бухают выстрелы, эхо ворчит в лесу на другом берегу. На песок валяются черные птички. Я бегу, хватаю маленькое пернатое существо... Это Кутька.

Он связан со мною неразрывно надолго, навсегда. О, детство, молодость, лучшая пора жизни! Самые невзгоды тех дней теперь представляются счастьем. Как буйно бились тогда чувства!

И десять лет того времени пустяк? Не может быть.

Не верю, что скворца при мне удерживала любовь только к творогу. Нет, темную волю птицы связала другая, более сильная власть.

Оглавление

ВЕСНА ЗОВЕТ.....	3
ВЕСЕННИЕ ГОЛОСА.....	3
ЩУЧЬЯ СВАДЬБА.....	5
ЛЕДОХОД.....	7
ДЫХАНИЕ ЛИСТЬЕВ.....	9
ГОЛОСА ДЕРЕВЬЕВ.....	11
НЕВЕДОМАЯ.....	12
ЛЕТАЮЩИЕ ЦВЕТЫ.....	14
СОН И ПРОБУЖДЕНИЕ.....	16
ВЕСЕННИЙ ПОТОК.....	17
НА МАНЧУКИ.....	19
ОНИ И ОН.....	22
БОЛТОВНЯ ЧУЧЕЛ.....	25
ТЕТЕРЕВИНЫЙ СОН.....	27
СОЛОВЕЙ И ЛЯГУШКИ.....	28
ИЗ УТИНОЙ ЖИЗНИ.....	29
В ПОЙМЕ.....	32
ИСЧЕЗАЮЩАЯ ПТИЦА.....	35
В ЛЕСУ ЛЕТОМ.....	38
ВОРОНИЙ КРИК.....	40
ГЛУХАРИНЫЙ НАЛЕТ.....	42
САМОЛОВ.....	44
ПОЖАР В ЛЕСУ.....	49
СЕМЬЯ РАЗБОЙНИКОВ.....	52
ЛОСИ, ЛОСИ!.....	54
КРЫЛАТЫЕ ВЕСТНИКИ.....	57
СЕНОКОС.....	59
В ПЕРЕЛЕСКАХ.....	60
БАБЬЕ ЛЕТО.....	64
ЗА ГРИБАМИ.....	68
ДЕТСКАЯ КНИЖКА.....	71
ОКУНЬ И МАЛЬЧИК.....	71
КОТ.....	73
ШАЙКА.....	77
ПТЕНЦЫ.....	78

ПОМОЩНИКИ НА ОХОТЕ.....	99
СТРАУС И ГУСЬ.....	101
ФАТЬКА-ГЕРОЙ.....	103
ЛИСИЙ ВЫВОДОК.....	105
ЗА НОЧНЫМ ВОРОМ.....	107
СТАРИКИ.....	108
РЫБА И КРЮЧОК.....	110
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.....	110
О РЫБНОЙ ЛОВЛЕ.....	110
О РЫБЬЕЙ ЖИЗНИ.....	111
ГЛУШЕНИЕ РЫБЫ.....	113
КОЛОТУШКА.....	115
ПЕРЕМЕТ И ПОДПУСК.....	116
РАК.....	118
УКЛЕЙКА.....	120
ПЕСКАРЬ И ЕРШ.....	122
ЕЛЕЦ И ПЛОТВА.....	124
ПОДУСТ И ЯЗЬ.....	125
КАРАСЬ И ЛИНЬ.....	127
УГОРЬ.....	129
ЛЕЩ.....	130
ЩУКА.....	132
ГОЛАВЛЬ, СУДАК, ЖЕРИХ.....	135
НАЛИМ И СОМ.....	138
САЗАН.....	141
РЫБЫ ПРОЗРАЧНЫХ ВОД.....	142
У ХОЛОДНЫХ СКАЛ.....	152
СМЕРТЬ ЛЕБЕДЯ.....	152
ДРАКА С НЕИЗВЕСТНЫМ.....	154
ХАРИУСЫ.....	156
ЛЕБЕДИНАЯ СИДЬБА.....	160
ДЕЛА СОБАЧЬИ.....	166
МОИ СОБАКИ.....	166
ЗНАКОМЫЕ СОБАКИ.....	176
РАЗНЫЕ СОБАКИ.....	181
НА ЛАДОГЕ.....	186
ГОЛУБАЯ ПУСТЫНЯ.....	186
НА ПАРУСЕ.....	188
КРЫМГОРЗАПОВЕДНИК.....	191
К МОРЮ.....	191
ОТ МОРЯ В ГОРЫ.....	192
ДАЛЕКИЕ ДИКОВИНКИ.....	193
У СОЛОНЧАКА.....	195
БЕЗНАСЕКОМЬЕ.....	197
АСКАНИЯ НОВА.....	200

ВЕСЕННИЙ ПЕРЕЛЕТ.....	200
КАМЕННЫЕ БАБЫ.....	202
СРЕДИ БЛАГОУХАНИЙ.....	204
ПТИЧЬЯ ВПАДИНА.....	206
ДРОФА И ЗАЯЦ.....	208
ДИКИЕ СКАКУНЫ.....	209
ИСЧЕЗАЮЩАЯ КРАСОТА.....	212
ЗООЛОГ НА КОНЕ.....	214
ЛОВЛЯ ТЕНЕЙ.....	216
МЕЛОЧЬ.....	219
ЛИСЯТНИКИ.....	219
МЕЛОЧЬ.....	221
В ПЛЕНУ И НА ВОЛЕ.....	224
НА ГОЛУБЯТНЕ.....	224
СЕЛЕЗЕНЬ – САШКА.....	228
БОЛОТНАЯ ПОВЕСТЬ.....	234
СМЕРТЬ СЛОНА.....	240
ВОЛЧЬЯ ЗАВОДЬ.....	244
ДИКИЙ ЧЕЛОВЕК.....	251
ХРОМОЙ СКВОРЕЦ.....	263